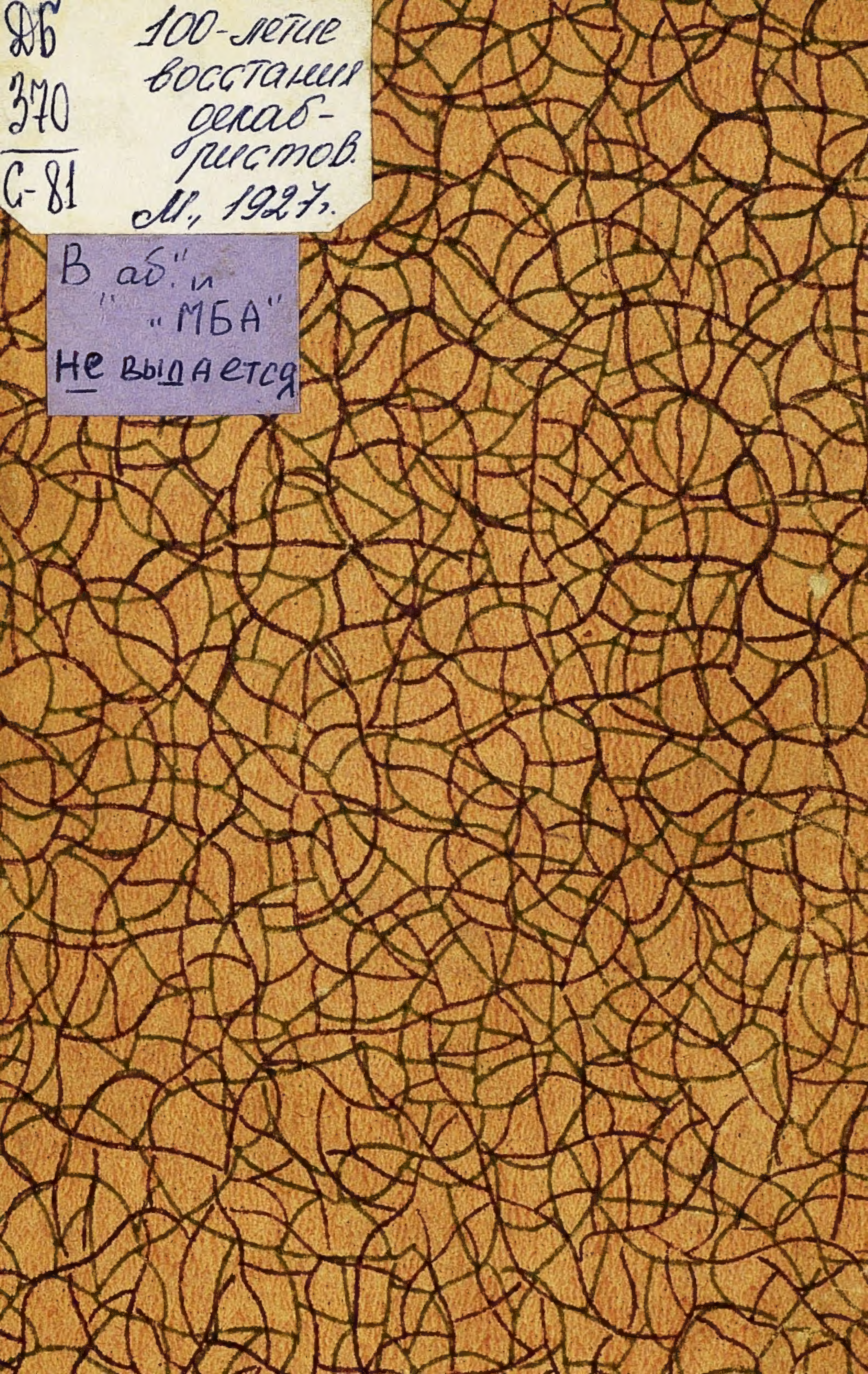
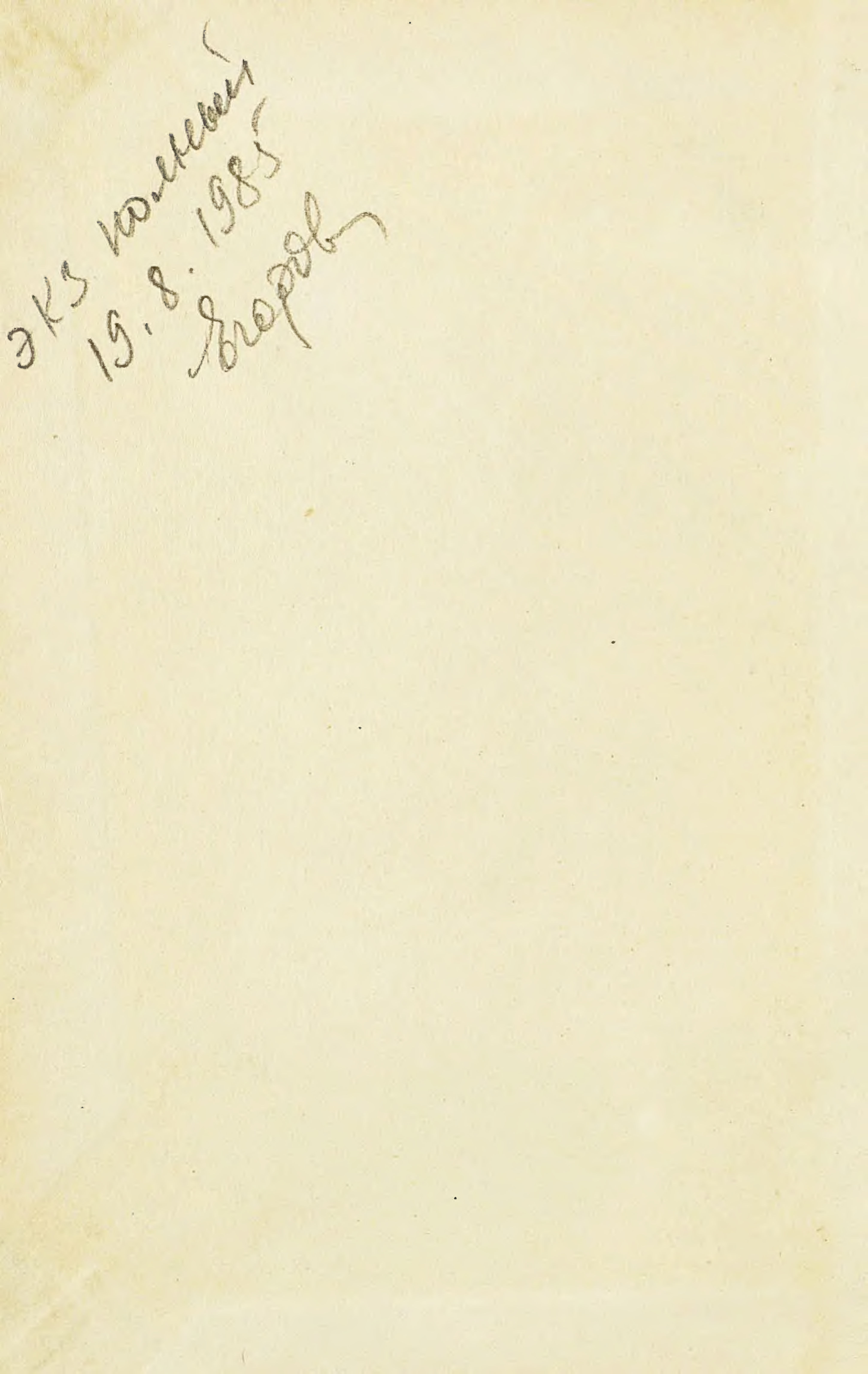

ДБ
370
С-81
100-летие восстания декабристов. М., 1927.
В „аб." и „МБА" не выдается


Экз контрольный
19.8.1985
Егоров

100-летие

ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

Сборник статей и документов

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБ-ВА ПОЛИТКАТОРЖАН
Москва 1928


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
—И—
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

100-ЛЕТИЕ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

СБОРНИК
СТАТЕЙ и ДОКУМЕНТОВ
ЖУРНАЛА
„КАТОРГА и ССЫЛКА“

МОСКВА
1927

Главлит № 93229. Тираж 2.500 экз.

Типография ГУМЗ. Москва, М. Каменщики, д. № 16.

СОДЕРЖАНИЕ.

100-летие восстания декабристов.

1825—1925

100-ЛЕТИЕ

ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

Экономическое развитие России в начале XIX века, как основа движения декабристов.

Историки движения декабристов в большинстве своем сосредоточивают внимание на политической программе, на идеалах декабристов, выясняя связь их с идеологическими течениями эпохи. Социальная сторона программы остается в тени. Между тем сами декабристы, как свидетельствует об этом их литературное наследие, ясно сознавали социальный характер движения, его связь с общественным строем Александровской эпохи, — и эта связь получила вполне отчетливую формулировку в социальной программе движения—программе нарождающегося капитализма. Эта программа явилась выражением экономического развития России в начале XIX века.

Русское народное хозяйство на рубеже XVIII и XIX в.в. переживает органический кризис—переход от натуральных форм феодального хозяйства к хозяйству капиталистическому. Хозяйственный кризис начинается у нас еще в Петровскую эпоху, свое завершение он получает лишь во второй половине XIX века. Место Александровской эпохи в этом процессе всего лучше можно охарактеризовать формулой революционного процесса, данной Марксом; это—эпоха вполне выявившегося противоречия новых назревших экономических отношений правовой надстройки отживающего общественного строя. Экономическим отношениям остается разбить рамки правовой надстройки. «Тогда,—пишет Маркс,—наступает эпоха кризиса». Это кризис и породил движение декабристов.

Смена хозяйственных форм в России протекает крайне медленно. В силу географических и исторических условий формы натурального хозяйства оказываются у нас особенно сильными и живучими, они долго продолжают существовать наряду с новыми нарождающимися хозяйственными формами, налагая на них свой отпечаток. Останавливаясь перед двойственным антагонистическим строем русского хозяйства, русская историография в лице Ключевского, Милюкова, Кизеветтера разрешает проблему его эволюции противопоставле-

нием государственного и народного хозяйства с доминирующей прогрессивной ролью первого. Большой научной заслугой М. Н. Покровского надо признать его указание на значение мировой хозяйственной кон'юктуры в развитии народного хозяйства России. Однако М. Н. Покровским это влияние несколько суживается, излишне конкретизируясь и приурочиваясь к непосредственному воздействию — воздействию мирового рынка на русский экспорт. Между тем вопрос должен быть взят шире, в плоскости общего взаимодействия двух хозяйственных систем. В такой постановке проблемы получит надлежащее место и вопрос о значении государственного хозяйства в этом процессе. Последнее, как наиболее крупное и организованное хозяйство, на первых порах резче ощущает нарушение равновесия между двумя хозяйственными системами — национальной и чужеземной,—и быстрее на него реагирует. Отсюда также и значение крупных международных потрясений. Мировая война с глубоким потрясением основ мирового хозяйства вызывает особое напряжение хозяйственных сил в стране и ускоряет назревание внутренних кризисов. Не случайно поэтому начало рассматриваемого нами экономического кризиса падает на Петровскую эпоху, его оформление — на Александровскую эпоху, вслед за Наполеоновскими войнами, а его завершение (хотя бы частичное) следует за Крымской войной.

Начало изучаемого нами экономического кризиса относится, как указано, к Петровской эпохе, когда русский капитализм делает первые неуверенные шаги. Эту раннюю эпоху капитализма определяют как торговый капитализм, называют по его первому воплощению во Франции—эпохой русского кольбертизма или меркантилизма. Не следует однако понимать это определение в том смысле, что капиталистические формы как бы замыкаются в сфере торговых отношений. Хозяйственная жизнь есть нечто единое, — и выступающий на историческую арену капитализм должен наложить свой отпечаток на всю хозяйственную жизнь страны, пред'являя свои требования ко всем ее отраслям. Прежде всего и больше всего это относится к промышленности. Хозяйственная система, построенная на принципе выгодного торгового баланса,—торговый капитализм,—требует удовлетворения внутреннего спроса продукцией национальной промышленности и, значит, развития последней. Это отлично понимал уже писавший в XVIII веке историю «российской коммерции» Георгий Чулков: «к благопоспешному происхождению коммерции наипаче способствует множество внутренних или собственных тамошних товаров, прилежное упражнение в делах мануфактурных». Эти взгляды развивают при Петре гольштинец Люберас и первый русский экономист Посошков—живой образец перехода от ремесленного средневекового уклада Москвы к меркантилизму Кольберовского типа. И, может быть, именно история русской фабрики этого периода всего лучше отражает историю нашего капитализма.

Эта эпоха—время зарождения русской фабрики. При этом русский «капиталист» оказывается еще очень слабым, чтобы поднять большое предприятие. Поэтому и здесь мы нередко встретимся с системой Петровских мероприятий «заводы размножать... и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю», нередко казна сама создавала фабрику, которую передавала затем этим частным компаниям; для их поощрения вводилась система монополий и привилегий.

Но по своим организационным формам это фабрика капиталистическая, глубоко отличная от позднейшей крепостной фабрики, на что как-будто бы не обратили должного внимания историки русской фабрики.

Прежде всего первая Петровская фабрика — фабрика городская; она создается в крупных городских торговых центрах—в Москве, Петербурге, Астрахани, Ярославле. Это — фабрика купеческая: в списке Петровских фабрикантов—Марселиса, Тамеса, Волкова, Евреинова, Томилина, Затрапезного, Щеголина, Журавлева и др. — не встретить русских дворянских фамилий, кроме, кажется, одного Толстого. Эта фабрика работает вольнонаемным трудом; в Петровских указах об открытии фабрики пункт о работе вольнонаемным трудом неизменно возращается, как необходимое условие: «в мастеровые и ученики и в работники нанимать свободных же, а не крепостных», говорит, напр., указ об открытии полотняной фабрики Тамеса. Наконец, эта фабрика знала работу на вольный рынок, о чем неопровержимо свидетельствует возникновение таких производств, как игольный завод Томилина, как ряд платочных, чулочных, каразейных и ленточных фабрик *.

Развитие экономических отношений получает одновременно и социальное оформление. Капиталистическая промышленность и торговля Петровской эпохи развиваются, мы это видели, как формы городского хозяйства. Как свидетельствуют историки русского города, Московская Русь не знает городского класса, «посадского общества» в тесном смысле этого слова, города, как социально-экономической категории. Была масса так называемого посадского населения, экономически и социально не выделявшаяся из общей массы. В начале XVIII века это посадское население в процессе социально-экономической эволюции выделяется, обособляясь и замыкаясь в монопольный торгово-промышленный класс — в буржуазию. Система гильдий и цехов, введенная Петром, была организационной формой этого процесса, являясь в этом отношении прогрессивным фактором в первой стадии капитализма. Система административ-

---

* Фактический материал по истории русской фабрики, в частности указанный материал, собран у Чулкова в „Историческом описании российской коммерции“, т. VI, кн. 3.

ного корпоративного устройства городского класса, об'единяющегося в Главном Магистрате, должна была быть его завершением *.

Обособление города вело к противопоставлению его «селу», наступательная экономическая программа городского капитализма превращала это противопоставление в антагонизм. Для XVIII века это—фактически антагонизм города и поместья: города, как носителя капитализма с феодальными формами натурального хозяйства. Село, крестьянство является лишь составной частью этого более крупного целого—помещичьего хозяйства.

«Политическая оболочка дворянского государства помешала этому капитализму развиться», говорит М. Н. Покровский **. Однако ограничивать вопрос «политической оболочкой» нельзя. Не с политической дворянской оболочкой, а с дворянским натуральным хозяйством столкнулся народившийся капитализм.

В начале XVIII века дворянское вотчинное хозяйство достигает своего полного развития и оформления. Широкое прикрепление «вольных людей», с которыми петровская администрация вела энергичную борьбу, слияние крестьянина с холопом, фактически создающее того «крепостного», который является основной социальной категорией феодального хозяйства, утверждение полного и неограниченного господства дворянина над своим поместьем—все это получает свое завершение именно в первой половине XVIII века. И потому начинающееся наступление города на село должно было неизбежно породить реакцию со стороны дворянства. Дворянская, скажем, феодальная реакция начинается непосредственно вслед за Петровским царствованием.

Социальная реакция вообще, дворянская реакция XVIII века в частности, имеет две стороны. В политическом отношении она обычно оппозиционна—оппозиционна к той власти, которая фактически осуществляет нововведения. Она всегда реакционна в сфере экономической, противопоставляя старый хозяйственный уклад новому,—тому, с которым приходит к власти новый класс.

Русское дворянство XVIII века ясно сознавало экономическую сущность своей борьбы с нарождающимся капитализмом,—борьбы села с городом; недаром в его публицистике получила столь широкое место теория физиократизма, явившаяся результатом аналогичного исторического процесса на Западе. Дворянская программа формулирующая идеологию дворянства и его практические требования, получает вполне законченную формулировку в средине XVIII века, и можно сказать, что в своих основных чертах она остается неизменной вплоть до XIX века.

Прежде всего эта программа требует, конечно, закрепления монопольного положения дворянского поместья в сельском хозяйстве;

---

* Дитятин. История русского города.

** Русская история с древнейших времен, т. II.

всякое покушение новых хозяйственных форм на феодальное крепостное хозяйство должно быть устранено. Это было ответом, с одной стороны, на поднятый вопрос об упразднении крепостного права, с другой—на нарождавшееся купеческое землевладение, явившееся в результате права приобретения крепостных сел к фабрикам. В 1762 г. это право было значительно ограничено.

Дворянство однако пытается завладеть и другими отраслями народного хозяйства, подчинив и их строю натурального хозяйства. Вопрос о купеческом землевладении был направлен непосредственно против купеческой фабрики. Являясь монопольным обладателем сырья и основного производственного капитала — рабочей силы, дворянство должно было стать монополистом крупной фабричной промышленности.

Наконец, в вопросе торговых отношений эта программа требует упразднения создававшейся монополии городского торгового капитала. Дворянство хотело бы вообще изгнать торговый капитал, свести до минимума его роль, роль торгового оборота—рынка в хозяйстве страны. Сбыт собственного хозяйства оно строит на принципах монополии, подряда, поставки. Свою продукцию оно хочет сбывать самостоятельно, даже на внешний рынок.

Эта программа—программа дворянского поместья, стремящегося овладеть всеми отраслями народного хозяйства и восстановить свое монопольное господство в хозяйственной жизни страны.

Исторической базой этой феодальной реакции явился значительный экономический рост помещичьего сельского хозяйства в XVIII веке.

Общая характерная черта оэпохи феодальной реакции XVIII века,—увлечение сельским хозяйствм и агрономией, отмечающееся расцветом множества агрономических обществ. Аналогичное явление наблюдаем мы во Франции. В Германии оно изучено Knapp'ом, давшим меткую формулу этого процесса: «der Ritter wird Landwirth»—дворянинин становится сельским хозяином. Эта формула вполне применима и в России.

Следы увлечения аграномическими вопросами доходят к нам уже от первой половины XVIII века. К 40-м годам относятся первые переводы известной в свое время «Лифляндской Экономии», из коих один принадлежит Ломоносову, другой приписан отцу основателя русской крепостной агрономии Андрея Болотова. В 1765 г. открылось Вольно-Экономическое Общество.

Помещик постепенно оседает в своей усадьбе и начинает заниматься хозяйством. Можно сказать, что до известной степени в России до XVIII века нет помещичьего, а есть крепостное крестьянское хозяйство. Помещичье хозяйство возникает в XVIII веке, оно явилось формой интенсификации хозяйства. В этом процессе, как составная часть поместья, вырастает и дворянская крепостная фабрика.

В условиях крепостного хозяйственного строя, при территориальной разбросанности редкого населения и изолированности рынков, при фактическом отсутствии развитого городского хозяйства и крупных капиталов, наконец, в условиях конкуренции мирового рынка,—народившаяся крупная капиталистическая фабрика с крупным производством дворянской крепостной фабрики бороться не могла.

Процесс перерождения городской купеческой фабрики начинается уже в последние годы царствования Петра. Прежде всего фабрика уходит из города. Крупные предприятия Затрапезного, Тамеса, Щиголина и др. оставляют большие городские центры. перемещаются постепенно в уезд, переходят на село. С этим процессом неразрывно связан другой—отказ от вольнонаемного труда. Уже статьей 1-ой Регламента Мануфактур-коллегии от 3 декабря 1723 г. «позволяется для размножения... заводов как шляхетству, так и купечеству к тем заводам деревни покупать невозбранно». В 30-х годах производятся повсеместные переписи рабочих на фабриках и заводах с указанием «тех людей отдать им вечно». В «кондициях» говорится теперь о «приписанных к фабрике... деревнях» *.

Это значит, что крупная фабрика, пытавшаяся строиться на капиталистических началах, перестраивается на началах натурально-крепостнических. Удовлетворение экономических требований дворянства должно было пресечь ее развитие на этом пути.

С 30-х годов XVIII столетия начинается непрерывный упадок крупной купеческой фабрики и развитие фабрики дворянской.

Дворянская фабрика работает без собственного денежного базиса и не на вольный рынок, последний к тому же не приемлет продукций русской крепостной фабрики, которая «работою против заморских весьма плоха, а ценою выше заморских». Материальный базис дворянской фабрики: даровой труд, утверждаемая правительством монополия, правительственная ссуда и казенный заказ. Формы сбыта с одной стороны, социальные условия производства с другой—кладут резкую грань между этой фабрикой и капиталистической, даже при наилучшей технической ее постановке, ибо капиталистическая форма производства не техническая, а социально-экономическая категория.

Натуральные формы сбыта устраняют участие в нем торгового капитала. Тот же процесс совершается и в организации сбыта продукции помещичьего сельского хозяйства, и здесь утверждается система протекционизма, монополий и казенных поставок. В 1758 г. вводятся «Провиантские регулы»; «старание иметь сколько и где возможно подрядов... от купцов... миновать, а пользоваться поставкой от шляхетства и поселян». 9 августа 1765 г. издается «Устав о винокурении», устанавливающий дворянскую винную монополию,

* Чулков op. cit.

источник значительных доходов для дворянства, могущее превратить дешевый хлеб в спирт. Устраненный от участия в сбыте местной фабричной продукции, торговый капитал лишен также возможности вернуться к своему положению в Московской Руси — положению посредника между чужеземным купцом и русским рынком, проводника иностранного товара. Доступ чужеземному товару затруднен покровительственными таможенными пошлинами.

Наконец, и на остающемся мелком внутреннем рынке городской торговый капитал встречается с конкуренцией крестьянского торга.

Результатом очерченного выше поражения городского капитализма явился упадок русского города, констатируемый всеми источниками второй половины XIX века. В наказе, данном Мануфактур-коллегией своему депутату в комиссию по составлению Уложения вице-президенту Сукину, говорилось, что «со времени умножения фабрик (крепостных) города в упадок приходить стали». Жалобы на упадок и разорение городов раздаются непрерывно в течение всего Екатерининского царствования. Данные третьей ревизии показали, что число городского населения на протяжении полустолетия пропорционально даже снизилось, составив 3,1% всего населения против 3,2% первой ревизии *. Еще существеннее социальная характеристика городского населения, состоящего на 38% из крестьянства и лишь на 40% составляющего торговый посадский класс. Историки русского города XVIII века могли повторить указание об отсутствии у нас «посадского общества» (в социальном смысле этого слова). В русской историографии стало общим местом указание на сельский характер русского города XVIII и даже начала XIX века.

Но говоря о сельском типе русского города, историк русского народного хозяйства как-то неизменно проходит мимо другой стороны этого процесса, создающего то, что по контрасту можно охарактеризовать, как «городской»—собственно говоря, промышленный—тип великорусского села, складывающийся уже в конце XVIII века. В XVIII веке возникают главные сельские центры нашей кустарной промышленности, как Павлово, Кимры и многие другие села Московской, Тверской, Костромской, Нижегородской, Приволжской губерний. В Павлове—сообщает Шторх—3.000 крестьян составляли как бы одну фабрику, хотя «каждый работал на себя». Это значит, что нарождавшийся капитализм не исчез с упадком русского города, а лишь изменил свои организационные формы, приняв формы более адэкватные Хозяйственному строю России XVIII века.

И если у экономиста Петровской эпохи Посошкова мы находим формулу капиталистических начинаний Петровской эпохи, то экономист Екатерининской эпохи, уже цитированный нами Георгий

---

* См. Кизеветтер. Посадская община.

Чулков, автор многотомного «Исторического описания российского коммерции от древних времен до ныне настоящего», дает нам отчетливую формулировку новой экономической политики *.

Чулков рекомендует для всех производств, имеющих широкий сбыт,—т.-е. работающих для рынка,—как-то: шерстоткацкое, полотняное, шелковое,—поощрять не крупного фабриканта, а «стараться заводить оные через многих одиноких мастеров и фабрикантов, которые не завися ни от содержателей, ни от компании, но сами из своих материалов работать могут. Хотя бы сто суконных мастеров ежегодно делали сукна по четыре тысячи кусков, или бы те же четыре тысячи кусков делали на одном заводе, то все равно. Но через сто суконных мастеров больше и крепче основываться будет сие мануфактурное дело, нежели через одну большую мануфактурную фабрику, которая от многих случаев может притти в упадок и совсем разориться... Так же для государства и для промыслов полезнее, когда сто семей живут благополучно». Чулков советует вовсе прекратить финансирование крупной фабрики, а взамен этого озаботиться обучением мастеров, снабжением их орудиями производства и материалами, обеспечением им сбыта. Перед нами программа поощрения кустарного производства. Последнее позднейшими историками обычно противопоставляется капиталистической промышленности, но современниками оно правильно оценивалось и в России XVIII в. действительно было организационной формой капитализма. Эта программа отнюдь не была отвлеченным рассуждением единичного экономиста-теоретика. О том же говорила программа Мануфактур-коллегии, представленная в комиссию по составлению Уложения названным Сукиным. Полное осуществление этой программы, конечно, должно было бы вызвать оппозицию дворянства, затрагивая его интересы, как владельца крепостной фабрики. Однако, взятая в известных пределах, она должна была встретить с его стороны даже сочувствие: совершившийся переход к барщинному хозяйству (об этом подробно речь будет ниже) создавал на селе среди крестьянства большое число свободных рабочих рук, развитие крестьянской промышленности создавало новую доходную статью в помещичьем крепостном хозяйстве.

Во всяком случае, уже в Екатерининскую эпоху получает осуществление программа поощрения крестьянской промышленности. Манифест 17 марта 1775 года в отмену прежних привилегий дворянской и купеческой промышленности указывал, что большие монопольные мануфактуры подрывали малые, что право заведения промышленных предприятий должно быть дано всякому, но что особенно надлежит заботиться о распространении промышленности среди крестьянства. Еще указом 1769 года было всем предоставлено право заведения станков и рукоделий на дому.

*) Чулков, т. VI, кн. 7, стр. 122—140. Предисловие.

Результаты этого процесса сказались очень скоро. Мы имеем статистику (правда, неполную) промышленных предприятий в России в самом начале XIX века, в 1804 г. По официальным статистическим данным числилось 2.423 фабрики с 95.202 рабочими. Это дает в среднем 40 рабочих на предприятие; в 1761 г. приходилось в среднем 105 рабочих. При этом всего существеннее то, что в составе этих фабрик имеются два глубоко отличных типа. С одной стороны, тип крупной фабрики. Это—прежде всего фабрики суконные; мы уже знаем, что это были преимущественно помещичьи крепостные фабрики. Суконных фабрик было 155—6,5% всего количества, на них было занято 30% всех рабочих, в среднем 190 рабочих на одно предприятие. Железоделательных заводов было 26 (1%) при 4.131 рабочем (4%), в среднем получается 160 рабочих на одно предприятие. Полотняных фабрик было 285 (9%) при 23.711 (25%), в среднем 80 рабочих на одну фабрику, в последней группе имеется, несомненно, уже определенный процент предприятий второго типа.

Второй тип—мелкое кустарное производство, господствующее в отраслях промышленности: бумаготкацкой, канатной, кожевенной, фарфоровой и фаянсовой. Эта группа охватывает 1.244 предприятия (50%) при 15.619 рабочих (16%), с средним числом 13 рабочих на одно предприятие. При этом надо еще иметь в виду, что ряд предприятий этого типа, как-то: вся красильная, мыловаренная, салотопенная промышленность, осталась здесь неучтенной. Таким образом реальный процент мелких промышленных предприятий должен быть еще повышен.

Приведенные цифры показывают, что уже на исходе XVIII века крестьянская промышленность, — казалось бы, едва лишь зародившаяся,—успела уже значительно развернуться. Вместе с тем определяются организационные формы и дальнейшее развитие русского народного хозяйства. В первый период своего развития русский капитализм выступал, как форма городского хозяйства. В последней четверти XVIII века организационной формой русского капитализма становится крестьянская мастерка, антагонизм капиталистического и натурального хозяйства получает свое оформление в назревающем антагонизме крестьянской мастерки с натуральным хозяйственным строем феодального поместья. В развитии этого антагонизма, падающем на первую четверть XIX в., лежит ключ к раз'яснению социальных и экономических проблем Александровского царствования, об'яснение которых большинство историков ищет в сфере аграрных отношений. И даже те вопросы, которые на первый взгляд относятся к области аграрных отношений, при более детальном анализе,—мы это увидим ниже, — должны быть сведены в конечном итоге к проблемам торгового и промышленного капитализма.

В современной историографии принята в последнее время и становится традиционной определенная схема интерпретации социальн - экономического процесса Александровской эпохи. Исходя из т. ›

значения, которое действительно принадлежит вопросу об освобождении крестьян в общественном движении Александровского времени, историки устанавливают следующий ряд положений, определяющих развитие этого процесса. Считая основным моментом хозяйственной жизни эпохи рост хлебных цен и выводя этот рост цен из развития экспорта хлеба, историки русского народного хозяйства считают последний основным экономическим фактором интенсификации нашего сельского хозяйства. Его интенсификацию они понимают в смысле перехода к капиталистическим хозяйственным формам в сельском хозяйстве, и отсюда выводится, согласно этой схемы, требование освобождения крестьян. Это требование представляется таким образом продуктом социальных интересов аграрного хозяйства, социальной программой передовой помещичьей группы. Вместе с тем и «декабризм» оказывается классовым дворянским движением.

Мы начнем изучение экономических отношений эпохи с отношений аграрных и рассмотрим их в порядке основных положений указанной схемы.

Прежде всего мы должны указать с самого начала на наличие существенной фактической ошибки в первом же положении этой схемы. Процесс роста хлебных цен должен быть отнесен не к Александровской эпохе, а еще ко второй половине XVIII века. Достигая значительного под'ема в самом начале XIX века, хлебные цены на протяжении Александровского царствования остаются, за небольшими исключениями, стабильными, а в 20-е годы начинают даже падать. Для определения движения хлебных цен мы можем воспользоваться таблицей нашего хлебного экспорта, дающей, с одной стороны, количество экспортированного хлеба, с другой—его стоимость в серебряных рублях. Согласно этих данных стоимость одной четверти ржи составляла в период 1760—1780 г.г. 2 рубля, к 1790 г. она возрастает до 3 рублей 58 коп. Для 1800 г. мы, к сожалению, не можем определить стоимость ржи, но если мы возьмем 1820 год, непосредственно предшествующий периоду снижения цен, то оказывается, что цена этого года почти равна цене 1790 г., составляя 3 рубля 60 коп. Значительный скачек хлебных цен имеет место в 1814—15 г.г. (до 6 р.), но необходимо учесть, что это годы, непосредственно следующие за Наполеоновскими войнами и отмеченные сильной разрухой в нашем хозяйстве. Снижение цен, начинающееся с 1820 г., дает уже в 1824 г. цену четверти ржи в 3 р. 20 к. Параллельно располагается также кривая цен на пшеницу, составляющих в 70-х годах 3 р. 50 к. за четверть, а в 80-х годах уже 4 р. 40 к. Принимая во внимание, что цена, повидимому, продолжает расти в течение последнего десятилетия и, таким образом, к 1800 г. должна была составить ок. 5 р., мы получаем полную стабильность цен на пшеницу вплоть до 1820 г., после чего и здесь следует снижение цен, составляющих уже в 1824 г. 4 р. за чтв. Эта кривая хлебных цен нашла себе отражение в современной экономической литературе, именно в 1804 г.

была поставлена задача о причине роста хлебных цен в России, а в 1826 г. Академия, следя за падением хлебных цен, ставила уже вопрос «о причинах понижения цен на земледельческие произведения в России».

Та же хронологическая поправка должна быть внесена и в вопрос о развитии нашего экспорта хлеба. Таблица нашего экспорта хлеба дана писавшим в 50-х годах историком русской торговли Семеновым.

Данные этой таблицы следующие:

Годы (ср по сложн.)	Рожь.		Пшеница.	
	Количество (в четв.)	Стоимость (в сер. руб)	Количество (в четв.)	Стоимость (в сер. руб.)
1758—60	67.203	111 867	—	—
1778—80	244.120	502 037	137.840	485.755
1790—92	116.474	413.271	67.554	294.066
1802—04	—	3.573.740	—	3.806 000
1814—15	287.587	1.720.729	530.644	2 853.411
1820 - 21	300 054	1.096.514	1.123.914	5 698.192
1824—26	49.054	160.964	914.449	3.476.432

Приведенная таблица свидетельствует, во-первых, о том, что и для ржи, и для пшеницы мы имеем особенно стремительный рост экспорта в последней четверти XVIII столетия: экспорт ржи с 1790 г. до 1802 г. возрос в 8,7 раза, экспорт пшеницы за то же время—в 13 раз. После 1802 года экспорт ржи не растет, а непрерывно падает. Что касается экспорта пшеницы, то, хотя последний действительно возрастает, необходимо иметь в виду, что он затрагивал лишь южные губернии, Причерноморье *) и на хозяйственном укладе России в целом отразиться не мог. Что же касается указания Покровского на значительный рост экспорта от 1813 до 1817 г.г. (в 5 раз), то в этом расчете не принято во внимание, что 1813 г. не может считаться нормальным в хозяйственной жизни не только России, но и Европы в целом.

Независимо от изложенного, нашему экспорту хлеба рассматриваемой эпохи по самому его масштабу вряд ли можно приписывать определяющее влияние на судьбы русского народного хозяйства.

Мы, к сожалению, не имеем для первой четверти XIX века того статистического материала, каким располагаем для второй четверти, благодаря работам Семенова, Тенгоборского и др. Последние устанавливают, что для 40-х и 50-х г.г. цифра нашего хлебного экспорта—ок. 6 млн. пудов (= ок. 750.000 чтв.)—составляла лишь около одной шестой поступавших на рынок излишков сельско-хозяйственной продукции, с другой стороны, они вновь подчеркивали, что сбыт на

---

*) После 1820 г., в связи с греческой революцией и событиями на Балканах, он также падает.

внешний рынок шел за счет южных губерний и мало затрагивал губернии центральные. Они доказывали, что сбыт зерно-хлеба и цены зернового рынка определялись не внешним, а внутренним рынком, внутренним потреблением.

Для изучаемого нами периода мы имеем одно цифровое указание, подтверждающее правильность этих расчетов и для первой четверти XIX века: в 1818 г. Комитет министров определял остаток хлебных излишков, невывезенный за-границу и, следовательно, требовавший размещения на внутреннем рынке, в 35 милл. пудов.

И современные писатели - публицисты, с которыми разошлись последующие историки, об'ясняли движение хлебных цен именно кон'юнктурой внутреннего рынка. Еще в 70-х годах XVIII века Щербатов, отмечая начавшийся рост хлебных цен, видел причину этого явления в росте промышленного населения за счет сельского. На этот же рост промышленного населения указывал Швитков, писавший в 1804 году, а писавший «в ответ на опубликованную Академией Наук 29 декабря 1826 г. задачу по политической экономии» «О понижении цен на земледельческие произведения в России» Фомин об'яснял общие причины, действовавшие на возвышение ходячей цены земледельческих произведений с половины XVII столетия... происшедшим переходом части народонаселения из состояния земледельцев в состояние ремесленников и торговцев, рождением разных ветвей промышленности, распространением городов и—лишь на последнем месте—внешних торговых сношений.

Таким образом уже разрешение первого положения схемы лежит не в рамках самого аграрного хозяйства (беря последнее в расширенном значении не только в части производства, но и в части сбыта), а вне его, в росте промышленных и торговых капиталистических сил страны.

Переходим ко второму положению схемы, к вопросу об интенсификации сельского хозяйства. Традиционная историческая концепция определяла путь развития аграрных отношений от барщины к оброку, от оброка к освобождению крестьян: другими словами, путь развития хозяйственных отношений представлялся в форме постепенного перерождения, переходя от более заостренных форм данной системы путем их постепенного смягчения к новой системе. Однако действительный путь исторического процесса не соответствует этой логической схеме. Наступающий экономический кризис заставляет данный социальный строй напрягать все наличные экономические силы, использовать все доступные в пределах данной экономической системы средства, так как данный социальный строй может существовать лишь в определенных данных экономических условиях; отказ от экономической борьбы означал бы сдачу своих социальных позиций, самоупразднение. Поэтому исторический путь ведет через заострение форм отживающей экономической системы, через доведение ее до крайних форм развития, пока народившиеся

социальные элементы нового строя не сбросят старый и не займут его место.

Таким путем идет и развитие наших аграрных отношений.

Процесс интенсификации начинается, как указывалось выше, еще со средины XVIII века. Он связывается с оседанием дворянства в своей усадьбе, с его «превращением в сельского хозяина»; заведение собственного хозяйства означало из'ятие земли из крестьянского пользования в непосредственное хозяйственное ведение помещика с обработкой ее даровым крепостным трудом в форме барщины. На протяжении 2-ой половины XVIII в. совершается значительный рост барщинного хозяйства, и барщина становится господствующей формой эксплоатации крестьянского земледельческого труда. По данным Семевского *) число барщинных крестьян составило в конце царствования Екатерины II в среднем 45% для нечерноземных и 74% для черноземных губерний. Лаппо-Данилевский **) определяет для этого же времени число барщинных крестьян в 56%, при чем для Московской губ. в 64%. Это процесс массового перехода поместий на барщинное хозяйство продолжается в начале XIX в. Он засвидетельствован подлинными записями помещичьих хозяйств, использованными Струве в его работах «Основные моменты в развитии крепостного хозяйства в России в XIX веке» и «Крепостная ститистика». Процесс обезземеления русского крестьянства в центральных губерниях настолько расширяется, что в XIX в. бросается в глаза западным путешественникам, как, напр., Гакстгаузену. Одновременно на юге мы наблюдаем массовый перевод крепостного крестьянства, избыточного теперь в центральных губерниях, в поместьях Новороссийского края, что позволяет охарактеризовать этот период в истории Новороссии, как период ее помещичьей колонизации ***).

Сравнительная доходность барщины и оброка определяется Лаппо-Данилевским (в указанной работе) для последней четверти XVIII в. следующими цифрами: оброк—7 руб. серебром, барщина—14 руб... Еще резче это расхождение по вычислениям, представленным в Вольно-Экономическое Общество в 1809 году для Орловской губернии, в которых доходность барщинного тягла определена в 106 руб. в год, тогда как оброчное давало не больше 30 рублей ****). Поэтому, как указывал русский агроном 30—40-х годов Вилькинс, для помещика считалось всего выгоднее взять крестьян на свое содержание, завести собственную упряжь и орудия и целый год заставлять крестьян работать, разумеется, ничего не платя им за труд. Это—тип «месяч-

*) Крестьянский вопрос в России в XVIII веке и первой половине XIX века.

**) Статья в сборнике «Крестьянский строй».

***) Ряд дел, связанных с этими переселениями, сохранился в архиве Комитета Министров и приведен частично в работе Середонина.

****) Труды В.-Эк. Об-ва за 1810 г., т. 62. Ст. *Погодина.*

ника», появляющийся в русском помещичьем хозяйстве в конце XVIII века. Тип месячника всего характернее для среднего размера помещичьих хозяйств центральной полосы. Русский экономист XIX века Муравьев охарактеризовал этот тип хозяйства метким термином «хлебной фабрики». «Чем мы должны почитать в России сельское хозяйство? По моему мнению, фабрикой, на которой, вместо сукна или других изделий, производят хлеб». Необходимо только помнить, чем была русская фабрика того времени—фабрика не капиталистическая, а крепостная, основанная на максимальной эксплоатации неквалифицированного, но зато дарового труда. Покровский определил это барщинное хозяйство термином «плантационное хозяйство», хорошо знакомым западной истории, особенно колониальной.

Если оброк сохраняется в помещичьем хозяйстве начала XIX века, то сфера его применения, его экономическая сущность коренным образом меняется. Барщина и оброк, бывшие в XVIII веке конкурирующими формами, в XIX веке становятся уже координированными формами эксплоатации помещиками своего крепостного хозяйства, применяемыми каждая в своей сфере. В аграрном хозяйстве утверждается барщина. Но барщинное хозяйство в своем развитии обусловливает параллельное развитие другой хозяйственной формы — крестьянской промышленности. С переходом к барщинной системе факт малоземелья становится основным больным местом в жизни крестьянства центральной полосы. Помещики оставляют известное число рабочих за тяглом, не наделяя их землей и не привлекая их к барщине. Для таких крестьян естественный исход—заведение разных промыслов или отход на сторону. С ростом барщинного хозяйства число отходящих на промыслы, по статистическим данным, непрерывно растет. Помещик и сам это поощряет, как новую доходную статью в своем хозяйстве. Помещик налагает свою руку на этот доход путем введения паспортной системы, путем ряда специальных указов о порядке зачисления на службу и учинения расчета с отхожими крестьянами на фабриках, направленных к тому, чтобы установить учет этой крестьянской рабочей силе и облегчить помещику получение его доходов. Последний для 1-ой четверти XIX в. выражается столь значительными цифрами, что они ни в какой пропорции к цифрам XVIII века не стоят. Для 80-х годов XVIII века оброк выражался в сумме от 5 руб. до 10 руб., для конца 90-х годов — около 20 рублей. В 30-х и 40-х годах XIX в. величина оброка достигает 125 рублей, а местами и выше. Здесь, конечно, нельзя искать об'яснения в падении ценности ассигнационного рубля. Причина лежит глубже: в указанном уже нами изменении экономической функции оброка, его об'екта. Оброк XIX века ни в какой преемственной связи с оброком XVIII века не стоит. Оброк в крепостном хозяйстве становится формой обложения промышленной деятельности крестьянства,—это, по меткому выражению Струве, «подоходно-поимущественный налог, падающий на крепостную буржуазию» и, добавим

мы, на крепостного ремесленника. Аграрное хозяйство, как таковое, ведется на чисто барщинных началах.

Эта картина, которую следует еще дополнить указанием на чисто зерновой тип нашего аграрного хозяйства, ничего общего с капиталистической эволюцией сельского хозяйства не имеет. Последняя определяется в работе Лященко следующим образом: «Старое крупное натуральное хозяйство... при развитии денежного хозяйства, при эмансипации землевладельческого населения и при уничтожении общинных феодальных порядков в землевладении—распадается и переходит непосредственно в капиталистическую организацию», в форме капиталистического фермерства (английский тип) или в форме крупного капиталистического предпринимательства (тип континентальный). Но именно указанные предпосылки развития капиталистического типа сельского хозяйства в России этой эпохи, как мы видели, отсутствуют. Еще в 1837 году автор одной русской брошюры писал, что в русском сельском хозяйстве «денежный капитал редко участвует, а главный необходимый, или, лучше сказать, неизбежный капитал есть крепостные крестьяне—капитал орудий».

Историки, придерживающиеся противоположного взгляда и полагающие, что ликвидация крепостного права лежала в интересах аграриев—дворянства,—обычно обращаются прежде всего к пресловутому закону о «свободных хлебопашцах».

Указ о свободных хлебопашцах вышел 20 февраля 1803 г. Он последовал по инициативе гр. Румянцева, подавшего соответствующую докладную записку Александру I еще в 1802 году. В этой записке много говорилось о свободе крестьян и об их естественных правах, консервативное дворянство по этому случаю говорило о вредном влиянии западных идей и встретило проект весьма враждебно. Государственный Совет, как представитель аристократических интересов, и само правительство сочли нужным снабдить закон всякими оговорками. Великий князь Виктор Павлович в специальном циркуляре на имя губернаторов, предшествовавшем опубликованию нового закона, писал: «намерение сего устава состоит в том, чтобы доставить помещикам возможность отдавать свои земли в наем или обращать в продажу за выгоднейшие цены не в одни чужие руки, но и собственным их крестьянам, если господин найдет в этом свою выгоду... никак не предполагается при сем ослабить порядок, ныне существующий между помещиком и крестьянином» *). Действительность показала, что слова этого циркуляра совсем не были далеки от истины. Его конкретное применение выразилось за все время царствования Александра I в 161 случае освобождения, при чем было уволено 47.153 д. м. п. Сам Румянцев уволил в 1804 г. лишь 199 — в Вологодской губ. 126, в Ярославской 39 и в Рязанской 34, заявив,

*) Цитируется по работе *Варадинова* История министерства внутренних дел, т. I, ч. I.

что его материальное положение не позволяет ему пожертвовать большим.

Для выяснения вопроса по существу необходимо выявить социальную и экономическую природу последовавших освобождений и для этого обратиться к конкретной стороне дела.

Прежде всего здесь возникает вопрос о территориальном распределении имевших место случаев освобождения. 81 случай или 50% общего числа приходится на центральные промышленные губернии (Ярославскую, Нижегородскую, Владимирскую, Костромскую, Московскую, Петербургскую), 47 случаев или около 30%—на губернии окраинные (Олонецкую, Вологодскую, Пермскую, Оренбургскую, Саратовскую, Таврическую, Слободской Украины, Псковскую, Новгородскую) и лишь около 20% падает на центральный земледельческий район.

Обращаясь далее к характеру самого освобождения по районам, необходимо определить, с одной стороны, размер отдельных случаев (число освобожденных), с другой—условия освобождения (выкупные платежи и пр.).

В Промышленном районе преобладает освобождение небольшими группами. В Ярославской губ. на 20 случаев 17 дают в среднем 50 д. м. п. на 1 случай, из них в 11 случаях меньше 35. В Нижегородской губернии из 14 случаев семь составляют в совокупности 83 д. м. п., во Владимирской губ. 8 случаев, всего освобождено 617 д. м. п., при этом 6 случаев дают в совокупности 174 д. м. п. В Петербургской губ. 9 случаев, всего освобождено 428 д. м. п. Там, где освобождалась более крупная группа, последняя составляла уже обычно в среднем 500 человек. В Центральном земледельческом районе преобладает последний тип—увольнение в свободные хлебопашцы крупными единицами, что говорит о ликвидации целых хозяйств. Если даже исключить такие из ряда вон выходящие случаи, как освобождение 13.371 крестьянина имения кн. Голицына (выкупленных казной) или 5.001 крест. помещика Петрово-Солово в Воронежской губ.,—средний размер для этого района останется весьма значительным. Так, для Курской губ. мы имеем 1 случай—616 д. м. п., в Тульской—2 случая, из коих по одному 792 д. м. п., в Калужской—2 случая: 471 и 250 д. м. п., в Тверской в среднем 250—300 д. м. п.

То же имеет место и в южных земледельческих районах: в Таврической губ. 3 случая—328, 411 и 313 д. м. п., в Слободской Украине—2 случая—468 и 374 д. м. п. (третий случай—61 д. м. п.), в Саратовской губ. было 4 случая, из них по одному освобождено 2.973 д. м. п.

В отношении условий увольнения крестьян,—для второй категории случаев, поскольку источники позволяют проследить действительные обстоятельства для каждого отдельного случая, мы действительно имеем дело с полной ликвидацией отдельного имения, при чем последнее обременено обычно банковской ссудой, которая переводится на крестьянство. Плательщиком по отношению к помещику

в этих случаях выступает чаще всего не крестьянство, а казна, приходящая на помощь выкупающемуся крестьянству, или, вернее, разоряющемуся помещику. Самые размеры выкупных платежей для крестьянства непосильны, они составляют для этой категории в среднем 500 рублей.

При этом помещик чаще всего продает имение на сторону, крестьяне вступают в дело третьими лицами и отвоевывают себе тяжелой борьбой право на эмансипацию. Об этом сохранилось много следов в делах Комитета министров, приведенных у Середонина (дела крестьян помещика Мельницкого, пом. Кузьмина, пом. Зотова).

Для промышленного района выкупные платежи значительно повышаются, составляя около 1.000 рублей и достигая в отдельных случаях 4—5 тыс. рублей, эти условия относятся к промышленным оброчным крестьянам.

Бесплатное освобождение имело место всего лишь в трех случаях: 7.000 душ пом. Карпия, 415 и 16 душ. Слова в. кн. Виктора Павловича об обращении в продажу «за выгоднейшие цены» вполне оправдались.

Интересно далее распределение освобождений во времени. Всего освобождено по пятилетиям за 1804—1808 г.г.—20.747 д. м. п., за 1808—1813 г.г.—10.508 д. м. п., за 1814—1818 г.г.—4.696 д. м. п. и за 1819—1825 г.г. (мы берем период до конца царствования Александра I)—11.212 д. м. п. Этот расчет составлен Семевским. Однако из цифры первого пятилетия следует исключить, как явление особого порядка, освобождение крестьян кн. Голицына (13.371 д. м. п.) и крестьян помещика Петрово-Солово (5.001 д. м. п.) и из цифры второго пятилетия—освобождение крестьян помещиком Карпием. Тогда мы получим для указанных периодов следующие последовательные цифры: 2.375, 3.508, 4.696, 11.212 д. м. п. Таким образом, свыше половины общей массы приходится на двадцатые годы. В этом росте ликвидации имений сказывалось, повидимому, тяжелое финансовое положение, переживавшееся отдельными дворянскими хозяйствами, отзвук которого мы находим в ряде документов эпохи и которое явилось результатом наступившего в 20-х годах кризиса на сельскохозяйственном рынке.

Наконец, к чему свелось в итоге увольнение крестьян в свободные хлебопашцы?—За 22 года было уволено 47.153 д. м. п. или 0,45% всех помещичьих крестьян, составлявших по 6-ой ревизии 1812 г. 10,5 милл. душ.

При таких условиях выводить весь эпизод со свободными хлебопашцами из социальной программы аграрного хозяйства, рассматривать его, как продукт новой социально-экономической политики дворянства, конечно, не приходится. Дворянство Александровской эпохи отлично понимало, что его классовый интерес лежит в сохранении крепостного крестьянства, являющегося основной базой феодального

натурального хозяйства, оно неотступно держалось старого завета Щербатова о нерасторжении связи крестьянина с помещиком.

Когда в 1812 г. Вольно-Экономическое О-во поставило задачу о сравнительной выгодности крепостного и вольнонаемного труда в сельском хозяйстве, группа аграриев в представленных ею семи работах высказалась об освобождении крестьян резко отрицательно. Комаров, автор одной из трех премированных работ, доказывал, что существование дворянского хозяйства невозможно без крепостного права, что результатом его отмены был бы упадок и полный развал нашего сельского хозяйства. Те же взгляды в изданных в Дерпте замечаниях на работу Меркеля подробно развивал лифляндский помещик фон-Бок, один украинский автор Белецкий-Носенко и др. Особенно резко формулированы эти взгляды в одной ненапечатанной записке Растопчиным: «в случае освобождения крестьяне бросят земледелие, которого не любят, и запишутся в купцы и мещане или отправятся на отхожие промыслы, дворянские поместья и дворянские фабрики останутся без рабочих рук». И даже наиболее передовой представитель дворянской группы Мордвинов, признававший теоретическую возможность ликвидации крепостного права путем выкупа, долженствовавшего дать дворянам необходимые средства для реорганизации своего хозяйства на капиталистических началах, считал в России того времени, при отсутствии денежных капиталов, такое мероприятие неосуществимым и выступал решительным противником каких-либо изменений существовавших в нашем сельском хозяйстве социально-экономических отношений.

И если мы обратимся к той работе, которая вызвала резкие нападки русского дворянства, так как формально предлагала освобождение крестьян,—к польской работе гр. Стрыйковского,—то при более внимательном ее разборе легко убедимся, что реальный смысл его предложений далек от того, что им приписывают. Предложения Стрыйковского в сущности ничем не отличаются от того, что делалось русскими аграриями. Сходясь с ними в признании невыгодности для помещика оброчной системы, он предлагает установить между помещиком и крестьянином отношения наследственно-арендного договора на условиях издельщины, что в сущности ничем не отличается от барщины. Последняя определяется им с участка в 7,5 десятин в 126 тяглых, т.-е. конных, дней в году; эта норма немногим отстала от нормы, существовавшей в имении Разумовских и зафиксированной в делах Комитета министров в связи с крестьянскими волнениями в этом имении. Об освобождении крестьян здесь, повторяем, можно говорить лишь формально. По существу мы имеем здесь ту же феодальную, натуральную систему хозяйства.

Если все же вопрос об освобождении крестьян ставится в Александровскую эпоху, то выходит он не из среды аграриев, а базируется на совершенно иных экономических предпосылках. «Крепостное право...—писал в 50-х годах XVIII в. после посещения Голландии

и Франции Д. А. Голицын,—уничтожает потребность в свободном труде, так как обширная дворня дает помещику возможность удовлетворять всем своим нуждам с помощью домашнего производства; понятно, что не развиваются промышленность и торговля, не может образоваться и среднее сословие». Это краткое замечание письма Голицына сразу вводит вопрос в надлежащие рамки. Крепостное право препятствует развитию не аграрного, а городского—промышленного и торгового—хозяйства. Именно в этой плоскости и ставится вопрос в экономической литературе Александровской эпохи.

Так, диссертация Кайсарова «Об освобождении крепостных в России» выдвигает следующие основные положения: крепостное право препятствует увеличению народонаселения, оно препятствует развитию фабричной промышленности и торговли, и, наконец, препятствует правильному денежному обращению. Для развития промышленности,—писал в «Начертаниях статистики российского государства» Арсеньев,—нет лучшего и надежнейшего средства, как совершенно «не ограниченная ничем гражданская свобода». И поэтому поборники освобождения крестьян выходят отнюдь не из среды аграриев, а прежде всего из рядов теоретиков новейшей политической экономии. Среди них первое место занимают иностранцы—Шторх, Якоб, Шаде и другие. Они принадлежат к школе Адама Смита, Сэя, Сисмонди, т.-е. к школе классической политической экономии. Не мешает при этом отметить, что Смита и Сэя мы находим в библиотеках большинства декабристов; влияние Смита зафиксировано Пушкиным в Евгении Онегине. Основанные на этих идеях построения стоят всецело на позиции индивидуалистической, буржуазно-либеральной теории. Их интересует не освобождение крестьянского сельского хозяйства, а освобождение личности крестьянина, крестьянского труда. В экономической перспективе постоянно один мотив—рост промышленности и торговли, рост городского хозяйства. Таковы основные тезисы работы наиболее последовательного теоретика этой группы Якоба (Grundsätze der Polizeigesetzgebung der Polizeianstalten),—освобождение крестьян создает класс хороших ремесленников и фабричных рабочих, лишние руки перейдут на фабрики, в среде свободных рабочих разовьется потребление мануфактурных товаров, будет дан сильный толчок для развития промышленности и для процветания города.

Интересы сельского хозяйства, как видим, места здесь не имеют. И когда, в связи с поставленной В.-Эк. Об-вом задачей (о которой мы уже упоминали), Якоб перенес этот вопрос в сферу сельско-хозяйственных отношений, то в своем ответе он прежде всего спешит оговорить, что вопрос, каким образом выгоднее для землевладельца обрабатывать свою землю,—свободными наемными поденщиками или с помощью крепостных крестьян,—не имеет однозначного ответа: «при известных отношениях может быть выгоднее то одно, то другое». Признавая чисто теоретически более выгодным вольнонаемный труд,

Якоб переходит затем к вопросу конкретных мереприятий и приходит к заключению, что обработка земли вольнонаемным трудом неосуществима в России из-за отсутствия необходимого количества рабочих и всего более из-за отсутствия достаточных капиталов. В результате он предлагает договор аренды на условиях издельщины—то же, что проектировал Стрыйковский. Якоб этот проект детализирует. Помещикам, имеющим до 100 десятин, он советует взять себе всю землю, необходимых для хозяйства крестьян оставить при себе в качестве батраков—по крепостной терминологии мы скажем «месячников»—остальных отпустить за оброк на сторону. Более крупные имения он советует делить на барщинные и оброчные земли. Но что это, в конце концов, как не обычное крепостное хозяйство Александровской эпохи? Отвергая крепостное право, экономисты в сфере аграрных отношений под новыми терминами сохраняют старое крепостное хозяйство.

И если здесь имеется формальное противоречие, то ключ для его разрешения дан нам всем нашим предшествующим изложением. Это противоречие являлось прямым отражением сосуществования в хозяйственном строе Александровской эпохи двух антагонистических систем: натурального хозяйства дворянского поместья и молодого капитализма крестьянской фабрики. И здесь проблема эволюции народно-хозяйственных форм России Александровской эпохи ставится и решается не в плоскости аграрных, а в плоскости промышленно-торговых отношений.

В плоскости аграрных отношений хозяйственная проблема была разрешена дворянством средствами феодального хозяйства. На время, конечно, но вопрос о необходимой интенсификации хозяйства был полностью разрешен,—разрешен настолько, что в 20-х годах предложение, повидимому, превышало спрос, потребительскую емкость русского рынка. Мы слышим об излишках хлеба, гниющих в помещичьих амбарах, и о падении хлебных цен.

Иначе обстоит дело в промышленности. Здесь непрерывно растет удельный вес новых хозяйственных форм крестьянской промышленности.

На протяжении всей Александровской эпохи средний размер предприятий, составлявший в 1804 г. 40 рабочих на одно предприятие, остается приблизительно на одном уровне и лишь в 40-х годах дает повышение до 70 рабочих на предприятие.

Учет по отдельным отраслям производства мы имеем после 1804 г., для 1814 и 1825 г.г. Для 1814 г. общее число промышленных предприятий составляло 3.931, что дает увеличение против 1804 г. на 50%. При этом однако мелкое производство растет быстрее крупного, увеличиваясь на 75% и составляя 2.110 предприятий или 60% общего числа. Одновременно понижается размер этой категории предприятий, работающих в среднем при 6 рабочих.

В 1825 г. общее число предприятий дает увеличение на 33%

и составляет 5.261 предприятие. Предприятий мелкого типа с средним числом рабочих 5,7—3.013 или 58%. Число мелких предприятий увеличилось пропорционально значительнее крупных, против 1814 г. на 45%.

При этом, согласно закона 1818 г., крестьянские мастерки с числом рабочих до 4 и при 2 учениках рассматриваются, как домашние заведения и совершенно освобождены от выбора торговых свидетельств, чем значительно облегчен рост крестьянского кустарничества.

Но процесс роста крестьянской промышленности этим не ограничивается. Она растет не только численно, но и в смысле мощности отдельных хозяйственных единиц. Это сказывается с особенной наглядностью в сфере бумаготкацкого производства. Последнее по всем имеющимся данным производство крестьянское; как рассчитанное преимущественно на крестьянский рынок, оно стоит вне круга интересов дворянской фабрики. В 1804 г. значилось 199 бумаготкацких фабрик с 6.566 рабочими, что составляет 33 рабочих на предприятие. В 1814 г. мы имеем 423 предприятия с 39.210 рабочими или 93 рабочих на предприятие. В 1825 г. мы имеем 434 предприятия той же мощности. История бумаготкацкой фабрики симптоматична для истории крестьянской мастерки вообще, ибо рост ее отнюдь не сопровождается переходом ее из рук крестьянства в руки дворянства или купечества.

По «Списку фабрикантам и заводчикам Российск. империи 1832 г.» для промышленных губерний мы получили следующие цифры распределения предприятий между отдельными сословиями.

В Нижегородской губ. имеется 14 дворянских фабрик, 17 промышленных сел и 85 отдельных крестьянских предприятий, 43 фабриканта из купцов и 15 из мещан. Подавляющее господство принадлежит крестьянской промышленности в льняном и кожевенном производстве, а также в железном.

Во Владимирской губ. дворянских фабрик 19, купеческих 177, мещанских 10, крестьянских 166.

В Московской губ. дворянских фабрик 40, крестьянских 183 и 8 промышленных сел, купеческих 502 и мещанских 68; однако 402 купеческие фабрики приходятся на самую Москву.

При этом уже в этом списке участие крестьянства преуменьшено, так как многие крестьяне-промышленники уже записаны в купеческое или мещанское сословие.

Если теперь мы обратимся к формам производства крестьянской фабрики, то здесь мы должны констатировать господство вольнонаемного труда. Он составляет в бумаготкацком производстве, взятом в целом, 95%, в кожевенном 93,5%, в канатном 92%, в полотняном 70%. Рост вольнаемного фабричного труда постепенно распространяется и на старую поссессионную фабрику. С середины 20-х годов поссессионные ф-ки возбуждают ходатайство о разрешении

им отпуска на свободу своих крепостных. Поссессионная фабрика, работающая как и крестьянская для рынка, очевидно, в условиях крепостного труда не может выдержать конкуренцию.

Этот процесс эволюции в сторону капиталистических форм не может распространиться на дворянскую фабрику, за отсутствием у нее капиталов, ибо ее единственный капитал, как говорилось выше,—капитал орудий. Поэтому крепостной труд продолжает преобладать в тех отраслях производства, где господствует дворянская фабрика: в суконном производстве (82%), в сталелитейном и чугунном (80%), в писчебумажном (75%). Что касается участия здесь определенного процента вольнонаемного труда, то необходимо иметь в виду, что некоторое число недворянских фабрик проникало и в эти отрасли производства. Возможно, что наблюдавшийся и в этих отраслях производства рост, хотя бы в ограниченных пределах применения вольнонаемного труда на протяжении первой четверти XIX в.—в суконной промышленности с 10% до 18%, в писчебумажной с 22% до 25%—должен быть отнесен на счет именно этой категории—недворянских предприятий. Во всяком случае эти цифры свидетельствуют о том, что наше положение о росте русской промышленности первой четверти XIX века, главным образом, за счет развития предприятий капиталистического типа, относится не только к тем отраслям, которые с самого начала принадлежали крестьянскому промыслу, но и к крупной промышленности, которая стала в XVIII в. монополией дворянской крепостной фабрики. И в новых хозяйственных условиях дворянская крепостная фабрика знает лишь старые формы хозяйственной политики. Меры ее экономического поддержания старые: монопольная поставка, правительственная ссуда (за 8 лет министерства Козодовлева одним суконным фабрикантам было выдано ссуд 3 милл. рублей), протекционная, таможенная пошлина. Эти меры однако уже бессильны приостановить падение крепостной фабрики. Ее численность уже во второй четверти XIX века сокращается не только пропорционально, но и абсолютно. По данным, приводимым Туган-Барановским, в 1832 г. было 862 дворянских фабрики или 15% общего числа, в 1840 г. их остается около 500 или 5%.

Рост капиталистической промышленности должен итти рука об руку с развитием капиталистической торговли, ибо рост капиталистической промышленности определяется ростом рынка и рыночного спроса. Мы говорили, что во II половине XVIII века городская капиталистическая торговля падает под давлением дворянской монополии и конкуренции крестьянского торга. Это явление остается в силе и в XIX веке. «Города в России находятся или в неподвижном состоянии или в упадающем,—пишет Фомин в 1826 г.:—число купцов и купеческие капиталы уменьшаются, число мещан также». Но как из крестьянской мастерки вырастает крестьянская капиталистическая фабрика, так и крестьянский торг начинает усваивать

капиталистические формы. Гжатский купец Жуков пишет в 1845 г.: «В уезде образовались промышленники, называемые прасолами, разносчиками, ходебщиками и мужиками-фабрикантами, которые производят, не платя никакой гильдейной повинности, торговлю, принадлежащую по всем правам одним только городам».

Другой современник, Власьев, рисует, во что превращается крестьянский торг: «Ивановские базары, можно сказать, заменяют для этого края биржу; много торговцев, фабрикантов и промышленников с'езжаются сюда только для того, чтобы увидеться между собой и окончить сделки. Здесь, судя по ходу торговли, устанавливается большей частью цена на самые важные для местной промышленности статьи—на миткаль, бумагу и пр.». Крестьянская торговля, расширяясь, выходит за пределы сельского рынка. Уже в 1807 г. «крестьянам дозволено производить торговлю, купечеству присвоенную, с уплатой пошлин соразмерно обширности торга» (Семенов). Сколь далеко распространялся крестьянский торг, можно заключить из того, что в составе русского экспорта за 1820 г. на продукцию тех отраслей промышленности, в которых, как мы видели, господствовала крестьянская промышленность, приходилось около 25 милл. рублей или около 45% всего экспорта; далее около 8 милл. рублей или 15% приходится на зернохлеб.

Так, из крестьянской мастерки и крестьянского торга вырастает постепенно молодой русский капитализм. Этот крестьянский капитализм еще целиком опутан правовыми формами феодальных отношений. Но именно в силу своего быстрого роста он особенно остро ощущает их давление и настойчиво требует эмансипации, освобождения от социальных и политических феодальных пут, ищет оформления в капиталистическом буржуазном строе. Отсюда тот антагонизм хозяйственных систем, с которым мы сталкивались на каждом шагу в ходе нашего исследования. Эта антагонистичность хозяйства Александровской эпохи приводит в 20-х годах к тому экономическому напряжению, к тому хозяйственному кризису, о котором свидетельствует вся литература эпохи, несмотря на констатируемый одновременно под'ем по отдельным отраслям хозяйства. Ибо экономические кризисы являются продуктом не упадка производства, а неправильного распределения экономических ценностей и хозяйственных сил *).

Отсюда и то состояние острого социального брожения, о котором говорят все современные источники и прежде всего литературное наследие декабристов. «Проехав с севера на юг России,—пишет из тюрьмы Каховский Николаю I,—старался вникнуть в положение различных классов людей, отовсюду слышал ропот на правительство и правителей, им поставленных». «Желание лучшего—сделалось

*) Интересно, что об этом писал уже цитированный нами Фомин в 1826 г., op. cit., стр. 23.

первым чувством каждого», пишет Якубович. Бестужев, Штейнгель, Каховский, Якубович,—все в однородных красках рисуют это общее брожение умов.

Антагонизм требовал разрешения, но разрешить его каждый класс хочет, конечно, по-своему.

Какова практическая программа дворянства? До нас дошли интересные документы, отражающие его экономические требования: это записки предводителей дворянства великорусских губерний, поданные «за общим подписом» Николаю I в начале его царствования, их содержание приведено недавно в статье Шебунина в журнале «Борьба классов».

Констатируя оскудение дворянских капиталов, упадок дворянской фабрики, обременение долгами дворянских имений, они обращаются за содействием к правительству и, прежде всего, к казне. Мы указывали, что вся система дворянского натурального хозяйства базируется на ссуде, на поставке, на монополии и на системе сугубого протекционизма. К этим испытанным мерам хочет прибегнуть дворянство и ныне.

Прежде всего, они просят в этих записках об отсрочке платежей по обязательствам и об уменьшении самих долговых обязательств, лежавших на их имениях и фабриках. Затем они просят о возврате дворянству винной монополии, о восстановлении монопольной поставки дворянством хлеба с покупкой его казной по «справедливым» ценам, т.-е. о восстановлении провиантских регул. И твердо стоя на своей социальной базе, они требуют дальнейшего упрочения крепостного права и просят «воспретить крестьянам искать вольностей», чтобы задушить самый дух свободомыслия.

Но мало, конечно, подкрепить свою экономическую базу, надо еще устранить антагониста. В «желании заключить деревенскую фабричную промышленность в некоторые пределы... они хотели бы... учредить цехи, брак, свидетельствование и пр., словом, связать ее по рукам и ногам»,—так писал в 1830 г. официальный орган Министерства Мануфактур и Торговли в статье «О крестьянских фабриках» (кн. 10). В области торговли они желают дальнейшего поддержания протекционной тарифной системы, системы монополий и казенных поставок, т.-е. всего, чем жило дворянское хозяйство в XVIII веке и что. как мы видели, задушило городской капитализм.

Полное и последовательное отрицание этой программы мы найдем в программе декабристов, представляющей пункт за пунктом ее прямую антитезу *). Это—программа ликвидации старого хозяйственного строя.

---

*) Мы не имеем возможности выяснять здесь взаимоотношение отдельных программ декабристов; мы выделяем те основные положения, которые общи всем их программам.

Прежде всего они требуют полного и безмездного упразднения крепостного права. Крестьяне освобождаются, земля становится предметом гражданского оборота.

Далее, они требуют раскрепощения промышленности и торговли, «Существующие ныне гильдии в купечестве и цехи в ремесле уничтожаются», единодушно заявляют все программы декабристов. «Предоставляется каждому гражданину право заниматься любой отраслью промышленности или торговли, где только пожелает», и, как бы для устранения всякой недоговоренности, добавляется: «равным образом и в селениях всякого рода». Система монополий и протекционизма подлежит упразднению.

В предложении программы Северного Общества об освобождении крестьян без земли хотят видеть отражение дворянских интересов. Однако мы уже видели, что дворянская программа подходит к вопросу иначе. Добавим только, что именно в северных губерниях главную цену представляла не земля, а личность крепостного, что одной из главных статей дохода был крестьянский промысел, освобождение личности крестьянина означало раскрепощение этого крестьянского промысла. Когда в 50-х годах вопрос об освобождении крестьян становится реальностью, именно помещики северных губерний требовали выкупа самой личности крестьянина.

Также ошибочно усматривать отражение дворянских аграрных интересов во фритредерских взглядах декабристов. Это чисто абстрактное применение теоретической формулы антагонизма промышленного и аграрного капитала, совершенно игнорирующее реальную историческую обстановку. Как-будто забывают, что русский помещик первой четверти XIX века был в то же время фабрикантом, что протекционная система вводилась именно в интересах этой дворянской фабрики: крестьянская промышленность конкуренции иностранного импорта еще не боялась, а торговый капитал настойчиво добивался открытия доступа иностранному товару, проводником которого он был. И затем эта фритредерская программа прежде всего направлялась против системы внутренних монополий, т.-е. била уже непосредственно по дворянским интересам.

Для нас в результате предшествующего изложения ясно, интересы какого класса отражает эта программа. Но как случилось, спросят, пожалуй, что общественная группа—дворянская по своему составу—осуществляет не-дворянскую, анти-дворянскую программу.—В процессе хозяйственного кризиса и эволюции новых социально-экономических отношений, исторически изживающий себя класс переживает процесс внутреннего разложения и распада. В этом процессе передовые группы постепенно отходят от своей классовой позиции и, подчиняясь историческому движению эпохи, начинают осуществлять программу нового грядущего класса. Так было и здесь. Декабристы—социальная группа, оторвавшаяся от своего дворянского класса в процессе изживания исторически отживающих социальных

и экономических отношений—становятся носителями социально чуждой программы, данной им не их историческим прошлым, а исторически созданной условиями нового хозяйственного, общественного строя программы народившегося капитализма. Таково обычное положение интеллигенции в революционном процессе, и недаром М. Н. Покровский назвал декабристов дворянской интеллигенцией, сравнив их роль с ролью интеллигенции в современной социалистической революции. Напомню, что совершенно аналогичный процесс пережит в XVIII веке западным и, прежде всего, французским обществом. Судьба декабристов,—это до некоторой степени повторение судьбы французского дворянства в революции 1789 года. И там передовые группы дворянства оказываются впереди политической оппозиции, вождями либерализма, застрельщиками буржуазной революции в 1789 г. И там и тут программы были тождественны. Но в развитии событий во Франции и у нас было одно коренное различие. Капиталистическая эволюция французского общества создала сплоченную и организованную для политической борьбы городскую буржуазию (это не плеоназм!), последняя выступила на сцену вслед за своим авангардом в 1792 г. и, отстранив его, завершила свою революцию.

Наша буржуазия к борьбе готова не была. У нас экономический рост опередил до известной степени рост социальный, буржуазная программа создалась раньше, чем сорганизовался буржуазный класс. Это обусловлено особым историческим путем развития русского капитализма, который мы охарактеризовали, как крестьянский капитализм. Носителем капитализма у нас в первой четверти XIX в. является крестьянская верхушка,—если можно так выразиться—«сельская буржуазия». Этот сельский характер создает ее распыленность. Растворенная в крестьянской массе, она не может сплотиться для борьбы. Для этого ей надо выделиться, выкристаллизоваться, превратиться в самостоятельный класс.

Этот процесс совершается уже в следующее 25-летие, в период царствования Николая I, охарактеризованный М. Н. Покровским, как период самого бурного роста русского капитализма, русской капиталистической промышленности. В 20-х годах русская сельская буржуазия была способна на отдельные восстания, число которых во вторую половину царствования Александра I все возрастает, на глухую оппозицию, но не на организованную борьбу за власть.

Поэтому и восстание декабристов закончилось неудачей. За 1789 годом у нас не последовал 1792 г., или, может быть, следует сказать иначе: 1792 год был и у нас, но только много десятков лет спустя.

Н. Л. Рубинштейн.

Тайные общества и общественно-политические воззрения декабристов.

1 (13) августа 1822 года Александр I предписал министру внутренних дел Кочубею закрыть все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то: масонские ложи и другие, и впредь их учреждения не дозволять; всех членов таких обществ обязать подпиской, что они впредь никаких масонских и других тайных обществ составлять не будут; со всех лиц, состоящих на военной или гражданской службе, взять подписку, не принадлежат ли они к каким-нибудь тайным обществам, и обязательство, что впредь уже к ним принадлежать не будут: «если же кто такого обязательства дать не пожелает, тот не должен остаться на службе». Такой «рескрипт» сразу показывает, чем были «тайные общества» в те времена. Принадлежность к ним не была сама по себе не только преступлением, но даже чем-либо незаконным. Их «тайна»— только принятая форма собраний,—негласных, более или менее замкнутых, непубличных. Их существование было известно, нередко имели они постоянные места собраний, их состав был известен, да и не скрывался. В конце XVIII и в начале XIX века существовала своеобразная «свобода собраний» только непубличных. Только после августовского указа 1822 года уходят «тайные общества» окончательно в подполье.

В XVIII и начале XIX столетий организация тайных обществ— обычная форма всякого общественного движения, даже всякой неофициальной общественности, сколько-нибудь широкой и выходившей из узких рамок будничного быта и установленных в нем разграничений сословного бытового строя. Развитие тайных обществ, ставших привычным и даже модным явлением, было одним из внешних проявлений перерождения общественных отношений в эпоху под'ема буржуазии во всех областях общественной жизни на смену господству дворянского класса, сближения и смешения с нею элементов дворянства, все более втягивавшегося в новые интересы—экономические, политические и бытовые. Наиболее широко развернувшейся формой таких обществ были масонские ложи. Их социальная

функция состояла в сближении разных общественных слоев и в развитии интересов, каковы бы они ни были, выводивших из будничного быта и несвязанных с официальным шаблоном сословно-государственного строя и казенной церковности. Под вычурной формой их сложной и фантастической обрядности, шла работа новых идеологических течений, расходившихся с господствующей рационалистической культурой «просвещенного века» в направлении к возрождению «чувства и веры», к сантиментализму и романтике. Масонские ложи, ставшие широко-распространенным и обычным явлением, дали готовую форму для организации политических обществ, укрывавшихся под сенью масонства от бдительного ока полицейской власти. Их широко использовало политическое движение во всех европейских странах; они же стали колыбелью русских тайных обществ в Александровскую эпоху. На почве и в форме масонства развернулось и первое, сколько-нибудь значительное, общественное движение в России, связанное с именем Н. И. Новикова. Оно вышло из масонских рамок в «Дружеское общество», на путь широкой общественной деятельности и захватило элементы среднего и мелкого дворянства, а также торгово-промышленного класса, обращаясь со своей просветительной работой к «третьему чину» людей и с благотворительностью—к городской и даже сельской массе. В отличие от политического движения 1730 года, чисто дворянского, Новиковское было уже разночинным по составу деятелей и по общественному своему уклону. Общественное движение Александровской эпохи такого же сложного характера: оно порождено глубокими противоречиями, нараставшими в недрах самодержавной и крепостнической страны с развитием торговли, зарождением крупной промышленности, ростом потребностей более широкого гражданского оборота и тягой к экономическому и политическому либерализму.

Соответственная идеология питалась изучением сочинений Адама Смита, Иеремии Бентама, публицистической литературой Запада и его текущей политической прессы. Участие в событиях 1812—1814 годов воспитало поколение, вступившее в эту пору в активную жизнь, расширило его кругозор захватывающим зрелищем крупных исторических деяний и переворотов во всем строе европейских отношений и наглядным, конкретным знакомством с западно-европейской жизнью. Впечатления этих лет общественного возбуждения и освободительных войн будили стремление к участию общества в политической жизни и сознание роковых недостатков самодержавно-бюрократического строя государственной власти, оторванной от служения интересам страны и неспособной разрешить очередные задачи ее развития.

Вытекавшие из таких настроений конституционные требования сложились лишь постепенно в более или менее определенную политическую программу. На первом плане долгое время оставались для воз-

бужденной общественной мысли не вопросы государственного устройства сами по себе, а задачи реальной государственной политики, направления правительственной деятельности; не низвержение существующей власти, а воздействие на нее в желательном направлении; не политическая борьба, а общественная самодеятельность для проведения в жизнь новых требований, пропаганды новых общественных и политических воззрений, перевоспитания общественной массы и давления на правительственную власть, чтобы добиться от нее назревших преобразований.

«Тайные общества» казались удобной формой для организации общественного мнения и его влияния на ход общественной жизни и правительственной политики. Соблазняла та роль, какую сыграли немецкие тайные общества в общественном движении Германии. При всем стремлении затушевать оппозиционный характер движения, М. Ф. Орлов по существу верно воспроизводит весьма распространенное направление мысли, когда повествует в записке, составленной для Николая Павловича уже во время следствия над декабристами: «я возвратился из чужих краев в 1814 году уверенный, что Тугенд-бунд было одно из деятельнейших средств, употребленных для спасения Пруссии и Германии, и вознамерился сделать тайное общество, составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России». Задетый в своем патриотизме восстановлением Польши, чем, казалось, ослабляется русская империя, Орлов решил, что этого не могло произойти «без влияния польского тайного общества над намерениями и волею государя», и вознамерился «противупоставить польскому—русское тайное общество». Это задуманное Орловым тайное общество должно было стремиться отнюдь не к какому-либо перевороту, а лишь к оздоровлению своим влиянием и согласно своим воззрениям — правящей среды и правительственной политики, всего управления и общественной жизни. Политическое содержание программы Орлова сводилось к ограничению самодержавия властью правительствующего сената— из 200 «наследственных пэров»-вельмож землевладельцев, которым предстояло раздать «уделы—городами и поместьями», 400 представителей дворянства и 400—«народа». Новая аристократическая конституция в духе дворянских традиций XVIII века—предельная мечта Орлова с Дмитриевым-Мамоновым, его сотрудником, и задач «Ордена Русских Рыцарей», как они называли свое тайное общество. Самое название роднит эту фантазию с масонством, и через масонские ложи думал Орлов повести пропаганду своих замыслов.

Орлов с Дмитриевым-Мамоновым не были одиноки в замысле проводить свои общественно-политические понятия в жизнь и добиваться влияния при посредстве тайного общества. Лейтенант Завалишин, будущий декабрист, составил проект «Ордена Восстановления» в формах масонского союза, с целью личным примером его

членов бороться с общественным злом «всеми законными средствами» и содействовать поднятию «общественной нравственности»; он представил этот проект имп. Александру. Как и Орлов, он рассчитывал, что император возьмет новый «орден» под свое покровительство, подобно тому как это сделал прусский король по отношению к Тугенд-бунду. Александр, по рассказу Завалишина, нашел его проект неисполнимым, хотя и похвалил намерение. Только тогда Завалишин переделал свой проект в республиканском духе, как и Дмитриев-Мамонов стал вносить в замыслы ордена русских рыцарей черты заговора и толковать о «революции» для низвержения «тирана», не слушающего делаемых ему внушений. Только крушение мечты о союзе тайного общества с правительственной властью сделало и Завалишина, и Орлова декабристами, хотя оба лишь весьма внешне связаны с подлинным декабристским движением.

Эти примеры тогдашних представлений о характере и значении «тайных обществ» поясняют организацию и ход развития тех тайных обществ, какие были созданы широким общественным движением, которое привело к трагическим событиям — 14-го декабря в Петербурге и восстанию Черниговского полка на юге. Первоначальная ячейка дальнейших организационных шагов была более чем скромной. Дворянская молодежь гвардейских полков стала сплачиваться в кружки под давлением тяжелого впечатления, пережитого ею при новой встрече с русской действительностью после долгого пребывания за границей. Удручала пустота и пошлость обыденной петербургской жизни, без каких-либо общественных интересов, без доступа к ним, без права на них. Отталкивающее впечатление производил возврат к старому шаблону казарменной и полковой жизни, пропитанной грубой жестокостью отношений и господством «фронтомании», мучительной для солдат и бессмысленной с точки зрения интересов военного дела. Раздражало назначение на высокие командные места службистов-фронтовиков с отстранением заслуженных боевых офицеров. А между тем, все эти черты военного быта были только отражением в данном углу русской жизни общих характерных свойств всего русского политического строя и всей построенной на крепостнической основе русской общественности. Гвардейское офицерство, в составе которого сосредоточены были наиболее образованные и интеллигентные элементы дворянской среды, стало сплачиваться в кружки, прежде всего из чувства самосохранения, чтобы не опуститься и не распуститься в грубой и пошлой бытовой среде. Офицерская молодежь устраивала «артели» для самообразования и поддержки в своей среде общественной сознательности, пробужденной на сравнении своего с чужим, русского с западно-европейским. Читали вслух иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе, следили за борьбой оппозиции с правительством в конституционных государствах, изучали по книгам разные политические системы, увлекались «смелыми политическими теориями». Александр I

узнал с недоумением, что группа офицеров устроила себе частным образом курс лекций по политической экономии и обществоведению у профессоров университета и спрашивал с тревогой: «зачем они вздумали учиться». Он чуял, что такие занятия ведут неизбежно к усиленной критике существующих порядков и отношений, стало быть, колеблют «благонадежность» офицерства, предназначенного воинским уставом к беспрекословному повиновению и муштровке армии, этой главной опоры «силы правительства». И, действительно, в офицерских кружках «разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще», так Якушкин перечислял темы обычных бесед.

В кружковом общении подбирались силы, распропагандированные в новом настроении, складывались и определялись общественно-политическое воззрения, крепло настроение, искавшее выхода в дело. Потребность в более широкой и более активной организации привела к образованию нового тайного общества. Ядро организаторов дал офицерский кружок Семеновского полка, влияние которых на солдат сказалось в солдатском протесте 1820 года против забитости и унижения русского солдата всем режимом «гатчинской» дисциплины, жестокого и грубого обращения, эксплоатации солдат командирами, поругания их личного и гражданского достоинства. Офицерская среда нового направления стремилась в корень изменить весь склад полкового быта; офицеры этого нового закала старались, где могли, вывести из практики жестокие наказания, заботились о поднятии культурного уровня солдат, о том, чтобы дать им элементарное образование, сблизиться с ними, как сближались в походах на общей тяготе трудовой и боевой жизни. Это удавалось там, где высшее командование оказывало офицерам-новаторам доверие и поддержку. Меньше всего—в гвардии, где Александр I и его братья и близкие к ним командиры (в значительной степени служилые иноземцы-карьеристы) усердно насаждали систему обезличения и офицеров, и солдат жестокой и механической системой воспитания войск в требованиях слепой и безусловной покорности произволу начальства. После походов 1812—1814 г.г. в армии, а особенно в гвардии, водворилась резкая реакция восстановления старого, повловско-гатчинского режима и все острее сказывался разлад между разными слоями командного состава.

Офицерство в тех своих элементах, которые почувствовали себя под влиянием новых веяний гражданами, устремилось к общественной деятельности в форме, прежде всего, организации тайных обществ, как опорного пункта для приобретения общественного влияния и государственного значения.

Совещания небольшой инициативной группы в 1816 году (Муравьевы, Александр и Никита, Сергей Трубецкой, Муравьевы-Апостолы, Сергей и Матвей, Якушкин) привели к решению устроить тайное общество для служения «благу России», которое определялось только в широких и весьма неопределенных чертах: выработка программы, установление твердых представлений об очередных задачах и способах деятельности было одним из главных назначений самого будущего тайного общества. Ближайшей задачей было расширить круг участников и создать организацию. Возможность завязать более широкие связи увеличилась с переводом некоторых участников замысла в армию; использованы были не только петербургские, но и московские знакомства и отношения. Особенно существенным оказалось привлечение Никитой Муравьевым к ядру инициаторов тайного общества П. И. Пестеля. С конца 1816 г. идет обсуждение устава общества, которое называли «Союзом Спасения», а затем «Обществом истинных и верных сынов отечества».

Первые организационные формы этого тайного общества были весьма близки к масонским: в подражание масонским обычаям введены особые обряды и торжественные клятвы для вновь принимаемых членов, намечалась обрядность собраний с формальной таинственностью обстановки. Значительная часть учредителей состояла в масонских ложах и лишь постепенно отучилась от наивного увлечения масонской обстановкой.

Пестель стремился вложить в эту первую форму тайного общества—содержание политического заговора. Общество учреждалось на началах строгой тайны, разделения членов на степени по мере испытанного доверия к ним, с устрашающими клятвами при вступлении и при повышении из степени в степень, с угрозой смерти за измену и разглашение тайны. Целью заговора выдвигался политический переворот, упразднение самодержавия и введение конституционного представительного правления. Сгоряча устав такого типа был принят 9 февраля 1817 года, но не надолго. Месяца через три его заменил другой устав в ином духе. По от'езде Пестеля из Петербурга к месту службы—в Митаву, началась реакция против первого устава. Летом 1817 года большинство учредителей находилось со своими полковыми частями в Москве—по случаю закладки храма Спасителя в память 1812 года. Здесь в совещаниях кружка учредителей значительно расширенного состава принят новый устав и новое наименование—«Союз Благоденствия». Устав составлен по образцу отнюдь не революционного немецкого «Союза Добродетели», знаменитого Тугенд-бунда, переписан в форме книги и по цвету переплета назывался «Зеленою Книгой».

Первоначальный Пестелевский устав, навеянный настроениями революционной романтики и представлениями о «революционном» заговорщицком масонстве «иллюминатов», сменился уставом, более

приспособленным к настроению средней массы передового прогрессивного дворянства и столичного общества. Для этой сферы был бы слишком велик скачок от мирного жития к политическому заговору. Устав «Союза Благоденствия» выдвинул на первый план в задачах тайного общества организацию общественного мнения и его давления на правительство, пропаганду своих идей и требований, расширение своего состава значительным количеством членов и приобретение возможно большего влияния в разных общественных кругах и в правительственных сферах. Условием всей этой деятельности должно было быть развитие и укрепление организации, с одной стороны, а с другой—подготовка самих членов-руководителей и новых адептов, путем изучения русской действительности, чтобы иметь о ней «верные и подробные сведения», и «познаний в науках, имеющих целью усовершенствование гражданского быта государств». Так характеризует эту последнюю задачу—самообразование членов тайного общества—Сергей Трубецкой, поясняя, что «приобретение этих необходимых сведений и познаний поставлялось в непременную обязанность всем членам союза». Действительно, в среде будущих декабристов шла довольно напряженная работа по собиранию сведений о разных сторонах русской народной и государственной жизни, составлялись записки по отдельным вопросам, велись беседы о состоянии народного хозяйства, торговли, промышленности и земледелия, по финансовой политике правительства—с резкой ее критикой, по положению армии и флота, обсуждалось общее состояние страны, и внутреннее, и международное. Всю эту теоретическую работу мысли, производившуюся в декабристских кружках, нельзя еще назвать выработкой политической программы; слишком она была для этого несистематичной и неорганизованной; слишком сбивалась на работу кружков для самообразования. Лишь постепенно накоплялись и крепли более определенные общественные и политические воззрения, отложившиеся несколько позднее в ряде конституционных проектов, планов социальной реформы и законодательных преобразований.

Рядом с этой стороной жизни тайного общества стоит работа над развитием его организации. Характерная черта этой организации в том, что она рассчитана не на политическую борьбу и даже не на подготовку к ней, а на идейную пропаганду и вербовку новых членов. Во главе союза должен был стать «Коренной совет»—общий руководитель союза и блюститель чистоты принципов союза. Активный орган союза—четыре «управы»: С. Трубецкой поясняет, что «действие общества обнимало в своем предмете все сословия государства и все стороны управления, и потому должно было определить каждому члену круг его действия, для чего члены разделялись на четыре разряда по отраслям; каждая отрасль состояла из управы, которой все члены действовали по предмету своей отрасли» Эта схема не была выполнена, и остается не ясным, какие были

«четыре отрасли». Но деятельность управ и ее членов должна была состоять в возбуждении и организации общественного мнения, каждым в кругу обычной своей деятельности, т.-е. в поддержке «всех тех мер правительства, от которых возможно ожидать хороших для благосостояния государства последствий, и в осуждении всех тех, которые не соответствуют этой цели», в преследовании чиновников «от самых высших до самых низших» за злоупотребления по должности и за несправедливости, в связи с общей задачей возбуждения ненависти к несправедливости и угнетению»; зато предполагалось прилагать старание к распространению сочувственной репутации полезных обществу деятелей; активная борьба с общественной неправдой во всех ее конкретных проявлениях об'являлась постоянной обязанностью членов союза. Каждый из них имел право «заводить вспомогательную управу»; назначением таких вспомогательных управ «было подготовлять для союза новых членов, которые окончательно принимались бы в союз по испытании их «блюстителем», стоящим во главе каждой основной управы, и на основании собранных им сведений о кандидате. Так намечалась первоначальная общая задача «Союза Благоденствия»: перевоспитание русского общества под влиянием союза, который должен был вырасти в огромную организацию, проникающую своими разветвлениями все профессии и все общественные слои, без потери своего дисциплинированного единства, под ведением «Коренной управы» или «Коренного совета».

Конечно, эта схема—так схемой и осталась. Однако С. Трубецкой, член коренного совета первого состава, сообщает, что на первых порах действия «Союза Благоденствия» пошли быстро, управы образовались в Москве, в разных губерниях, в Петербурге между военными и гражданскими чинами и в среде не служащих обывателей; возникали и вспомогательные управы.

Мечталось учредителям, что союз станет сильной и влиятельной организацией: высказывалась надежда провести своих членов на влиятельные и ответственные посты в военном командовании и гражданском управлении и тем придать союзу государственное значение и политический вес.

«Союз Благоденствия» имел непродолжительный успех, но довольно значительный. Самая широта и неопределенность его задач привлекали к нему весьма разнообразные элементы. «Трудно было устоять,— вспоминал позднее Евгений Оболенский,—против обаяния Союза», который сулил общение с наиболее интеллигентной средой, призывал к широкой и содержательной деятельности, к воздействию на направление современного общества, привлекал к разрешению важнейших очередных вопросов русской жизни, общественных и политических. Привлекала многих и безобидность поставленных задач. Союз не об'являл себя враждебным правительственной власти. Ставя на обсуждение основные вопросы русской действительности: кре-

постное право и самодержавие, он подходил к ним с крайней осторожностью. Поколение, выделившее из своей среды учредителей «Союза Благоденствия», выросло в эпоху, когда оба эти вопроса ставились, так или иначе, в самой правительственной среде, когда шли толки о «либерализме» императора и его намерении освободить крестьян. Члены союза принадлежали к среде, в которой все шире распространялось сознание бездоходности рутинного крепостного хозяйства и сочувствие иным формам более интенсивной экономической деятельности. Интересы помещичьего хозяйства были в то же время тесно связаны с развитием торговли—внутренней и экспортной,—что создавало надежную почву для распространения в землевладельческой среде увлечения идеями свободной торговли и вообще экономического либерализма, принципами гражданской свободы и политической самодеятельности общества по типу буржуазных стран Западной Европы. Перестройка русских социальных отношений на началах «свободы труда и собственности» выдвигалась ходом экономического развития России и находила отклик не только в рассуждениях «тайного общества», но и в правительственных проектах преобразования России.

В «Союзе Благоденствия» была поэтому возможна такая точка зрения даже на самые коренные преобразования, какие намечались, что входят они в его план «соспешествования правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим творцом предназначена». Формально под такое «соспешествование» подводилась и мысль о завершении ряда преобразований введением конституционного образа правления. Для большинства эта политическая цель Союза рисовалась в отдаленной перспективе, как итог долгой подготовительной работы и длинного ряда законодательных мероприятий по реорганизации законодательства и управления, судебного дела, финансовой системы, экономической политики землевладения и социальных отношений. «В дали туманной, недосягаемой, виднелась окончательная цель—политическое преобразование отечества»,—пишет об этом настроении Евгений Оболенский, «когда его брошенные семена созреют и образование общее сделается доступным для массы народа». В такой постановке задача политического преобразования России не противоречила утопическому либерализму императора Александра, смотревшего на конституцию, как на систему «консервативных законов», которые закрепят и обеспечат устойчивость общественных отношений после их преобразования правительственной властью. В среде союза могли еще думать о «соспешествовании» выполнению конституционных проектов Александра, из которых последний был выработан в 1818 году, в том самом году, когда Александр в речи на открытии польского сейма отозвался о введении в Польше «либеральных учреждений», как о средстве показать России, своему отечеству, «то,

что он с давних лет ему приготовляет и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости».

Однако в эпоху «Союза Благоденствия» поворот Александровского правительства на путь реакции слишком уже выяснился и сочетание мнимо-либеральных речей и проектов с весьма реальной «аракчеевщиной» было слишком красноречиво, чтобы заявление о «споспешествовании правительству» имели серьезное значение для вдумчивых и осведомленных учредителей тайного общества. «В этих словах,—свидетельствует Якушкин,—была уже наполовину ложь, потому что никто из нас не верил в благое намерение правительства». Подчеркнуто выдвигался легальный характер намерений союза, отчасти как своего рода защитная окраска еще не окрепшей организации, отчасти как прием, облегчающий пропаганду среди обывательской массы,—чтобы не отпугивать ее на первых порах радикализмом политических заданий, а постепенно «приуготовлять» новых членов. В среде союза от деления членов по «степеням», принятого в масонских ложах для постепенного введения адептов вглубь «масонских тайн», остался организационный принцип постепенного раскрытия новым членам высших и конечных целей тайного общества, его политических задач, и поэтому удержано различение по степени авторитета и участия в руководстве союзом его «коренных» членов-учредителей и членов, вновь принятых, приуготовляемых к деятельности. Вся структура «Союза Благоденствия» придавала ему характер организации неустойчивой и расплывчатой—с «коренным советом» в центре и «вспомогательными управами» на периферии. Пропаганда, об успехах которой говорит Сергей Трубецкой, велась крайне свободно, в состав членов вовлекались лица весьма разнообразного политического и общественного настроения и неизбежно росло число лиц, осведомленных о существовании тайного общества, но не вступивших в его члены и не связанных никакими обязательствами. Это само по себе должно было привести рано или поздно «Союз Благоденствия» к кризису, если тайному обществу суждено было дальнейшее развитие, более крепкая сплоченность и политическая роль. Иначе ему грозила возможность расплыться в обывательской массе и свести свои «занятия» к прекраснодушным разговорам на либеральные темы и бесплодной критике недостатков существующего порядка. Всего острее сознавал это П. И. Пестель. Он долго не хотел признать самого устава «Союза Благоденствия», отстаивая прежний план тайного общества. Только в 1818 г. в штаб-квартире южной армии, Тульчине, он примкнул к местной управе союза, надеясь преобразовать его изнутри, И в южной управе поднялись острые разногласия, особенно с весны 1819 года, когда в Тульчине появился полк. Бурцев, убежденный сторонник направления, принятого союзом. Бурцев был уверен, что единственная очередная задача союза состоит в «медленном действии на мнения» с целью перевоспитания русского общества, а Пе-

стель возмущался столь безнадежной постепеновщиной и настаивал на том, что «подлежит исправить правление, от коего уже и нравы исправятся». Горячие пререкания вели южную управу к расколу на правое и левое крылья—сторонников Бурцева и Пестеля. А на севере, в Петербурге, деятельность тайного общества просто замирала и сводилась на-нет. Сюда решительное оживление внес приезд Пестеля в полугодовой отпуск—с ноября 1819 года по май 1820 года. Пестель и тут поставил в совещаниях членов петербургской управы и в кружках рядовых членов общества, с которыми завязал отношения помимо петербургских главарей, основной политический вопрос: о государственном перевороте и о будущей конституции. Пестель выступил со сравнительной оценкой монархии и республики, настаивая на том, что только республиканское правление даст выход из создавшегося тяжелого положения страны, а путь к нему—в насильственном устранении самодержавия и в передаче власти Врем. Правительству с неограниченными полномочиями для осуществления программы преобразований, намеченных тайным обществом. Собеседования эти носили намеренно характер «теоретического» обсуждения, но вопрос был поставлен и вызвал дальнейшее обострение разногласий. Пестель пытался внести не только больше политической определенности в программу общества и двинуть его к более радикальным воззрениям, но также укрепить единство и силу его организации. Здесь, на севере, эта организация определенно распадалась, особенно после от'езда Сергея Трубецкого за границу. «Коренной совет» терял всякое значение по отсутствию какой-либо политической работы; отдельные «управы», заведенные отдельными членами общества, получали характер самостоятельных обществ, вернее кружков, почти несвязанных между собою и занятых только политическим самообразованием и беседами на общественные и политические темы. Пестель должен был убедиться, что даже теоретическая работа мысли в этих кружках, разрозненная и несогласованная, не ведет к выработке какой-либо общей программы, и, к тому же имеет весьма умеренный уклон к обсуждению необходимых преобразований и довольно неопределенных либерально-конституционных планов. Выступив с пропагандой республики и революционной тактики, Пестель задался целью об'единить силы союза под одной директорией, которая была бы признана и на севере и на юге—во главе всех местных управ и ячеек. Директорами он намечал—себя, Никиту Муравьева и, повидимому, как и позднее, ген. Юшневского, своего соучастника в тульчинской управе. Личные переговоры Пестеля с Никитой Муравьевым получили особое значение. Н. Муравьев побывал осенью 1820 г. в Тульчине, куда Пестель еще весной вернулся. Но тут для него окончательно выяснилось его принципиальное расхождение с Пестелем. Над первыми набросками Пестелевой «Русской Правды» Н. Муравьев выясняет

стройнее свои планы и начинает выработку своей «конституции». Пестель и Ник. Муравьев—выразители двух основных течений социально-политической мысли в среде декабристов, в среде сложной и по социальному составу и по тенденциям.

Внутренная расслойка, даже распад, хотя бы частичный, «Союза Благоденствия» был неизбежен. Внутренний его склад вел либо к его ликвидации, либо к перестройке тайного общества на иных началах, с пересмотром его личного состава и выработкой более определенной программы. Общий ход политической жизни не замедлил обострить накоплявшиеся условия неизбежного кризиса.

Император Александр поехал на международный конгресс в Троппау (окт.—дек. 1820) готовым подчиниться «меттерниховской» системе общеевропейской реакции. Взрывы революционного движения в Италии и Испании, незатихавшее брожение в Германии—разрушили окончательно его утопию средней линии между реакцией и революцией, примирения самодержавия с гражданской свободой, использования конституционных учреждений, как послушного орудия монархической власти. В Троппау он получил известие о восстании в Семеновском полку и узнал в нем действие тех же революционных сил, которые создали революционную роль регулярных армий в революциях Неаполя, Пьемонта и Испании: «современность происшествий,—пояснял он позднее,—не дозволяет сомневаться в однородстве начал и причин оных». Русское общественное движение представилось ему ветвью общеевропейской революции, в борьбе с которой он стал рядом с Меттернихом в эпоху конгрессов.

События в Семеновском полку стали исходным пунктом решительного перелома и в правительственной политике и в судьбах «Союза Благоденствия». Раскассировка полка по армейским частям расстроила состав петербургского ядра союза, а в провинциальные воинские части занесла сильный элемент брожения в лице старых семеновцев рядовых и унтер-офицеров, враждебно настроенных к высшему командному составу и к правительственной власти. Крайнее усиление полицейского надзора и сыска, учреждение особой военной тайной полиции, сведения о том, что на союз обращено внимание, что за ним следят—все это делало дальнейшее его существование в прежнем виде невозможным. Он и таял. Многие случайные и нерешительные его члены от него отходили. А общее усиление правительственной реакции выясняло неизбежность либо революционной борьбы, либо отказа от всякой общественной деятельности и покорного примирения с постылой и ненавистной действительностью. Многим такое примирение казалось невозможным не только по личным их настроениям, но и по об'ективным причинам: положение России представлялось им критическим, революция неизбежной, а государственная власть несостоятельной в решении крупнейших задач жизни страны. Чуялась близость переворота,

которого «ни предвидеть, ни остановить нельзя» и который может оказаться «последствием одного только несовершенства финансовой системы», недовольства всех общественных классов и восстания крестьянской массы, если «узел крепостного права» не будет своевременно развязан. Революция казалась «близкой и неизбежной». Опасаясь общей революционной катастрофы, руководители союза стремились «отвратить меньшим злом большее и начать свои действия при первом удобном случае», чтобы организованным переворотом предотвратить банкротство устарелой государственной системы и кровавую анархию в стране.

В январе—феврале 1821 года в Москве с'ехались деятели «Союза Благоденствия», чтобы порешить его дальнейшую судьбу. Не было тут ни Пестеля, ни Никиты Муравьева, ни Сергея Трубецкого. Петербург и Тульчин были представлены такими более чем умеренными типами, как Н. И. Тургенев, либерал-экономист, и монархист Глинка, как Бурцев, противник Пестеля, и вовсе ненадежный для тайного общества Комаров. Наиболее деятельными членами с'езда оказались Якушкин и фон-Визин, в квартире которого и происходили совещания. Но самой значительной фигурой являлся ген. М. Ф. Орлов, которого Якушкин с трудом уговорил приехать. На Орлова—видного государственного и военного деятеля, корпусного командира, располагавшего крупной воинской частью, в которой сумел добиться значительной популярности среди солдат, и сильного большими связями в правящей среде,—возлагались большие надежды, как на призванного вождя всего движения, даже позднее, в роковые декабрьские дни 1825 года. И тогда в нем ошиблись, как и теперь—на московском с'езде. Тут он выступил неожиданно с резко-поставленными революционными предложениями—о немедленной борьбе с правительством, устройстве тайных типографий для печатания противоправительственных воззваний и мастерских для заготовки фальшивых денег (на усиление средств общества и подрыв правительственного кредита), о решительной подготовке вооруженного восстания. Это выступление Орлова вызвало такое недоумение, что его различно и недоуменно толковали и декабристы в своих воспоминаниях, и позднейшие исследователи. Отказ членов с'езда следовать указанному им пути вызвал немедленный разрыв Орлова с союзом и от'езд его со с'езда. Осталось впечатление, что Орлов искал предлога к разрыву, предрешенному им по личным обстоятельствам ввиду предстоящей женитьбы и желания освободиться от компрометирующих связей. По всему складу личности Орлова вероятнее более сложная мотивировка. Своим выступлением он выяснял и себе и другим органическое бессилие союза для интенсивной политической борьбы и разрывал со средой, с которой был связан идеологически, но которой был по существу чужд по своим общественным интересам и настроениям.

Эпизод с Орловым сразу поставил ребром вопрос о дальнейшем существования «Союза Благоденствия». Решалась его судьба в замкнутом кругу коренных членов-учредителей—в группе 8—9 лиц. Было с самого начала постановлено, что правом голоса будут пользоваться только эти члены—основатели общества, а не позднее вступившие. А в этом кругу признали неизбежным пойти навстречу голосам, раздававшимся в пользу полной ликвидации, и об'явить союз упраздненным, чтобы очистить организацию от всех ненадежных элементов, но вместе с тем немедленно дать ей новый устав и деятельность продолжать в формах, более конспиративных.

Новый устав, предложенный братьями фон-Визиными и Якушкиным, был принят в тесном кругу коренных членов. Его основные организационные черты близки к построению устава «Союза Благоденствия». Во главе «Главное Правление Общества», на местах «отделения»; члены делятся на две степени—действительных («первой степени») и нововводимых («второй степени»). Последним должна оставаться неизвестной конечная цель общества—«приготовить государство к принятию представительного правления». Главное правление пребывает в Петербурге; оно руководит всем «обществом» и без его согласия никто не может быть принят в члены «первой степени». В сношениях между разными отделениями и членами исключена всякая переписка: сношения будут вестись путем командировки членов в об'езды по местам.

Формально на последнем общем совещании с'езда было об'явлено закрытие «Союза Благоденствия», о чем и постановлено уведомить все местные кружки. Характерно притом, что обновленное «общество» не получило никакого нового наименования: это давало повод рассматривать его, несмотря на формальную ликвидацию, как продолжение того же союза.

На юге, в Тульчине закрытие «Союза Благоденствия» и не было признано. Сюда вернулся Бурцев и об'явил о ликвидации тайного общества с намерением создать новую организацию при исключении из нее Пестеля и «пестелевских приверженцев». Ведь «острие решений с'езда,—как справедливо замечает С. Н. Чернов,—было направлено не только вправо, но и влево,—не только в сторону колеблющихся и ненадежных, но и в сторону решительного Орлова и твердого организатора переворота—Пестеля». Пестель встретил сообщение о закрытии союза решительным протестом, и 8 членов тульчинской управы постановили не признавать ликвидации, реорганизовали свою тульчинскую «думу» с выходом из нее делегатов с'езда—Бурцева и Комарова,—избрали трех председателей—Пестеля, Юшневского и Никиту Муравьева—и приняли программу Пестеля—республиканскую и революционную. Дело тайного общества начиналось как бы заново.

Как бы заново началось оно и в Петербурге. Здесь выполнителем решений московского с'езда должен был выступить Н. И. Тургенев.

Он сделал попытку выполнить примерно то, что в Тульчине пытался сделать Бурцев: об'явил союз закрытым, а затем для организации нового тайного общества (или возрождения реорганизованного союза) обратился к наиболее умеренным членам прежнего состава. Задачей общества ставились либеральные реформы—освобождение крестьян, свобода печати, судебная реформа на началах гласности судопроизводства и введения суда присяжных—увенчанные конституцией с народным представительством; вопросы тактики, вопросы политической борьбы, повидимому, не ставились. Не встретив противодействия, шаги, предпринятые Тургеневым, не имели последствий сами по себе. Как ни искусственны позднейшие отрицания Тургенева, но он в них мог бы опереться на тот факт, что никакого «тургеневского» тайного общества на деле не образовалось: были бесплодные кружковые совещания, которые ни к какой деятельности не привели, а члены, привлеченные Тургеневым, вскоре либо вовсе отпали от тайного общества, либо почти все не приняли в нем сколько-нибудь активного участия.

Восстановителем тайного общества в Петербурге явился Никита Муравьев. К Тургеневскому кружку он не примыкал. По возвращении в столицу после продолжительного отсутствия, Муравьев был занят теоретической работой—вырабатывал свой проект конституции, а затем вернулся к действительной службе в гвардии и тем восстановил прежние связи, необходимые для организационной работы в среде, породившей «Союз Благоденствия». Выступление гвардии в западные губернии весной 1821 года и ее пребывание там до мая 1822 года оборвало общественное движение в Петербурге даже в той зачаточной форме, в какой оно пыталось возродиться, и Евгений Оболенский отметил в своих воспоминаниях, что накануне этого выступления гвардии члены тайного общества «с сожалением» повиновались решению московского с'езда о ликвидации союза. Ник. Муравьев прибыл к гвардии в ее западно - русских стоянках и здесь повидался с двумя из соучастников Тургеневской попытки—Евг. Оболенским и Нарышкиным. По возвращению гвардии в Петербург они снова сошлись и взялись за восстановление общества. Тургенев держался уже в стороне и вскоре уехал за границу. Зато вернулся после почти двухлетнего отсутствия Сергей Трубецкой. Из него, Никиты Муравьева и Евг. Оболенского составилась новая «главная дума» в Петербурге. Тайное общество раздвоилось: две главных думы—в Петербурге и в Тульчине, по три директора-председателя тут и там. По три—но всего пять: Никита Муравьев считался в составе обеих. В Петербурге его выбрали правителем общества.

Образовалось как бы два общества. Их естественно называли: Северное и Южное. У них были у каждого своя дума и своя организация, свой состав членов. Однако такое организационное раздвоение представлялось с обеих сторон явлением ненормальным

и делались попытки его преодолеть и восстановить единство. Для того и провел Пестель Никиту Муравьева в директора своей тульчинской думы. При замысле политического переворота, как восстания воинских частей под руководством их командного состава, и передачи власти Временному Правительству, движение в центре—Петербурге—представлялось столь же необходимым, как и его поддержка на юге. Тайное общество должно было так разрастись, чтобы охватить своими отделами все крупные провинциальные центры и тем обеспечить захвату власти в столице признание и поддержку всей страны, а прежде всего опору в армии для Временного Правительства. Почин и первый момент действия предназначался Петербургу. Только потом—по мере разочарования в дееспособности Петербурга,—на юге стали обсуждать другой план восстания: начать его на юге, приурочив к маневрам, на которые должен был прибыть император весной 1826 года, поднять распропагандированные полки, увлечь остальные, итти на Киев и на Москву и вызвать смелым почином восстание гвардии и флота в столице.

Единство организации было необходимо; спаять можно было только единством политической программы и согласованного тактического плана. На эти два вопроса и направлены были усилия руководителей и Северного и Южного обществ. Преимущества организованности и энергии были целиком на стороне Южного общества. Пестель вырабатывал свою «Русскую Правду», как «государственный завет», излагавший всестороннюю систему преобразования России в демократическую республику с сильной централизацией правительственной власти, при полном равенстве граждан и радикальной реформе аграрных отношений. Этот «государственный завет» должен был получить после переворота значение наказа Временному Правительству, а до того служить основанием пропаганды тайного общества и принятой им программы. На с'ездах в Киеве во время киевских ярмарок («контрактов») 1822 и 1823 годов Южное общество сорганизовалось с центром в Тульчине и тремя управами—Тульчинской, Васильковской и Каменской. Пестель провел признание основ своей «Русской Правды» и своих тактических замыслов восстания. Наиболее деятельной стала в 1823 году Васильковская управа Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина. Она же установила связь Южного общества с польским тайным обществом и с Обществом Соединенных Славян, которое образовалось самостоятельно среди группы офицеров русской армии по почину братьев Борисовых со своей особой политической программой. Патриотическое польское общество с центром в Варшаве ставило своей задачей восстановление свободы и независимости Польши и вело широкую пропаганду не только в Царстве Польском, но и в украинских, белорусских и литовских областях, преимущественно в помещичьей среде. Согла-

шение с польским обществом представлялось существенным для привлечения к восстанию польской армии в. кн. Константина Павловича, которая, оставаясь в его руках, могла стать сильным препятствием к перевороту, тем более, что Константин считался наследником после бездетного Александра и носил титул цесаревича. Польский вопрос был продуман Пестелем и получил в его «Русской Правде» свое решение: Польшу надо признать независимой, но сохранить ее близкую связь с Россией в тесном союзе по международным отношениям и в ее организации, как демократической республики. Польское движение не предполагало ни обязательной союзности с Россией, ни сколько-нибудь глубоких социальных преобразований; Пестель в переговорах с поляками, повидимому, и не выдвигал существенной стороны своей мысли, что союзная с Россией Польша должна быть преобразована на началах, изложенных в «Русской Правде». Зато в этих переговорах был определенно поставлен острый вопрос о разграничении между Россией и Польшей. Поляки представляли себе территорию Польши, восстановленной к независимости, в границах до ее разделов, со всеми ее прежними литовскими, белорусскими и украинскими владениями. Пестель поставил этот вопрос так, что будущее временное правительство возвратит полякам «что справедливо и возможно будет». Весь этот вопрос о взаимных отношениях России и Польши стоял тогда очень остро в связи с образованием конституционного польского королевства («Царства Польского») под властью Александра и его планом об'единения западно-русских областей с Польшей в одной политической организации, хотя и в составе Русской империи. Патриотизм и идеалы русской великодержавности были весьма сильны среди декабристов, и первые речи о неизбежности цареубийства для прекращения опасной для страны деятельности правительства возникли на собраниях «Союза Благоденствия» как раз по поводу польских планов и «враждебной всему русскому» политики Александра. В ряду других причин и польские связи Южного общества, как ни осторожно вел их Пестель, осложнили отношения юга и севера, Тульчина и Петербурга.

«Общество Соединенных Славян» ставило задачей освобождение всех славянских племен от иноземной зависимости и об'единение их в обширную федерацию демократических республик; политический переворот в России, радикальная демократизация ее строя, введение республиканского правления и революционная борьба за освобождение славян—таковы цели организации, которая соединилась с Южным обществом и усилила его левое крыло. А было в нем и правое крыло умеренных членов, недовольных диктатурой Пестеля, его «якобинством», радикализмом его программы. В этих элементах жили настроения «Союза Благоденствия» и сочувствие более умеренной программе, намечавшейся в Северном обществе.

*

Сплоченное вокруг Пестеля Южное общество взяло на себя почин выяснения взаимоотношений с обществом Северным.

Пестель пытался добиться признания начал своей «Русской Правды» Никитой Муравьевым и петербургской управой. Один за другим посылались в Петербург члены Южного общества для переговоров и пропаганды; они привозили письма от Пестеля и резюмэ его «Русской Правды». В марте 1824 года приехал и сам Пестель, и провел в Петербурге около двух месяцев, ведя беседы с членами петербургской думы и рядовыми членами тайного общества. Но здесь, по крайней мере среди руководящего, коренного ядра, господствовали иные воззрения, выразителями которых были Никита Муравьев и Сергей Трубецкой. «Конституция» Никиты Муравьева и выработана им в сознательную противоположность «Русской Правде» Пестеля. Радикальному демократизму Пестеля Муравьев противопоставил высокий имущественный ценз для избирателей и избираемых в верховную думу и для выборов на правительственные должности; его республике—конституционную монархию; его централизации—федерацию самоуправляющихся областей; освобождение крестьян Муравьев представляет себе, как отмену крепостной зависимости наделением крестьян одной усадебной оседлостью или незначительным участком земли. Пестель тщетно оспаривал федерацию, которая ему напоминала «древнюю удельную систему», и цензовую конституцию, эту «ужасную аристократию богатств». Расхождения были слишком глубоки и принципиальны для полного слияния двух тайных обществ и соглашения их вождей. Вместо об'единения началась глухая и упорная борьба.

Пестель в Петербурге вел переговоры не только с членами главной управы. Он завязал сношения с рядом членов тайного общества, склоняя их к своим воззрениям, и его республиканская пропаганда имела несомненный успех среди младшего поколения декабристов, примкнувших к тайному обществу вновь и свободных от традиций «Союза Благоденствия». Группа Рылеева и братьев Бестужевых становится в Петербурге носительницей революционного настроения, увлекая за собой и Евгения Оболенского. Старшие руководители были встревожены и задеты тем, что Пестель даже принял в состав тайного общества нескольких лиц, помимо петербургской думы: у Пестеля была мысль при неудаче переговоров с северной думой сорганизовать в столице отделение своего Южного общества для пропаганды в гвардии и флоте и подготовки восстания. Принятых им членов после его от'езда «переприняла» северная дума, чтобы вырвать с корнем непосредственное влияние Пестеля.

Сергей Трубецкой решил перенести борьбу с этим влиянием на почву юга. Не дооценивая силу впечатления, оставленного Пестелем в Петербурге, и значения новых элементов, вступивших в состав Северного общества, Трубецкой и Муравьев пытались завязать сношения с Сергеем Муравьевым-Апостолом, вызывая его на про-

тиводействие Пестелю, а затем Трубецкой пошел на служебный перевод свой в южную армию, чтобы «воспрепятствовать распространению правил Южного общества», об'единить «старых членов» и с их помощью «отвратить» Южное общество от «мнений Пестеля» и вернуть юг «к действию по прежде принятым началам». Только позднее Трубецкой сообразил, что сделал, со своей точки зрения, ошибку, уехав из Петербурга, так как оставил Северное общество в руках новых людей, которые не больше, чем южане, был преданы «тем благодетельным началам, на которых основан был союз» и о сохранении которых в силе хлопотал он так усердно.

А между тем Северное общество явно перерождалось, и отнюдь не в направлении, желательном для его старших руководителей. Трубецкого заменил Рылеев в составе северной управы, а когда Н. Муравьев уехал из Петербурга весной 1825 года, его заменил Н. Бестужев.

Инициаторы движения в его более организованной форме—Никита Муравьев, Пестель—отходят в сторону, как бы утомленные неразрешимыми разногласиями, и выпускают из рук свое главенство в тайном обществе. Пестель уехал из Петербурга, сговорившись с директорами Северного общества на компромиссе: порешили отложить все спорные вопросы, а затем через год созвать с'езд делегатов, уполномоченных выработать «общие правила» и избрать единую главную думу—общих для всего тайного общества правителей. Вместе с тем, так как положение признавалось напряженным и могли наступить обстоятельства, которые приведут к началу восстания, согласились о единодушном действии в случае такой крайности, так что если северная дума найдет необходимым «действие начать», то юг поддержит, и обратно. К такому же результату пришел, в сущности, и Трубецкой на юге: ему не удалось сорганизовать оппозицию против Пестеля, да и не с ним пришлось ему иметь дело, а с Сергеем Муравьевым-Апостолом и М. Бестужевым-Рюминым, и пришлось войти в соглашение с ними на том, что он употребит все усилия для «единодушного соединения» Северного и Южного обществ, и убедит членов Северного общества «оставить пустые споры» а подготовлять восстание, чтобы начать его в согласии с Южным обществом—для низвержения самодержавия и установления в России «республиканского правления».

Отказ от мысли реорганизовать общество и провести единство программы и постановка на очередь усиленной агитации и подготовки восстания на ближайшее, по возможности, время (намечаемый срок — весна 1826 года), — таков результат всех этих переговоров. На такую точку зрения стала северная дума, душой и главой которой оказался Рылеев, пламенный поэт-гражданин, революционер-романтик. И той же мысли держался на юге Васильковский центр тайного общества—Сергей Муравьев-Апостол с Бестужевым-Рюминым.

Прежние вожди воспринимали такое положение дела, как полную неудачу. Энергия покидает Пестеля с конца 1824 года; он уступает руководящую роль С. Муравьеву-Апостолу, без веры в возможность успеха замышляемого восстания и в силу компромиссного соглашения с северной думой. В таком же настроении уехал из Петербурга Никита Муравьев.

А между тем Сергей Трубецкой возвращался с юга в Петербург к зиме 1825 года с представлением о значительности сил, какими располагает Южное общество, о решительном революционном настроении его руководителей и неизбежности восстания в 1826 г. А когда он вернулся в столицу, то застал Северное общество в состоянии большого оживления и нашел тут почву, вполне подготовленную для выполнения совета, какой посылали с ним южане— отложить принципиальные споры и сосредоточить все силы на возможно большем привлечении новых членов и подготовке восстания пропагандой в войсках для привлечения к замыслам тайного общества возможно большего числа лиц из командного состава и возбуждения недовольства солдатской массы. Переворот, к которому стремились, рисовался военным выступлением полков под руководством их командного состава из членов «общества» для захвата власти и созыва народных представителей временным правительством. Временное правительство, а затем собрание народных представителей, им подготовленное, выполнят задачу преобразования России и разрешат все вопросы, оставшиеся спорными в недрах тайного общества. Так, без твердой организации и без определенной, единой политической программы встретило тайное общество те события, которые вызвали его на выступления и привели в декабре 1825 года к трагическим происшествиям 14 декабря в Петербурге и 28 декабря на юге.

Глубоки и неустранимы были причины того, что вся организация тайного общества декабристов оказалась такой неустойчивой. Единство организации неотделимо от единства задач движения, его принципиальных основ, его программы. Единство идеологии, на которой строилась бы единая программа, было недостижимо в среде декабристов, в которой, чем дальше, тем больше, выявлялись, по мере количественного разрастания тайного общества, различные общественные интересы и стремления. Движение декабристов не только не создало единой политической партии, но, чем дальше, тем больше раз'едалось внутренними принципиальными разногласиями. Общественные и политические воззрения декабристов не могут быть изложены в виде сколько-нибудь стройной системы. Конечно, ряд основных общих тем характерен для всей идеологической работы, проделанной в декабристских кружках, но ответы на поставленные вопросы весьма разнообразны. Среди основных тем этой эпохи на первом месте два—политический и социальный: отрицание самодержавия и крепостного права.

Основное ядро тайных обществ вышло из среды гвардейского офицерства—среднего дворянства великорусских губерний. В этой среде стремление к политическому влиянию и коренным преобразованиям всего существующего строя вытекало из разных жизненных условий. Не только современные образцы революционных движений Италии и Испании увлекали к замыслу государственного переворота в форме восстания армии, руководимой влиятельными военными вождями. В гвардейской среде жива была традиция о политической роли гвардии в XVIII веке, когда руками гвардейцев низвергались и возводились на престол носители самодержавной власти, и о государственной мощи дворянства в ту эпоху, когда оно, по крылатому слову В. О. Ключевского, «через правительство управляло страной». Верховная власть, всецело служившая в XVIII веке орудием классовых интересов землевладельческого дворянства, разошлась с этой своей опорой со времен Павла I, а его преемник в своем отношении к дворянству был, как и во многом ином, особенно в отношении к армии и гвардии, продолжателем политики отца, хотя и обещал в своем первом манифесте, под давлением только что пережитого дворцового переворота, править «по законам и по сердцу Екатерины Великой». 11 марта 1801 года было крепко памятно и правящей, и общественной среде. Гвардия была крупной общественной силой, центром и носительницей дворянских настроений и их влияния на правительственную власть. Но в Александровскую эпоху эта гвардия перерождалась в существенных чертах своих, как перерождалось и само дворянство в понимании своих интересов. Гвардия, оставаясь привилегированной частью армии и сохраняя свою близость ко двору и династии, сильно демократизируется. Миновало то время, когда немногие отборные гвардейские полки комплектовались рядовыми из дворянской молодежи и носили, по социальному своему составу, резко выраженный аристократический характер. Со времени отмены обязательной службы дворянства, состав гвардейской солдатской массы быстро изменяется, тем более, что растет и количество гвардейских воинских частей. Теперь в гвардию переводят отборные элементы из состава рядовых в армейских полках, как офицерство гвардейское пополняется преимущественно переводом офицеров из армии и питомцами столичных военно-учебных заведений. Рядовые из крестьянской крепостной среды, из бывших дворовых и офицерство из среднего и мелкого провинциального дворянства изменяют характер и настроение всей гвардейской среды. Гвардия—ближе к средней обывательской массе, а в ее солдатской среде—и к массе народной.

В XVIII веке значение гвардии, как «опоры престола», питалось подчинением верховной власти интересам тех слоев дворянства, влияние которых господствовало в гвардии и выправлялось при расхождении этих сил дворцовыми переворотами. При Павле и Александре самодержавная власть стремится сохранить значение

гвардии, как главной опоры «силы правительства», особой системой воспитания войск в полной покорности высшему командованию, крайне суровой дисциплиной и укреплением особого «гвардейского» корпоративного настроения, обособляющего ее и от армии и от общественной массы, чтобы закрепить ее за командными и династическими верхами. Декабрист Александр Бестужев верно отметил, что в «солдатстве» Николая, как и раньше его отца и брата, была «дань политике». Но удалась эта политика в значительной мере только Николаю. При Александре гвардия переживает свой критический период и нелегко поддается новой военно-административной системе. Обезличить ее общественность и выковать из нее «преторианскую» стражу престола, но стражу вполне надежную и покорную, оказывалось трудной задачей в период общего брожения русской жизни. Александр терял доверие к гвардии, к армии, к ее командному составу. Этот состав подвергся значительному пересмотру по возвращении войск из заграничного похода. На смену боевым офицерам, особенно на высших должностях, начиная с полковых командиров, назначались фронтовики - службисты и карьеристы из служилых иностранцев, преимущественно—остзейских немцев. Популярность среди солдат стала плохой рекомендацией для офицера. Подвергался усердному пересмотру и состав обер-офицеров, которых удаляли со службы, перебрасывали в чуждые им полки, переводили в провинциальную глушь, заменяя другими. Все это мало помогало; недовольство только обострялось, вызывало брожение в солдатской массе, которого только самым ярким проявлением было восстание в Семеновском полку, усиливало фрондерство офицеров.

«Политика» была и в учреждении пресловутых военных поселений. Будь план этой реформы всего порядка комплектования и содержания войск выполнен в достаточных размерах, правительство получило бы военную силу, независимую от старых гвардейских и армейских традиций, от влияния дворянского оппозиционного офицерства. Вопрос о военных поселениях стоял очень остро в тогдашнем общественном мнении. На них смотрели не только с отвращением, осуждая царивший в управлении ими аракчеевский произвол и жестокое угнетение военно-поселенцев, весь быт которых был отравлен казарменной муштровкой, но и с опаской, как на «новую касту», оторванную от интересов общественной и народной жизни, как на силу, которая может стать либо орудием всеобщего угнетения в руках самодержавца, либо источником больших смут, если энергия каких-либо «честолюбивцев» сумеет сорганизовать недовольство военно-поселенческой массы и ее использовать для своих целей. Так толковали о военных поселениях и в обществе и в правительственных кругах, даже во дворце. Требование уничтожения военных поселений было одним из общепринятых и очередных в тайном обществе декабристов.

Отношение к правительству определяется в эту пору нараставшим сознанием его отчуждения от интересов общества, народа, страны. Толкуют о расхождении «трона» и «народа», о презрении Александра «ко всему русскому», о запущенности всех дел управления, о подчинении интересов России—чуждым ей интересам международной политики Александра и общеевропейской реакции, о «пренебрежении дворянством», разорении торговли, угнетении крестьянства налогами и повинностями, о том, что «выгоды казны»—противоположны «выгодам народа».

Ядро декабристов—из помещичьего класса. Вопросы землевладения, крепостного хозяйства, крепостного права им близки и понятны. Сама жизнь наталкивала эту среду в ее передовых и наиболее образованных элементах на обсуждение крестьянского вопроса, как основного для всех сторон народно-хозяйственного и политического развития России. Острым было сознание, что крепостная организация хозяйства страны тормозит развитие производительных сил и накопление богатства, противоречит «общему благу». Экономическая сторона вопроса осмыслялась изучением западно-европейской политико-экономической литературы и земельных народно-хозяйственных отношений. Классический труд Адама Смита «Исследование свойства и причин богатства народов» был издан в русском переводе еще в начале царствования Александра—в 1802 году. Популяризатором идей Адама Смита в их применении к русским условиям был декабрист Николай Тургенев. Осуждение крепостного права высказывалось в эту пору и с общегосударственной точки зрения, когда, например, еще в самом начале Александровского царствования П. А. Строганов рассуждал в «негласном комитете» в личном кабинете молодого государя—о том, что главное внимание должно быть обращено на крестьянство, так как этот общественный класс подавлен «лишением прав свободы и собственности» и потому «не дает на пользу общества того вклада своего труда», какого можно ожидать при других условиях. Осуждалось крепостное право и с точки зрения рациональной постановки частного землевладельческого хозяйства, когда, например, Тургенев рассуждает о преимуществах фермерского хозяйства и вольнонаемного труда. Слабая доходность помещичьих имений, рост их задолженности свидетельствовали о несостоятельности рутинного крепостного хозяйства в новых условиях экономического бытия. Усилить сельско-хозяйственное производство представлялось возможным и необходимым—в отклик на спрос рынка: и внутреннего—в виде снабжения городов, поставки хлеба на винокуренные заводы и сбыта в малохлебные промышленные районы,—и внешнего по мере роста хлебного экспорта, для которого открывался новый, черноморский выход. Освобождение крестьян представлялось необходимой предпосылкой интенсификации сельского хозяйства и выхода из экономического тупика, в который все

сильнее упиралось народно-хозяйственное развитие России. Задача была поставлена, но ее разрешение вызывало ряд колебаний. Крепостные крестьяне издавна—в течение всего XVIII века—домогались их перечисления в разряд государственных. Мысль о том, что государева власть освободит их от власти помещичьей, была обычна в их массе. Такой путь «освобождения» представлялся возможным и среди дворян, склонных к ликвидации крепостного права, а, по свидетельству Завалишина, к такому мнению склонялось «большинство» декабристов, но в форме выкупа крепостных казной, облегченного притом значительной задолженностью помещичьих имений. Представляясь, быть может, наиболее возможным приемом ликвидации крепостного права, такое разрешение вопроса отнюдь не признавалось желательным. Обсуждение вопроса о крепостном праве в «Союзе Благоденствия» велось в ином направлении. Путь к его разрешению искали в распространении здравых экономических понятий с тем, чтобы выяснить землевладельцам преимущества иной системы хозяйства и убедить их взять на себя почин в деле отмены крепостного права. Только такой почин обеспечил бы проведение реформы «без всякого потрясения и с соблюдением обоюдных выгод—помещиков и крестьян». Освобождение представлялось—безземельным: «земли помещиков остаются за ними»,—писал Никита Муравьев в первой редакции своей конституции, высказывая этим мнение, наиболее распространенное. Реформа должна была привести к развитию крупного предпринимательского хозяйства на батрацком наемном труде и к развитию фермерской арендной системы. Крестьянская реформа, как она была проведена в остзейских губерниях в 1816—1819 годах, принята была в принципе сочувственно, но вызывала на размышление. Там она проходила весьма благоприятно для землевладельцев, так как оставляла в их распоряжении достаточный запас рабочей силы, дешевой и зависимой: освобожденным крестьянам некуда было уйти, и выход в другие губернии был для них закрыт правительственными мерами. А в России иное дело. Шла усиленная колонизация малонаселенных плодородных областей на юге и юго-востоке, в Причерноморьи и Поволжьи начинал усиливаться отлив рабочих рук к промышленности, и безземельное освобождение могло поднять чрезмерную волну переселенческого движения, опасного для землевладельческих хозяйств великорусского центра. С другой стороны—страшила перспектива массовой пролетаризации крестьянства с отрывом его от земли. В таких условиях ставился вопрос о наделении крестьян землей. Экономический мотив подсказал наделение их усадебной оседлостью и выгоном для скота и, далее, наделение крестьян небольшими участками в 2—3 десятины. Мотив социально-политический вел к дальнейшим выводам об устройстве крестьянского быта. Сознание, что развитие русской промышленности идет слишком медленно для поглощения значительных количеств рабочих рук,

что база народного хозяйства в земледелии, которое и нежелательно обессиливать чрезмерным отливом земледельцев, и что крестьянские подати—основа финансовой системы, выдвигало принцип наделения крестьян при освобождении «достаточным» количеством земли. Еще в начале Александровской поры мысли о ликвидации крепостного права путем перевода крепостных в государственные крестьяне был противопоставлен из крупно-земледельческой среды проект освобождения крестьян целыми селениями с землей, при условии обеспечения помещичьего дохода определенным оброком и перевода их в особое сословие «свободных хлебопашцев» по инициативе землевладельцев и по взаимному соглашению его с крестьянами. Закон о «свободных хлебопашцах» не имел широкого применения и не получил сколько-нибудь серьезного значения для разрешения крестьянского вопроса. Но он выразил определенную тенденцию, показательную для своего времени—развязать узел крепостничества без передачи крестьянства в обладание казны (подобно тому, как при Николае государственные крестьяне ведаются министерством «государственных имуществ»), с сохранением помещичьего дохода и без их пауперизации. Та же тенденция вызвала в среде декабристов, например, у Якушкина, мысль о предоставлении крестьянам полностью их наличных наделов, сперва за оброк, часть которого зачитывалась бы в выкуп земли, а затем, при рациональном ведении хозяйства, которое приведет к погашению всей выкупной суммы, не в подворную собственность, а в «общественное владение», при котором «не может быть нищих». Реформа должна была превратить крепостных в самостоятельных хозяев-производителей с гарантией от пауперизации в общинном владении землей, а помещику дать средства для под'ема хозяйства и перевода его на новую систему, более производительную.

Классовая структура русской общественности нашла свое неустранимое выражение в декабристском понимании крестьянской реформы. На деле—все эти схемы назревавшей реформы оказались еще преждевременными и для данного исторического момента, бесплодными. Землевладельческое общество не пошло за декабристами, не усвоило их «здравых экономических понятий». Крепостное хозяйство еще разрасталось в процессе колонизации; закрепощение еще захватывало новые группы трудового крестьянства, а экономическая депрессия, переживавшаяся Россией в 20-х годах, сильно ослабляла стремление к сколько-нибудь настойчивой интенсификации сельско-хозяйственного производства. Задержка этого процесса недостатком оборотных средств для изменения хозяйственной системы и низкий уровень технической культуры отражались в косности помещичьей массы и в живучести ее рутинного хозяйства, в котором только усиливалась эксплоатация крепостных оброками и барщиной и спекуляция на торговле крепостными людьми. Передовая верхушка помещичьего общества отрывалась от своих

корней в его среде. Но беспочвенной эта верхушка не была. Она в своих исканиях и проектах давала выражение наиболее прогрессивным течениям своего времени, за которыми было будущее. В них нашли отклик тенденции нарождавшегося русского капитализма не только аграрного, но и торгового и промышленного. Среди мотивов общественного недовольства, которое нашло выражение в суждении декабристов о русской действительности, яркой полосой выступает сознание, что основная причина слабого развития производительных сил России и ее «народного богатства»—в «недостатке капиталов» и благоприятных условий для их накопления—при господстве крепостного хозяйства. Отсюда—сочувствие в их среде откупщикам казенного винного дохода, с которыми правительство начало борьбу, резкая критика таможенной политики, казенных монополий, всей фискальной системы, которая подчиняла увеличению доходов казны интересы развития торговли и промышленности, стесняла рост частного предпринимательства. Декабристская верхушка помещичьего общества отрывалась от землевладельческой массы, поскольку втягивалась в идеологию нарождавшегося капиталистического строя всех экономических и социальных отношений, провозглашая начала экономического, буржуазного либерализма — свободу торговли, предпринимательства, конкуренции, свободу частной собственности и свободу труда.

Экономический либерализм вел к либерализму политическому. Отрицая крепостное право, декабристы отрицают и его надстройку—самодержавно-бюрократическую организацию государственной власти. Дальнейшее развитие страны должно быть не только вырвано из пут крепостного хозяйства, но и освобождено от подавления его громоздкой тягостью самодержавной государственности. Свободное развитие экономических сил требует гражданской свободы и общественной самодеятельности. В данных политических условиях она невозможна. Необходимо коренное их изменение. Государственная власть должна принять новую программу, подчиниться новым требованиям, служить новым задачам. Для этого она должна быть перестроена в иных формах — на началах «народного представительства»—конституционно-монархических или республиканских. В Северном обществе, наиболее ярком выразителе именно дворянско-буржуазного либерализма, преобладали конституционно-монархические тенденции, которым наиболее цельное выражение дала «конституция» Никиты Муравьева. Политической умеренности этой конституции соответствовало и ее социальное содержание, построенное на высоком имущественном цензе, как основе политических прав и политического влияния, при чем характерно, что ценз в движимом имуществе—денежном капитале—определен вдвое более высокий, чем ценз по имуществу недвижимому—землевладению. Отнюдь не демократичная конституция эта стремится воплотить политический либерализм в довольно широких размерах. Власть монарха реши-

тельно ограничена во всех сторонах государственной жизни. Она поглощается «народным вечем»—двупалатным, при чем верхняя палата состоит из представителей областей, по примеру сената Соединенных Штатов Америки. Конституция Муравьева проводит начало децентрализации управления, так как предоставляет областям империи значительное самоуправление—конституция делит Россию на 13 «держав» и 2 «области»—со своими местными «народными вечами» и выборными—администрацией и судом, а также значительное влияние в центре—через Верховную думу их представителей. В 1825 году Никита Муравьев отошел от деятельности тайного общества, но и Сергей Трубецкой, признанный вождем движения в его последней стадии, не отошел по существу от тех же конституционных тенденций, когда набрасывал проект манифеста, какой предстояло, в случае успеха восстания, опубликовать от имени Сената. В этом манифесте положено провозгласить начала гражданской свободы: отмену крепостного права, свободу вероисповедания и печати, свободу собственности и выбора занятий, торговли и договорных соглашений; равенство граждан в податной и воинской повинностях; гласность судопроизводства и учреждение суда присяжных; организацию самоуправления волостного, уездного, губернского и областного с заменой всех чиновников выборными. Вопроса о государственном устройстве манифест касался только в общей форме об'явления об «уничтожении бывшего правления» и учреждения временного правительства—впредь до учреждения народным представительством — постоянного. Так первое собрание выборных должно было сыграть роль собрания учредительного и решить вопрос о конституционной монархии или республике. На временное правительство возлагались, по предположению Трубецкого, как первоочередные задачи: проведение в жизнь уравнения прав всех сословий, организация местных «правлений» и «народной стражи» на замену постоянной армии, судебная реформа и организация выборов в палату народных представителей, которая утвердит порядок правления и «государственное законоположение» (т.-е. конституцию).

Такая характеристика общественных и политических воззрений декабристов отнюдь не дает, однако, полного представления о них. Она выясняет в общих чертах только одно из течений в декабристской среде, то, которое можно назвать старшим по проявлению в общественном движении Александровской эпохи. Оно определилось в «Союзе Благоденствия» и преобладало в Северном тайном об-ве, поскольку там господствовало влияние Н. Муравьева и С. Трубецкого. Но даже в Северном об-ве это течение не было единственным. С Рылеевым и его группой в Северное общество вливается струя более демократичных, республиканских и революционных настроений. Много в этом «левом крыле» Северного общества революционной романтики, горячей и искренней у Рылеева и Каховского, сентиментальной и поверхностной у Евг. Оболенского, отдающего хвастливой по-

зой у Якубовича. Но крыло это нашло опору во влиянии Пестеля, крепло и ширилось, и под конец привело движение к попытке вооруженного восстания. Оно не выработало своей общественной и политической программы, сосредоточившись на пропаганде переворота и на подготовке восстания, держалось за вождя—Трубецкого, сглаживая и откладывая на будущее разрешение основных социальных и политических вопросов. При всей идеологической своей неопределенности, оно было отражением на Севере радикально-демократического движения, которое имело центром—Южное об-во Пестеля.

Присматриваясь к составу Рылеевской группы, а тем более Южного общества и общества «Соединенных Славян», к нему примкнувшего, мы попадаем в заметно иной общественный круг, чем тот, какой характерен для «Союза Благоденствия». Конечно, и тут преобладает—дворянство. Но это дворянство более мелкое, провинциальное; больше в его среде или неслужащих элементов, или таких, чьи интересы связаны не столько с военной и государственной службой, сколько с литературной деятельностью или службой в торгово-промышленных предприятиях, вроде Российско-Американской компании. Перед нами группы тогдашней интеллигенции, связанной близкими отношениями с бытовой средой «городских обывателей»—мелкой городской буржуазии. Охватившее эту среду общественное брожение нашло свое идеологическое выражение, наиболее яркое—в «Русской Правде» Пестеля.

Пестель отчетливо изложил в своих показаниях следственной комиссии по делу декабристов ход своей мысли о будущем устройстве России. На первых порах он был ближе к воззрению Никиты Муравьева, чем в дальнейшей проработке основ «государственного законоположения»: допускал конституционную монархию, имущественный ценз для народных представителей, областные народные веча. Но углубленное размышление и изучение политических проблем заставило его отвергнуть все основания Муравьевской конституции. Так разрабатывали они свои воззрения в сознательном противостоянии друг другу, обмениваясь полемическими и критическими замечаниями. Пестель отверг конституционную монархию, придя к выводу, что «конституции суть одни только покрывала» для все того же деспотизма над массой населения, как и двупалатная система: они только прикрывают формами мнимой политической свободы—господство «аристократии»—будь то аристократия феодального землевладения или «аристокрация богатств». Пестель понял, что «главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристокрациями всякого рода как на богатстве, так и на правах наследственных основанными», и признавал, что в этих аристократиях—«главная препона государственному благоденствию», которая может быть устранена только «республиканским образованием государства». Пестель понял классовую суть европейских революций, как смену господства феодальной аристо-

кратии—господством капиталистической буржуазии, и признал эту новую «аристократию богатств» — «гораздо вреднейшей», так как в ее руках трудно одолимые средства приводить народ «в совершенную от себя зависимость». Революция должна быть для того, чтобы привести к радикальной перестройке общественных отношений, не только политической, но и социальной. Она должна обеспечить всей народной массе подлинную свободу, а это может дать только «аграрный закон», коренная реформа земельных отношений, основанная на «разделении земель». Аграрная реформа, которая должна дать новому строю новую социальную базу, строится у Пестеля весьма своеобразно. На ней лежит печать той двойственности в представлении о грядущем социальном строе, преодолеть которую не смогла в 20-х годах XIX века даже сильная мысль Пестеля. Частная инициатива, личная энергия, руководимая стремлением к «выгоде и прибыли», представляется ему необходимым фактом в развитии производительных сил страны и накоплении ее богатства. Поэтому он настаивает на полной свободе личного предпринимательства в земледелии, промышленности и торговле, согласно с воззрениями «политической экономии», которую он изучал по Сисмонди и Адаму Смиту. Поэтому и в организации земельных отношений он считает необходимым «полное дать обеспечение и совершенную свободу приобретения и сохранения изобилия» и половину земли в каждой волости предназначает «для образования частной собственности», задача эксплоатации которой и состоит в «доставлении изобилия»—и связанного с ним технического и экономического прогресса. Однако Пестель пытается согласовать с такими положениями свое основное требование—полного равенства граждан и их права на обеспечение необходимым, как мы бы сказали «прожиточным минимумом». Для этого половина земли должна быть из'ята из частного оборота и составит, под названием «земли общественной», фонд, особый для каждой волости; назначение этого общественного земельного фонда—обеспечить каждому гражданину «возможность пользоваться необходимым для жития». Пестель надеется, что с проведением его аграрной реформы не будет в России ни одного гражданина, который не был бы обладателем земли. Все будут распределены по волостям и наделены земельными участками, и потому «будет каждый гражданин сильнее к целому составу государства привержен».

Крупная земельная собственность пойдет в раздел по волостям; на одной половине волостной земли—«общественной»—участки, обеспечивающие необходимое для жизни одной семьи (муж с женой и тремя детьми); на другой, предоставленной частному землевладению, развертывается личное сельское хозяйство, без стеснения его размерами владения—участки могут об'единяться в одних руках. Такова сложная и противоречивая схема Пестеля, характерный исход поисков выхода из социальных противоречий.

Как бы ни были утопичны построения Пестеля, они в корень отрицали существующий строй и выдвигали требования радикального демократизма. Его «Русская Правда» провозглашает полное равенство граждан демократической республики, какой должна стать Россия. Политический строй этой республики строится на всеобщем и равном избирательном праве, и только по техническим трудностям организации массовых выборов допускает Пестель их двустепенность. Но это республика—с сильной центральной властью; Муравьевский федерализм Пестель отвергает столь же решительно, как и «аристократию богатств». Не допускает он и никаких «национальных самоопределений», а требует полного обрусения всех инородческих элементов в составе населения страны: иррациональному началу народности нет места в рационально-построенном государстве Пестеля. Единообразная организация всей общественной жизни требует единства языка, просвещения, всей культуры. Проведение в жизнь всех этих радикальных реформ—дело временного правительства, облеченного диктаторской властью и действующего по наказу, каким для него станет «Русская Правда». Преобразованная страна войдет в колею нового быта, обеспечивающего «возможно большее благоденствие всех и каждого», под управлением своей «державной думы» из 5 лиц, избранных народом для управления, и «народного веча»—законодательного собрания.

Характерна для данной эпохи особенно одна черта во всем этом брожении русской общественной и политической мысли: ее связанность представлением о землевладении, как основе гражданского строя. В цензовой конституции Никиты Муравьева ценз по недвижимой собственности вдвое ниже ценза по денежному капиталу: в радикально-демократической республике Пестеля—обеспечение граждан строится на земельных наделах как основной их связи с государственным целым. Конституционная монархия Муравьева опирается на экономический и социальный фундамент аграрного и торгово-промышленного капитализма на крупную помещичью и денежную буржуазию. Республика Пестеля—на мелкую буржуазию сельских хозяев землевладельцев, на крестьянскую массу. И та и другая программа проникнуты стремлением избежать в будущем развитии России пролетаризации масс, а в осуществлении переворота—«революционной анархии», массового народного движения, гражданской войны. Оба вождя—представители внутренних противоречий декабристского движения—отошли от него, изверившись в осуществимость своих планов и в успех восстания для захвата власти для преобразования страны по задуманному плану. Другие люди вышли на борьбу с самодержавно-крепостническим строем и пережили трагедию поражения. Но Муравьев и Пестель остались наиболее яркими выразителями основных тенденций первого крупного под'ема буржуазной революции в России.

А. Е. Пресняков.

14 декабря 1825 г.

Решение Северного общества организовать вооруженное восстание возникло в обстановке междуцарствия 1825 г. Неожиданная смерть Александра I, отречение Константина Павловича и предстоявшее вступление на престол Николая I создавали необычайно благоприятные условия для успешного выполнения поставленной Северным обществом задачи. Воспользоваться этими условиями, несмотря на явную неподготовленность общества к активной революционной деятельности, северяне сочли своим долгом.

События междуцарствия мало обследованы—многое остается до сего времени неясным, отдельные эпизоды нуждаются в детальном изучении. К сожалению, небольшие размеры настоящего очерка не позволяют нам рассмотреть все обстоятельства междуцарствия достаточно подробно, но установить главнейшие факты и указать их значение в ходе организационной работы Северного общества представляется нам необходимым.

Цесаревич Константин Павлович еще за несколько лет до смерти Александра I отказался от своего права на престол, уступив его в. кн. Николаю Павловичу. Официальной причиной отречения Константина была его женитьба на простой польской дворянке графине Грудзинской. Но помимо брака, представлявшего «неудобства в отношении наследования по престолу», большое значение имели и «неудобства», связанные с уголовными похождениями Константина в начале царствования Александра I. Нужно, впрочем, сказать, что давление Александра I, стремившегося отстранить Константина от наследования престола, не вызвало с его стороны особенного сопротивления. Одно только воспоминание об убийстве отца заставляло его призадуматься над предстоявшей ему карьерой. Отречение Константина было окончательно оформлено манифестом 16 августа 1823 г., согласно которому наследником престола назначался Николай. Манифест этот однако не был опубликован. Подлинник его был положен в Московском Успенском Соборе, а списки с него в Государственном Совете, Сенате и Синоде. Все четыре экземпляра хранились в запечатанных пакетах с собственноручной надписью

Александра I—хранить до моего востребования, а в случае моей кончины, вскрыть прежде всякого другого действия. По словам генерала Толя, отказ Александра I от немедленного распубликования манифеста был вызван настоятельными просьбами Николая Павловича *). Рассказ этот представляется нам вполне достоверным—просьбы Николая имели большое основание. Сухой формалист, человек мелочный, жестокий, недалекий, но чрезвычайно самонадеянный и самолюбивый, Николай не пользовался любовью в «обществе». «Общество, т.-е. та часть общества, мнение которой только и принималось во внимание Николаем—офицерство, дворянство, высшее чиновничество,—знало его хорошо и ни в коем случае не могло бы отнестись одобрительно к назначению его наследником престола. Гвардейские солдаты успели узнать его как типичного аракчеевца. Все это, принимая во внимание распространение тайных обществ (о «Союзе Благоденствия» правительство знало), «Семеновскую историю» и общее недовольство в широких кругах общества, вполне об'ясняет решение Александра I не публиковать манифеста, грозившего явиться новым основанием для распространения отрицательного отношения к «установленному веками» строю. Манифест таким образом оставался до самой смерти Александра I тайной, о которой знали родственники и немногие приближенные лица.

Глубокой осенью 1825 г. император Александр I находился на юге России. 19 ноября в Таганроге он внезапно скончался, о чем и было немедленно сообщено в Петербург и Варшаву.

Еще до получения этого известия, при первых сведениях об опасном положении Александра I, Николай Павлович созвал совещание, в котором об'явил о своем праве наследовать престол. Присутствовавший на этом совещании петербургский генерал-губернатор граф М. А. Милорадович настаивал на провозглашении императором Константина Павловича. По словам декабриста С. П. Трубецкого, «совещание продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но граф Милорадович признать их не хотел и отказал в своем содействии. На том и разошлись» **). Свой отказ Милорадович мотивировал тем, что манифест не был опубликован, а потому не может иметь значения закона. С мнением Милорадовича Николай не мог не считаться, так как Милорадович, при враждебном отношении к Николаю гвардии, был фактическим хозяином положения.

Когда 27 ноября было получено известие о смерти Александра I, Милорадович лично сообщил об этом Николаю, предложив

---

*) Журнал генерал-ад'ютанта гр. К. Ф. Толя о декабрьских событиях 1825 г., Спб. 1910 г., стр. 17.

**) Записки кн. *С. П. Трубецкого*, издание его дочерей, Спб. 1906 г., стр. 27—28.

ему первому присягнуть Константину. Николай ничего лучшего, конечно, не мог сделать, как исполнить это предложение, тем более, что, не отличаясь особенной храбростью, он и сам побаивался провозгласить себя, согласно «завещанию», императором *). При энергичном воздействии Милорадовича присягнул и Государственный Совет. Войска также были немедленно приведены к присяге, при чем встретили ее с большим удовлетворением.

Роль Милорадовича во всех этих событиях весьма велика. В записках Р. М. Зотова имеются сведения о разговоре Милорадовича с кн. А. А. Шаховским в присутствии автора записок. Милорадович долго об'яснял свое поведение в день 27 ноября: «У кого 60.000 штыков в кармане, тот может смело говорить,—заключил Милорадович, ударив себя по карману.—Разные члены Совета пробовали мне говорить и то и другое,—но сам великий князь согласился на мое предложение, и присяга была произнесена». Н. К. Шильдер так комментирует эти слова: «Заявление Милорадовича не может быть признано пустым хвастовством. Действительно, по справедливому замечанию современника (С. П. Трубецкого), судьбами отечества в то время располагал один граф Милорадович» **).

В Варшаву известие о смерти Александра I пришло 25 ноября, т.-е двумя днями раньше, чем в Петербург. Константин встретил известие о смерти брата с твердым, повидимому, решением престола не принимать, и свой отказ от наследования престола подтвердил письмами на имя Николая Павловича и Марии Федоровны. С письмами этими был отправлен 26 ноября в. кн. Михаил Павлович, находившийся в то время в Варшаве.

До получения известия о присяге в Петербурге поведение Константина довольно ясно. Он был уверен, что в Петербурге, согласно манифесту 1823 года, будет провозглашен императором Николай, и ничего другого помимо подтверждения своего отречения он, конечно, не мог сделать. Но со времени приезда в Варшаву ад'ютанта Николая Павловича Лазарева с известием о принесении присяги Константину, поведение его становится явно двусмысленным. Лазареву приказали никуда не выходить и ни с кем не разговаривать, а на другой день отправили в Петербург с ответным письмом Константина. В этом письме, совершенно частного характера, Константин категорически отказывался приехать в Петербург,

---

*) Заметим еще, что Николай не мог быть твердо убежден в том, что Константин вполне добровольно отказался «от такого лакомого куска», каким представлялся Николаю российский престол. Ср. «Заметки Н. К. Шильдера о восстании 14 декабря 1825 г. и имп. Николая I». Сообщил Е. В. Сказин: «Каторга и Ссылка», 1925, кн. 2, стр. 149.

**) *Н. К. Шильдер*, «Император Николай Первый», т. I, Спб. 1903, стр. 207.

подтверждал свой отказ от престола и угрожал «удалиться еще далее, если все не устроится согласно воле покойного императора». Константин не мог не знать, что единственным выходом из создавшегося положения было личное присутствие его в Петербурге. Во всяком случае, заменить его приезд в Петербург могло лишь издание манифеста от его имени, либо, если он не считал себя вправе выпустить его, оглашение какого-либо официального об'явления с подтверждением своего отречения. Не сделав ни того, ни другого, Константин фактически занял выжидательное положение, оставляя на волю обстоятельств дальнейший ход событий. Дать вполне удовлетворительное и определенное об'яснение действиям Константина чрезвычайно трудно. Возможно, что он искренно не желал принимать престола, предоставляя Николаю распутывать все самостоятельно. Не лишено, однако, вероятия и другое предположение: Константин, получив известие о присяге в Петербурге и увидев из официального донесения и из частных писем, что присяга прошла с большим под'емом, даже одушевлением, стал раскаиваться в своем отказе от престола и во все время междуцарствия, колеблясь и не принимая категорического решения, ждал естественной развязки в виде какой-либо торжественной депутации из Петербурга, приезда Николая и т. д. *). Трудно установить действительные отношения Константина к вопросу о престолонаследии, но, во всяком случае, поведение его в дни междуцарствия было в высшей степени странным. Только лишь благодаря твердому характеру Николая и его огромному желанию стать императором междуцарствие окончилось вступлением его на престол.

Николай Павлович тотчас после событий 27 ноября переехал в Зимний Дворец. Во все время междуцарствия он деятельно переписывался с Константином, ожидая от него окончательного официального отречения от престола, удостоверявшего, что воля его после принесения ему присяги не изменилась. Константин, как мы знаем, необходимого Николаю вполне официального письма не присылал, и Николай, получив 12 декабря с фельд'егерем Белоусовым еще одно письмо Константина (от 8 декабря), совершенно частного свойства с наставлениями и советами, решил более не ждать и об'явить себя императором. Решение Николая было поддержано некоторыми придворными. Сперанский составил манифест, к которому, вместо желаемого торжественного обращения Константина к народу, были приложены манифест 1823 г., письмо Константина об отречении от престола (14 января 1822 г.), ответ на него Александра I (2 февраля 1822 г.) и письма Константина к матери и Николаю от 26 ноября 1825 года.

12 декабря, в 6 часов утра, т.-е. до приезда Белоусова, Николай получил донесение о заговоре декабристов, повергшее его, по соб-

---

*) Ср. еще: *М. Н. Покровский*, Русская история с древнейших времен, т. III, изд. 6-е, Лнгр. 1924, стр. 260—261.

ственному признанию, в ужас. Начальник Главного Штаба, барон Дибич сообщал о доносах Шервуда и Майбороды и мероприятиях Александра, направленных к раскрытию заговора. В рапорте Дибича подробно описывались все обстоятельства предательства Шервуда и Майбороды и назывались имена заговорщиков (Вадковский, Пестель, Рылеев, Никита Муравьев, Корнилович, Свистунов и др.). Тотчас по получении этого донесения Николай пригласил гр. Милорадовича и кн. А. Н. Голицына. После обсуждения сообщения Добича было решено принять особые меры предосторожности и в первую очередь арестовать находившихся в Петербурге заговорщиков из числа переименованных в донесении. Все это было поручено генерал-губернатору Милорадовичу.

В тот же день вечером, когда вопрос о вступлении Николая на престол был окончательно решен, будущий император получил второе донесение о заговоре. Подпоручик Я. И. Ростовцев, сослуживец Е. П. Оболенского и близкий друг многих участников заговора *), явился к Николаю с письмом, в котором, сообщая, о таящемся «возмущении», готовом возникнуть при новой присяге, просил его «именем славы отечества» преклонить Константина Павловича принять корону. Он предлагал ему с'ездить в Варшаву или добиться приезда Константина в Петербург для того, чтобы он «всенародно на площади» провозгласил Николая «своим государем». Прочитав письмо, Николай позвал Ростовцева, ожидавшего в соседней комнате, обнял его и вступил с ним в «милостивую» беседу. Мы не знаем достоверно, о чем они говорили и назвал ли Ростовцев известных ему заговорщиков, но, во всяком случае, Николай получил точное уведомление о подготовляемом восстании, что имело для него огромное значение. Донесение Ростовцева не только подтвердило правильность сведений, сообщенных Дибичем, но и указывало на несомненную опасность активного выступления тайного общества. Угроза восстания требовала срочных мер для его предупреждения, и прежде всего необходимо было немедленно арестовать указанных Дибичем заговорщиков. Но, как пишет Николай I в своих записках о 14 декабря, «из петербургских заговорщиков никого не оказалось на-лицо; все были в отпуску, а именно: Свистунов, гр. Захар Чернышев и Никита Муравьев, что более еще утверждало справедливость подозрений, что они были в отсутствии для с'езда, как в этой записке (донесении Дибича) упоминалось. Гр. Милорадович должен был верить столь ясным уликам существования заговора и вероятному участию и других лиц, хотя об них не упоминалось; он обещал обратить внимание полиции, но все

---

*) Есть указания на то, что Ростовцев сам был членом Северного общества. См. Алфавит декабристов. Под редакцией и с дополнениями Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Изд. «Огни». Пгр. 1919. Стр. 187—189.

осталось в прежней без'ясности» *). Николай здесь не упоминает о результате розысков Рылеева, также указанного в донесении Дибича. Рылеев «в отпуску» не находился и, очевидно, подлежал аресту. Арест этот, как известно, не состоялся.

Николай в своих записках, написанных через 10 лет после восстания, с явным неудовольствием говорит о Милорадовиче, обещавшем «обратить внимание полиции» и ничего не сделавшем. В своем неудовольствии Николай был безусловно прав: поведение Милорадовича в последние дни междуцарствия, когда стало известным решение Николая занять престол, было весьма странным. Действительно, генерал-губернатор, имевший неограниченные полномочия, знавший, что Рылеев находится в Петербурге и что по его следам можно ликвидировать всю революционную организацию, получавший подробные сведения от полицейских агентов о собраниях у Рылеева, ничего не предпринимал для предупреждения восстания. Роль «укрывателя» Милорадович, надо думать, играл вполне сознательно. Необычайное для генерал-губернатора отношение к революционерам можно об'яснить крайним недоброжелательством Милорадовича по отношению к Николаю и возможной уверенностью его в том, что заговорщики стремятся к возведению на престол Константина, при ограничении его власти конституцией (а Милорадович, при всей безалаберности своей, был искренним либералом). Каковы бы ни были в действительности мотивы, руководившие поведением Милорадовича, заслуга его перед декабристами,— заслуга, неизвестная им и потому не оцененная,—представляется совершенно несомненной. Любопытно отметить, что еще в 1821 г. генерал Бенкендорф в своей записке о тайных обществах говорил о невозможности поручить дело наблюдения за заговорщиками гр. Милорадовичу, «который окружен людьми, участвующими в обществе или приверженными им».

Николай, окончательно решивший провозгласить себя императором, начал деятельно готовиться к этому, назначив днем присяги 14 декабря. 13 декабря Николай призвал к себе командира гвардейского корпуса генерала Воинова и, сообщив ему о своем решении, предложил в понедельник 14 декабря рано утром созвать во дворец всех генералов и полковых командиров корпуса для личного об'яснения обстоятельств восшествия своего на престол и сообщения инструкции по проведению присяги. Князю Лопухину, председателю Государственного Совета, Николай велел собрать

---

*) *П. Е. Щеголев*, «Николай I и декабристы», Пгр. 1919, Приложение: «Из записок императора Николая I», стр. 49—50.

**) В заседании Государственного Совета, состоявшемся значительно позже, в первом часу ночи, Николай прочел манифест о вступлении своем на престол. Чтением манифеста закончился период междуцарствия. Великий князь Николай Павлович юридически стал «императором всероссийским».

Совет к 8 часам вечера 13 декабря **). Настроение Николая никому вполне не доверявшего и со страхом ждавшего результатов своего «предприятия», лучше всего показывает письмо его к кн. П. М. Волконскому. Николай писал: «14 числа я буду государь или мертв; что во мне происходит, описать нельзя: вы, верно, надо мною сжалитесь—да, мы все несчастные, но нет несчастливее меня!».

Известие о неожиданной смерти Александра I застало членов Северного общества врасплох, обнаружив полную неподготовленность организации к активному выступлению. Е. П. Оболенский показывал на следствии: «В день присяги бывшему императору Константину Павловичу собрались мы у Рылеева—Трубецкой, я, Николай и Александр Бестужевы, и, поздравляя друг друга с неожиданным для нас происшествием, мы сознались все в слабости наших сил и невозможности действовать сообразно цели нашей и расстались, не положив ничего решительного» *). В тот же день выяснилось, что весть о восшествии на престол Константина Павловича была встречена солдатами с удовлетворением и надеждою на скорые улучшения и реформы **). Сведения об этом укрепили членов общества в решении не предпринимать конкретных шагов к организации в связи с кончиной Александра I восстания. «Полки присягнули единодушно,—рассказывал А. А. Бестужев на следствии,—прежде, нежели мы увидали друг друга. Все мы видели очень хорошо, что предпринимать что-либо, не имея никакой надежды на солдат, было бы безрассудно, а оттого даже и не думали возмущать их». Возвратясь от присяги Константину, А. Бестужев застал у себя Рылеева, который ему «сказал, что это (т.-е. присяга) доказывает, как мы ошибались, думая, что солдаты забыли Константина Павловича и что теперь должно ждать» ***).

Неподготовленность общества к активной революционной деятельности, в связи с отношением солдатских масс к Константину Павловичу, вызвали «ликвидаторское» настроение среди северян. В первый день решили даже, «вместе с появлением нового императора, действия общества на время прекратить». Постановление это не думали, впрочем, немедленно проводить в жизнь, так как в тот же день появились первые известия о манифесте 1823 г. и о возможном подтверждении отречения со стороны Константина Павловича. По словам Рылеева, решение общества приняло условную форму: «в случае принятия короны государем цесаревичем об'явить

---

*) Материалы по истории восстания декабристов. Т. I. М.-Лнгр. 1925. Стр. 245. Так же рисует положение общества и Н. А. Бестужев. См. Воспоминания Н. А. Бестужева о К. Ф. Рылееве. Изд. «Альциона». М. 1919. Стр. 38—40.

**) Материалы по истории восстания декабристов, т. I, стр. 18, 340.

***) Там же, стр. 436, 458.

общество уничтоженным и действовать сколь можно осторожнее» *). Таким образом, по мере выяснения положения, вопрос о ликвидации Северного общества терял свое основание и вскоре был совершенно оставлен.

Еще до того, как слухи об отречении Константина приняли вполне положительную форму, в обществе началась интенсивная организационная деятельность. Независимо от возможного отречения Константина, решили приготовиться на всякий случай **). Начались «решительные и каждодневные совещания», старались приготовить новых членов среди гвардейских офицеров и немедленно принимали тех, которых имели уже в виду. В первые же дни был избран диктатором кн. С. П. Трубецкой, с самого начала утверждавший, «что теперь обстоятельства чрезвычайные и для видов наших решительные». Несколько членов общества предприняли даже попытку ведения агитации среди солдат, для того чтобы «приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии» ***). Между тем, слухи об отречении Константина становились все более и более настойчивыми и к 9—10 декабря передавались уже в виде безусловного утверждения. 12 декабря стало известным принятое Николаем I решение занять «праздный» престол. К назначенному на 14 декабря дню торжественного восшествия на престол Николая Северное общество и решило приурочить начало вооруженного восстания в Петербурге.

Вся обстановка междуцарствия складывалась в пользу декабристов. Внезапная смерть Александра I, отречение Константина Павловича, с именем которого связывались чаяния солдатских масс, и предстоявшая присяга ненавистному крепостнику Николаю I создавали подходящую революционную атмосферу. Основным моментом, благоприятствовавшим декабристам, было отречение Константина. Как мы знаем, только после того, как стало выясняться, что Константин престола не принимает, декабристы решили приступить к организации выступления.

Вырабатывая общий план восстания, декабристы исходили из следующего основного положения: революция должна быть военной—«народ», т.-е. вся та часть общества, которая не была вооружена и не входила в состав армии, активного участия в перевороте не должна принимать. Солдаты и офицеры, представляющие единственную организованную общественную группу, должны взять на себя свержение самодержавного строя и установление нового режима. Только при соблюдении этого условия декабристы мыслили

---

*) Там же, стр. 183.

**) Думали, например, «содействовать южным членам, если они подымутся». Там же, стр. 97 и 183.

***) См. Воспоминания Н. А. Бестужева о К. Ф. Рылееве. Изд. «Альциона». М. 1919. Стр. 40—41.

возможность удачного и максимально безболезненного осуществления переворота. Никаких «беспорядков» не должно быть, ни одной лишней капли крови не должно пролиться. Все должно быть совершено в строгом порядке, по заранее составленному плану. Это категорическое желание избежать всего того, чем сопровождалась великая французская революция, имеет глубокие корни не только в социальном происхождении декабристов, но и во всей сущности декабризма. Основной чертой декабристов было то, что они являлись заговорщиками, притом заговорщиками военными, сходными с испанскими революционерами 20-х годов XIX века. Рылеев и Трубецкой, так же как и Риего и Квирога в Испании, представляли наилучшей и действительнейшей революционной тактикой тактику военного восстания. Не из боязни «народа», но ради блага народа, он отстранялся от участия в революции. Неорганизованное выступление народных масс, по мнению декабристов, должно было неминуемо привести к междоусобице и в конечном итоге к реакции. Восстание 14 декабря являлось реализацией всех этих оснований декабризма. Не учтя этого, мы не поймем революционной тактики 14 декабря.

Организационная работа, особенно интенсивная с 9—10 декабря, когда создалась полная уверенность в том, что Константин свое отречение решил подтвердить и поэтому престол переходит к Николаю, велась, главным образом, в трех направлениях: привлечение к заговору офицеров, находившихся в Петербурге, выяснение количества боевых сил и выработка военного плана восстания. Всей этой работой руководил Трубецкой, совместно с Рылеевым и Оболенским. Офицеры, на которых можно было рассчитывать, приглашались на отдельные полковые собрания, а затем, наиболее надежные из них, и на общие собрания у Рылеева и Оболенского *). Собрания протекали очень бурно и в последние дни продолжались почти круглые сутки. Основным вопросом, обсуждавшимся на совещаниях, было выявление частей гвардейского корпуса, на которые можно было рассчитывать декабристам. Предполагалось, что не присягнут Николаю полки: Измайловский, Финляндский, Егерский, Гренадерский, Московский, Гвардейский Экипаж и Конная Артиллерия. На участии этих частей строился военный план, выработанный Трубецким. Согласно плану Трубецкого, восстание должно начаться утром, 14 декабря, во время приведения отдельных полков гвардии к присяге Николаю I. Офицеры и солдаты должны отказаться при-

*) Систематическая агитация среди солдат не велась, как по соображениям конспирации, так и в силу уверенности в том, что и без предварительной подготовки солдаты охотно последуют примеру своих командиров. Отдельные шаги в этом направлении, тем не менее, предпринимались: так, например, лейтенант Гвардейского Экипажа Арбузов 12 и 13 декабря «делал солдатам роты своей неблагонамеренные внушения» (См. Алфавит декабристов, Пгр. 1919, стр. 7—8).

сягать, настаивая на том, что присяга ложная. Константин не отрекся от престола и т. д. Этот предлог, придавая всему восстанию как бы законную форму (верность присяге!), должен привлечь к восстанию наиболее отсталую и политически неразвитую часть солдатских масс. Офицеры при этом должны тут же сообщать солдатам о всех преимуществах Константина: им будет сокращен срок службы, будут даны всяческие льготы, облегчения и прочее*). Подняв таким образом один полк, офицеры-заговорщики должны вести его к соседнему полку, который и стараться присоединить к восставшему ранее. Восстание следует начать в Гвардейском Экипаже. Экипаж немедленно должен итти к Измайловскому полку, а затем к Московскому. Гренадерский и Финляндский полки направляются прямо на Сенатскую площадь, куда собираются и все остальные части. Здесь концентрируются восставшие войска и выявляется цель восстания, путем об'явления манифеста об учреждении временного правительства и созыве учредительного собрания.

Составленный Трубецким манифест определял политическую программу восстания. Первым пунктом манифеста было «уничтожение бывшего правления», вторым — учреждение временного правления, затем провозглашались свобода печати и «равенство всех сословий пред законом», уничтожалось право собственности на людей, вводился гласный суд присяжных и выборное начало при замещении должностей в волостных, уездных, губернских и областных правлениях, об'являлось сокращение срока военной службы для нижних чинов, что должно было последовать по уравнению воинской повинности между всеми сословиями и т. д.**). Манифест этот должен был быть издан от имени Сената немедленно после переворота.

План восстания, предложенный Трубецким, обсуждался на совещаниях с Рылеевым и Оболенским. Принимая план в целом, Рылеев, однако, настаивал на том, что все без исключения полки, для экономии времени, должны итти прямо на Сенатскую площадь. Категорически возражая против этого и упорно отстаивая свое тактическое предположение, как безусловно необходимую меру, «без которой ничего нельзя будет сделать», Трубецкой в конце концов, повидимому, уступил Рылееву—по крайней мере, когда вечером 13 декабря Рылеев говорил при нем лейтенанту Арбузову, что он рано

---

*) Увлечь солдат на открытый революционный путь декабристы не считали возможным. Приходилось считаться с веками длившимся монархическим укладом жизни с царем-помазанником божиим. Кроме того нельзя было не принять во внимание и легенду, создавшуюся вокруг имени Константина, с одной стороны, увеличивавшей шансы на успех восстания, но, с другой стороны, не позволявшей выступить с открытым требованием созыва учредительного собрания и установления демократического строя. Все это заставляло декабристов выдвинуть в виде тактического лозунга восстания «Константина и конституцию».

**) Материалы по истории восстания декабристов, т. I, стр. 107—108.

утром придет к нему в экипаж и они выступят «прямо на площадь, Трубецкой «на сии слова уже не возражал» *). Как и все распоряжения Трубецкого, последняя окончательная инструкция была передана через Рылеева. «Офицерам разных полков, принадлежавших обществу,—говорит Рылеев в своих показаниях,—я передавал план Трубецкого и приказание не допускать солдат к присяге, стараться увлечь их за собой на Сенатскую площадь и там ожидать приказания кн. Трубецкого. Наставления же как поступать на площади я давать не мог, ибо это зависело от обстоятельств и от князя Трубецкого» **). Таким образом остроумное тактическое предположение Трубецкого о начальном периоде операции было отвергнуто, и 14 декабря восставшими не осуществлялось. Вспоминая об этом на следствии, Трубецкой не мог скрыть своего раздражения на оппозицию Рылеева в этом вопросе. Раздражение Трубецкого, как военного тактика, нам должно быть вполне понятно: нельзя сомневаться в том, что если бы, согласно плану Трубецкого, Гвардейский Экипаж не выступил непосредственно на Сенатскую площадь, а отправился к Измайловскому полку, солдаты которого отказались присягать, но не решались самостоятельно выступить, декабристы имели бы в своем распоряжении еще одну крупную боевую единицу, что значительно изменило бы соотношение сил в день 14 декабря.

При выработке плана естественно возникал вопрос и о занятии крепости и дворца. В этом вопросе мнения также разделились. Крепость, например, Трубецкой решил не занимать, считая, что «сие слишком разделит силы» и вообще не находя в этом нужды ***). Также было отвергнуто и предложение начать выступление ночью, так как поднять солдат до об'явления им высшим начальством приказания присягнуть Николаю —считалось невозможным.

Необходимо заметить, что Трубецкой, детально разрабатывавший военный план восстания, являлся не столько общим руководителем-диктатором, сколько начальником штаба. Не учитывая революционной обстановки, строго разделяя участников заговора на «совещательных» и «несовещательных», не считаясь с тем, что начинается гражданская война, Трубецкой, при всех своих несомненных военных достоинствах, оказался плохим революционером. В полной мере это обнаружилось 14 декабря, когда он не явился на площадь, оставив восставшие войска на произвол обстоятельств. Декабристы чувствовали эту нереволюционность своего военного вождя и поэтому ряд существенных вопросов они обсуждали без него и помимо него. Таковым было, повидимому, обсуждение вопроса о цареубийстве и назначении Каховского для выполнения

*) Там же, стр. 66.
**) Там же, стр. 165.
***) Там же, стр. 66.

этого акта, предположение занять дворец и т. д. Все это вносило в подготовку восстания некоторую дезорганизацию, сыгравшую известную роль в день 14 декабря. Многие основные революционно-тактические вопросы остались нерешенными в окончательной форме, многие оставались совершенно открытыми. Здесь, прежде всего, сказался недостаточный срок для подготовки выступления (всего несколько дней), но несомненно сказались и общие дефекты организации Северного общества.

14 декабря, рано утром, еще задолго до присяги в полках, все участники заговора были на ногах. Трубецкой в семь часов утра был уже у Рылеева, с которым совещался о предстоящем выступлении. Вслед затем Рылеев с И. Пущиным посетили Трубецкого, начавшего повидимому колебаться, но все-таки обещавшего быть на площади. У Трубецкого Рылеев и Пущин узнали, что л.-гв. Конный полк уже присягнул. Тотчас же они отправились в Московский полк, а оттуда в казармы Гвардейского Экипажа. Якубович, которому было поручено руководить выступлением Гвардейского Экипажа, был в экипаже еще ночью. Палицын два раза ездил в казармы л.-гв. Гренадерского полка и в Гвардейский Экипаж. В. Кюхельбекер был в экипаже и в Московском полку. Наконец, в Гвардейском Экипаже были Каховский и братья П. и Н. Бестужевы. Все остальные заговорщики усиленно готовились к выступлению в своих полках.

Присяга происходила во всех полках в разное время, с 9 до 11 часов утра. Как и ожидали заговорщики, приведение к присяге почти ни в одном полку не прошло спокойно. Солдаты волновались и с трудом, после долгих убеждений, соглашались присягать Николаю. Настроение солдат старались использовать офицеры-заговорщики. В конной артиллерии целый ряд офицеров, близких заговору, отказался присягать.. Они были тотчас же арестованы и «отделены в особую комнату». Тем не менее, не теряя надежды увлечь солдат, они, «насильственным образом отворив двери и с шумом выйдя оттоль, кричали: «ребята! измена! вас обманывают, Константин Павлович не отказывается, ура, Константин!»». Их приказали снова схватить. Тогда один из офицеров, прапорщик Малиновский, «обнажив саблю, ударил одного часового в лицо», и все они бежали из казарм. Часть из них явилась к Пущину, который, однако, заявил им, что «без людей в них нет надобности» *). В Кавалергардском полку присяга окончилась благополучно, вследствие бездеятельности и нерешительности офицеров-декабристов **). Больших усилий стоило приведение к присяге л.-гв. Конного полка ***). В Преобра-

---

*) Алфавит декабристов, Пгр. 1919, стр. 43, 53 и др.

**) См. *С. Панчулидзев*, «История кавалергардов», т. IV, стр. 26—27.

***) См. *М. Корф*, «Восшествие на престол императора Николая I», изд. 3-е, Спб. 1857, стр. 123.

женском полку избежать волнений, по словам Трубецкого, удалось обещанием всяких льгот и раздачей большой суммы денег из артельной кассы *). Как и ожидали декабристы, серьезное волнение возникло и в Измайловском полку. Офицеры этого полка, участвовавшие в заговоре, накануне присяги вели усиленную агитацию среди нижних чинов и, когда полк был построен для приведения к присяге, они громко стали убеждать солдат не присягать Николаю и, взяв боевые патроны, итти на Сенатскую площадь. Солдаты, однако, не решились выступить. Неудача чрезвычайно поразила офицеров—один из них, капитан И. И. Богданович, в тот же день лишил себя жизни **).

Московский полк выступил перед присягой. Гренадерский полк присягнул Николаю, но, несмотря на это, присоединился к восставшим. Гвардейский Экипаж восстал во время приведения к присяге и тоже присоединился к революционным войскам.

К 9 часам в казармах Московского полка собрались офицеры-заговорщики. Наскоро обсудив план выступления, решили, не дожидаясь сбора солдат для присяги, начать восстание. В 10-м часу Щепин-Ростовский и М. Бестужев выступили перед солдатами 6-й роты, убеждая солдат отказаться от присяги Николаю. Затем они отправились в 3-ю роту, где также требовали отказа от присяги. В это время приехал А. Бестужев. Вся группа участников заговора—А. и М. Бестужевы, Щепин-Ростовский, Волков, Броке и др.—снова отправилась в казармы. Они посетили 2, 3, 5 и 6 роты и всюду выступали с агитационными речами. Закончив предварительную подготовку солдат, офицеры собрались в фельдфебельской комнате 6-й роты. Здесь было устроено совещание, после которого, солдатам был отдан приказ одеваться, захватить боевые патроны и готовиться к выходу. Офицеры разошлись по ротам и начали выводить их на ротные дворики казармы. Здесь солдаты были построены. Затем, по приказу М. Бестужева и Щепина-Ростовского, 3 и 6 роты зарядили ружья, взяли их на руку и с криком «ура» побежали на большой полковый двор. Вслед за ними направились, вместе с А. Бестужевым, 2 и 5 роты. Уже выбежав за ворота, заметили, что нет знамени. Щепин-Ростовский с частью солдат немедленно воротился назад. Как раз в это время, по приказанию полкового командира, предполагавшего приступить к присяге, на двор вышли гренадеры со знаменами. Восставшие бросились на них и после недолгой схватки отняли знамена, сломав при этом древко одного из них. С развевающимися знаменами солдаты снова бросились к выходу. Между тем, на двор выбежали полковой командир

---

*) Записки кн. С. П. Трубецкого, издание его дочерей, Спб. 1906, стр. 37—38.

**) Алфавит декабристов, Пгр. 1919, стр. 4, 23, 37—38. Ср. *А. Е. Розен*, Записки декабриста, Спб. 1907, стр. 71.

Фредерикс, бригадный командир Шеншин, полковник Хвощинский и другие офицеры. Щепин-Ростовский бросился на них с саблею в руках. Первым упал Фредерикс с разрубленной головой. Шеншин был сильным ударом брошен на землю, после чего Щепин-Ростовский нанес ему несколько ран саблею. Полковнику Хвощинскому, пытавшемуся остановить солдат в воротах, Щепин нанес три тяжелых ранения. Кое-как построившись на улице, московцы под командою Щепина-Ростовского направились в спешном порядке на Сенатскую площадь *).

Гвардейский Экипаж выступил несколько позже. Присяга в экипаже была назначена к 10 часам (к тому времени ждали бригадного командира генерала Шипова). Весь экипаж был построен на дворе. Шипов, присутствовавший при приведении к присяге двух других полков, прибыл с некоторым опозданием. Командир экипажа Качалов предупредил его о замеченном им волнении среди офицеров и матросов. Не показывая своего беспокойства, Шипов приступил к присяге. Ответив на официальное приветствие экипажа, Шипов обратился к нему с речью, в которой подробно рассказал об отречении Константина и обстоятельствах восшествия на престол Николая. Речь была выслушана «в тишине и молчании». Раздалась команда «на караул» и началось чтение манифеста. Тут долго сдерживаемое возбужденное состояние офицеров и матросов, наконец, прорвалось. Раздались голоса: «отставить, отставить». Чтение манифеста было прекращено. Шипов вызвал из строя ротных командиров. На вопрос его: «что это значит, отчего такое ослушание», лейтенанты Арбузов, Бодиско, Кюхельбекер и Вишневский заявили, что присягать Николаю экипаж не будет до тех пор, пока сам Константин не освободит их от принесенной ему присяги. После тщетных убеждений Шипов пригласил ротных командиров во внутреннее помещение и, еще раз показав им, «какое тяжкое они навлекают на себя обвинение, противясь принятию присяги, и какие от того могут быть бедственные для них последствия», арестовал их и приказал назначить других ротных командиров. В это время во двор казармы прибежали Николай Бестужев и Вильгельм Кюхельбекер. Сообщение о начавшемся восстании вызвало энтузиазм возбужденного экипажа. Послышались выстрелы со стороны Сенатской площади, еще более взволновавшие матросов. Раздались крики: «ребята, это наших бьют!». Братья Беляевы, Дивов и другие офицеры бросились освобождать арестованных ротных командиров. Все усилия Качалова и некоторых офицеров успокоить экипаж и привести его в повиновение были безрезультатны. Экипаж, во главе с Н. Бестужевым, бросился к воротам и, выстроив-

---

*) Материалы по истории восстания декабристов, т. I, стр. 396—398, 411—413, 437, 489—490. Ср. Воспоминания братьев Бестужвых, Пгр. 1917 (Воспоминания М. А. Бестужева о восстании 14 декабря).

шись на улице, направился на площадь. Появление экипажа на площади было встречено горячими приветствиями собравшихся здесь революционных войск *).

Вследствие неорганизованности, стихийности выступления, была допущена ошибка огромной важности—Гвардейский Эпикаж выступил на площадь без боевых патронов. Выстраиваясь перед присягой на дворе казарм, матросы, не имея определенного плана выступления, вышли без патрон. Только взвод, бывший при знамени, имел боевые патроны. Обстоятельство это сыграло крупную роль во время военных действий на площади.

Утром 14 декабря в казармах Гренадерского полка были налицо две роты 1 баталиона и весь 2 баталион. 3 баталион, как и во всех других полках, был расквартирован за городом, а остальные две роты 1 баталиона занимали караулы в Петропавловской крепости. Присяга в полку прошла в общем благополучно. Неудачная попытка подпоручика Кожевникова возбудить солдат во время приведения полка к присяге окончилась его арестом. Поддержать Кожевникова никто не решился. Солдаты разошлись по ротным помещениям, а офицеры отправились во дворец на торжественное молебствие. В казармах оставались полковой командир и несколько дежурных и случайно задержавшихся офицеров. В это время приехали с площади несколько офицеров, сообщившие Сутгофу о начавшемся восстании. Товарищи просили его сделать все от него зависящее для присоединения Гренадерского полка к восставшим. Сутгоф немедленно отправился в помещение своей роты, приказал одеваться, зарядить ружья и выходить на полковой плац. Не рассчитывая, повидимому, на присоединение других рот, Сутгоф повел свою роту по направлению к Сенатской площади. Узнав о выступлении роты, полковник Стюрлер бросился ее догонять. Однако все его убеждения и угрозы были тщетны: солдаты решительно отказались ему повиноваться. Рота Сутгофа через Васильевский остров прошла на Исаакиевский мост, а оттуда на Сенатскую площадь. Вернувшемуся в казармы Стюрлеру было передано приказание Николая I привести полк в боевую готовность. Несмотря на то, что большинство офицеров находилось еще во дворце, Стюрлер надеялся удержать оставшиеся в казармах роты в своем подчинении. Он приказал солдатам одеваться и выходить на улицу. Этим обстоятельством воспользовался баталионный ад'ютант Панов. Переходя из роты в роту, он убеждал солдат последовать примеру первой роты и присоединиться к восставшим

---

*) Воспоминания *С. П. Шипова*,—Русск. Архив, 1878, кн. II, с. 181—183; Записки декабриста *Д. И. Завалишина*, 2-е русское издание, стр. 190, 192—193; *А. П. Беляев*, Воспоминания о пережитом и перечувствованном,—«Русск. Старина», 1881, т. 30, стр. 495—497; *А. Дрезен*, Матросы-декабристы. «Каторга и Ссылка», 1925, кн. 4.

войскам. Колебавшиеся солдаты начали строиться перед казармами Послышался гул выстрелов. Панов начал повторять свои убеждения с новой силой. Наконец, с криком «ура» он бросился в середину колонны и, увлекая за собой солдат, побежал к Неве. Перейдя Неву по льду, отряд Панова вышел на Дворцовую площадь *). Полагая, очевидно, что дворец занят уже восставшими войсками, Панов прямо направился к главным воротам, в которых стоял сильный караул Финляндского полка.

Дворцовой комендант, думая, что Панов ведет дополнительную караульную часть, пропустил отряд во двор, где находился только что прибывший Саперный баталион. Увидя саперов, Панов закричал: «ребята, это не наши!». Затем он скомандовал: «кругом!» и бросился к выходу. Удобный для занятия дворца момент был таким образом упущен. Панов не решился вступить в бой с саперным батальоном, и его нерешительность, учитывая все обстоятельства этого эпизода, психологически вполне понятна. Но как ни ясны мотивы поведения «маленького» Панова, допущенная им ошибка чрезвычайно велика. Возможно, что в результате схватки с саперами и финляндцами сравнительно небольшой отряд Панова был бы разбит, но тактические и политические преимущества обладания дворцом были так велики, что даже и с меньшими силами Панову безусловно следовало сделать попытку занять его в боевом порядке. Выбежав из ворот, Панов повел свой отряд по Адмиралтейскому бульвару на Сенатскую площадь. Полковник Стюрлер, пытавшийся и здесь уговаривать солдат, был смертельно ранен Каховским**).

Московцы, прибыв на Сенатскую площадь в исходе 12 часа, не нашли здесь ни революционных, ни правительственных войск, Обстоятельство это было для них полной неожиданностью, так как еще в казармах восставшие получили известие, что другие полки уже находятся на площади. Не зная, что предпринять, не решаясь до прибытия Трубецкого начать самостоятельно активные боевые действия, декабристы сразу заняли оборонительное положение, построив московцев в каре. Этот шаг и был основной ошибкой, допущенной декабристами в день 14 декабря. Вместо того, чтобы итти во дворец и врасплох захватить Николая, восставшие, следуя выработанному накануне плану, остались на площади в ожидании прибытия других революционных войск. Удобный момент для завершения переворота был таким образом упущен. Гвардейские штабс-капитаны не сумели взять боевую инициативу в свои руки.

---

*) По дороге одному из ротных командиров удалось удержать часть солдат, благодаря чему отряд Панова несколько поредел.

**) *М. Корф*, Восшествие на престол имп. Николая I, 3-е издание, Спб 1857, стр. 160—164; Заметки А. Н. Сутгофа о 14 декабря 1825 г.,— «Былое», 1907, кн. 4, стр. 167—172; Записки декабриста Д. И. Завалишина, 2-е русское издание, стр. 194—195; Алфавит декабристов, Пгр. 1917, стр. 95, 159, 204.

К офицерам, прибывшим вместе с московцами, вскоре присоединились Каховский, Оболенский и другие. Оболенский, хорошо известный солдатам по должности ад'ютанта командующего гвардейской пехотой, в ожидании Трубецкого фактически занял положение главного начальника восставших войск. На приход Трубецкого долго не теряли надежды. Рылеев искал его по всему городу, но нигде не мог найти. Отсутствие «диктатора» оказало весьма отрицательное влияние на настроение восставших и тем самым внесло некоторое расстройство в их ряды. Почти с самого начала восстанием руководил Оболенский, но это было лишь фактическое, не всеми признаваемое, положение вещей. Поэтому на площади, до официального избрания Оболенского на место Трубецкого, ощущалось некоторое «безначалие и неустройство».

Вскоре по прибытии московцев на площадь, еще до прихода других войск, к каре под'ехал граф Милорадович. Приблизившись к восставшим, Милорадович пытался вступить в переговоры с ними, но в это время к нему подбежал Оболенский и, угрожая ему ружьем, приказал немедленно отойти. Милорадович, однако, не оставлял каре, и Оболенский ранил его штыком. Одновременно раздалось несколько выстрелов—стреляли солдаты и Каховский. Одним из выстрелов (вероятно, Каховского) Милорадович был смертельно ранен. Вскоре после ранения Милорадовича на площади появились первые части, оставшиеся в подчинении правительству.

Николай I, обеспокоенный уже известием о волнении в конной артиллерии, немедленно по получении донесения ген. Нейдгарда о выступлении Московского полка приказал спешно вести ко дворцу 1-ый баталион Преображенского полка. Вместе с прибывшими преображенцами Николай отправился на Сенатскую площадь. На площади Николай застал одних московцев, выделивших стрелковую цепь, которая никого не пропускала к восставшим. Никаких других войск еще не было. Первым прибыл Конный полк. Полк был поставлен против восставших, правым флангом к памятнику Петру I, а левым к забору строившегося Исаакиевского собора. Первая рота Преображенского полка заняла всходы Исаакиевского моста, имея задание отрезать сообщение с Васильевским островом. Всеми операциями руководил сам Николай I, сделавший даже попытку приблизиться к восставшим и лично рассмотреть их расположение. Он был встречен беглым ружейным огнем. Учитывая серьезность создавшегося положения, Николай вызвал все войска, находившиеся в Петербурге и его окрестностях. Плацдармом правительственных войск была назначена Адмиралтейская площадь, смежная с Сенатской. Строго выполняя выработанный им план окружения восставших частей, Николай пристроил 1 и 2 Преображенские баталионы к Конному полку и поставил часть Московского полка, оставшуюся верной правительству, вблизи Конного полка. Артиллерия была поставлена около Преображенского полка, со стороны Адмиралтей-

ского бульвара. Кавалегарды были оставлены в резерве у дома Лобанова. Таким образом был создан сплошной фронт от Невы до Исаакиевского собора. На противоположную сторону были посланы Семеновский полк и часть Павловского полка. Семеновцы были поставлены у конно-гвардейского манежа, а павловцы с одним взводом конно-пионерного эскадрона на Галерной улице. Командование этой частью правительственных войск было поручено в. кн. Михаилу Павловичу. На Английской набережной около моста были поставлены три взвода конно-пионерного эскадрона. Несколько позже других частей прибыли Измайловский и Егерский полки. Хотя в Измайловском полку во время присяги и обнаружился «беспорядок и нерешительность к присяге», Николай, желая вполне обеспечить тыл, велел ген.-ад'ютанту Левашову ехать в полк, при чем дал ему следующую инструкцию: «буде есть какая-либо возможность двинуть его, хотя бы против меня, непременно вывести его из казарм». Маневр этот вполне удался Николаю—измайловцы, явившись на площадь, отдали Николаю честь, не обнаружив никаких признаков волнения. Николай приказал им зарядить ружья и послал их к дому Лобанова, где они оставались во все время военных действий в виде резерва. Прибывший вслед за измайловцами л.-гв. Егерский полк был оставлен на Адмиралтейской площади, против Гороховой улицы, за пешей артиллерийской бригадой. В резерве был оставлен также л.-гв. Казачий полк, расположившийся на дворцовой площади. Для охраны дворца был выделены два саперных баталиона—гвардейский и учебный.

Кроме войск, находившихся в Петербурге, Николай вызвал квартировавшие в окрестностях города 3-ие баталионы гвардейских пехотных полков и л.-гв. Уланский, Драгунский и Гусарский полки. Все эти части, кроме л.-гв. Драгунского полка, были остановлены в недалеком от города расстоянии, ввиду неожиданно скорой ликвидации восстания. Драгунский полк был введен в город уже после разгрома восставших войск для раз'ездов. Но, не считая даже этих загородных частей, войска, бывшие в распоряжении Николая, представляли собою весьма значительную силу. Численность правительственных войск превышала численность восставших более чем в 4 раза *). При этом у Николая было огромное преимущество—на его стороне была вся кавалерия и артиллерия.

Численностью правительственных войск совершенно подавляли восставших. Но у революционеров был мощный союзник, союзник, которого Николай боялся больше, чем каре на Сенатской площади. Этим союзником был народ или, точнее, рабочие, приказчики, писцы, мелкие лавочники и просто «никаких способов к пропитанию не

*) В распоряжении декабристов было около 4-х рот Московского полка, несколько более батальона Гренадерского полка и Гвардейский Экипаж.

имущие». Народные массы стекались на площадь и здесь, открыто заявляя себя на стороне восставших, толпились около них, взбирались на крыши находившихся вблизи зданий и занимали заборы вокруг строившегося собора. Особенно активные вооружались чем могли. Горский в своей оправдательной записке рассказывал, как к восставшим «со всех сторон бежал народ с поленьями и дручьями в руках» *). Это единственное доступное оружие пускали в ход при всяком удобном случае. Приближалась ли кавалерия, под'езжал ли близко какой-нибудь генерал — тотчас же сыпался град камней и поленьев. Особенно охотно расправлялись с полицейскими, пытавшимися «успокаивать» народ, но не упускали случая избить до полусмерти и обыкновенного офицера, если только он не выражал сочувствия восставшим. Не пощадили и самого «помазанника божия»—едва Николай со своей свитой показался на открытом месте, рабочие Исаакиевского собора стали бросать в него поленья **). Возбужденное состояние народа становилось все более и более угрожающим. Организованное военное восстание неуклонно превращалось в стихийную массовую революцию.

Как же отнеслись декабристы к появлению столь сильного и верного союзника? Факты показывают, что декабристы всячески поддерживали благоприятное для них настроение народных масс. На площади среди народа декабристы вели агитацию, раз'ясняли цель восстания и т. д. При каждой попытке войск и полиции оттеснить народ от восставших, декабристы неизменно выступали ему на помощь. Так, например, когда кавалерия начинала разгонять толпу народа, собравшуюся вокруг каре, декабристы приказывали солдатам стрелять. Еще на пути к Сенатской площади солдаты, по приказанию Щепина-Ростовского, избили прикладами полицейского офицера за то, что он отгонял народ от московцев. Таким образом декабристы, находя в народе опору своему делу, всеми силами старались ее сохранить. Однако дальше этого декабристы не пошли. Они не привлекли народ к активному революционному сотрудничеству, не организовали народные массы, стекавшиеся к ним на площадь. Твердо придерживаясь принципа военного восстания, декабристы не считали нужным и целесообразным превратить его в народную революцию. Для народа, но не через народ — таков был лозунг 14 декабря.

Николай I не преминул воспользоваться этим лозунгом. Прежде чем он приступил к решительным военным действиям против восставших, он позаботился об устранении народа. Возбужденное состояние народных масс с каждой минутой прогрессировало, но, не

*) Записки ст. сов. *О. В. Грабе-Горского*,—«Девятнадцатый Век», кн. I, М. 1872, стр. 204.

**) *П. Е. Щеголев*, Николай I и декабристы, Пгр. 1919, стр. 60 (Записки Николая I).

находя никаких организационных форм, оно не могло реализироваться в стратегически непреодолимую силу. Применяя метод разрознения сил совокупными усилиями полиции и войск, удалось вытеснить народ за боевое кольцо, окружавшее восставших. Вооруженная помощь, оказанная декабристами, не трогавшимися, однако, с места и не переходившими в наступление, в конечном счете не могла служить серьезным препятствием для этого. Нужно сказать, что декабристы отнеслись к устранению народа без особенного сожаления. Им было совершенно достаточно того, что народ оказался на их стороне. Это давало им нравственную поддержку, а ничего большего они и не хотели. Мы знаем, что в плане восстания народу отводилась роль «сочувствующего» зрителя, а не активного участника.

Но если декабристы не рассчитывали на помощь народа, то в чем же состоял их конкретный план действия на площади? На кого рассчитывали декабристы, находившиеся в окружении, численностью превышавшем восставших более чем в 4 раза? Как это ни странно на первый взгляд, восставшие рассчитывали исключительно на своего противника. Мы знаем, что, придя на площадь и упустив удобный момент для начала боевых операций, восставшие заняли оборонительную позицию. Вначале это было огромной тактической ошибкой, но затем, когда восставшие очутились в кольце правительственных войск, никакой другой позиции они занять уже не могли. Но, допустив в самом начале восстания столь существенную ошибку, декабристы не думали, что все потеряно. Они видели, как солдаты полков, находившихся на стороне Николая, неуклонно революционизировались, как возбужденное состояние восставших все более и более передавалось противнику. Пассивное состояние николаевских войск декабристы об'ясняли невозможностью двинуть гвардию на восставших. Слабые кавалерийские атаки вполне оправдывали это соображение—декабристы видели явное нежелание солдат действовать против них. Декабристы имели и прямые доказательства благоприятного для них настроения правительственных войск—им беспрерывно передавали через народ и через нестроевых чинов различных полков уверения в сочувствии их делу и настоятельные предложения продержаться до сумерок, когда все полки перейдут на сторону восставших *). Декабрист М. Бестужев в своих воспоминаниях говорит, что восставшие особенно рассчитывали на присоединение измайловцев, ожидавших «с минуты на минуту удобного случая, чтобы соединиться» с ними, на преображенцев и конногвардейцев, которые через народ, окружавший каре, сообщали о своем намерении выступить против Николая. Большие надежды возлагали декабристы и на финляндцев, открыто отказавшихся по-

*) Записки декабриста *Д. И. Завалишина*, 2-е русское издание, стр. 196—197.

виноваться начальству *). Все это подсказывало определенный план дальнейшего развития восстания. Декабристы решили, твердо сохраняя свое оборонительное положение, ждать наступления сумерок, после чего при поддержке достаточно к тому времени революционизировавшихся правительственных войск перейти в наступление. Все свои силы декабристы бросили на агитацию. Поддерживая и укрепляя при помощи агитации революционный дух своих войск, декабристы особенное внимание обратили на агитацию среди войск, оставшихся верными Николаю I-му. Для этого декабристы пользовались всяким удобным случаем: высылали нижних чинов и наиболее подходящих для этой цели людей из окружавшей каре толпы народа, сами выступали перед приближавшимися к каре николаевскими частями и т. д. По словам придворного историка, к поставленной у Исаакиевского моста роте Преображенского полка из каре несколько раз высылали нижних чинов для переговоров. С большим трудом фельдфебель и некоторые из унтер-офицеров «отгоняли этих людей или удаляли посредством убеждения **). Но особенно действительной была агитация, производимая по собственному почину народом, обступавшим правительственные войска. Народ требовал от солдат немедленного присоединения к восставшим.

Подготовляя почву для решительного наступления, декабристы в то же время приводили в боевую готовность свои части и в чисто военном отношении. Они производили необходимые перестроения, обсуждали план атаки, оформили фактическое положение Оболенского избранием его главным начальником на место Трубецкого. Технически эта организационная работа проводилась, однако, недостаточно удовлетворительно. События развивались слишком быстрым темпом, и это вносило сумятицу и беспорядок в подготовку наступления. Картечь застала декабристов неподготовленными окончательно к наступлению. Николай I сумел предупредить декабристов.

На разгром восставших при помощи артиллерии Николай решился не сразу. Он несколько раз пытался вступить с ними в переговоры. Но ни Михаил Павлович, ни митрополит Серафим, ни царские генералы и ад'ютанты не могли добиться желаемого результата. Пробовал Николай разогнать каре атаками кавалерии, однако и это оказалось бесполезным. Восставшие без особого напряжения отражали натиск кавалерии, не проявлявшей, впрочем, никакой враждебности по отношению к ним и видимо неохотно выполнявшей задание начальства. Между тем, положение на площади принимало

---

*) См. *А. Е. Розен*, Записки декабриста, Спб. 1907; *Ф. Ростковский*, История л.-гв. Финляндского полка, отдел I, Спб. 1881, стр. 282—290, Записки гр. *Е. Ф. Комаровского*, Спб. 1914, стр. 240—242.

**) *М. Корф*, Восшествие на престол имп. Николая I, 3-е издание, Спб. 1857, стр. 168.

угрожающий характер. Восставшие явно готовились к наступлению. В рядах правительственных войск начиналось тревожное колебание. Толпы народа становились все более и более активными, стремясь проникнуть сквозь цепь правительственных войск на Сенатскую площадь. Угрожающий гул голосов становился все громче и громче. Царских генералов охватил ужас. Они требовали от растерявшегося Николая приказания стрелять по восставшим картечью. Генерал-ад'ютант Васильчиков категорически заявил Николаю: нельзя терять ни одной минуты, необходимо пустить в ход картечь. Окончательно струсивший Николай приказал стрелять.

Первый выстрел со стороны Адмиралтейского бульвара ударил в здание Сената. Восставшие ответили на него неистовым криком и беглым огнем. Следующие выстрелы быстро следовали один за другим сразу с двух сторон—со стороны бульвара и манежа. Выстрелы, осыпавшие картечью каре и производившие в рядах страшное опустошение, предупредили атаку восставших. Часть бросилась на Семеновский полк, но была встречена огнем стоявшего здесь орудия. Другая часть, главным образом матросы Гвардейского Экипажа, которых декабристы тщетно пытались остановить и направить на правительственные войска, преследуемая картечью, в беспорядке бежала вдоль Галерной улицы. Часть московцев, во главе с М. Бестужевым, смяв атаковавший их конно-пионерный эскадрон, бросилась на Неву. Здесь Бестужев начал строить московцев для наступления на крепость, но ядра противника проломили лед и московцам пришлось отступить на противоположный берег. Кавалерия преследовала восставших, обезоруживая разрозненные группы солдат. Немедленно же были приняты меры к разысканию и аресту «мятежников». Весь прилегающий в Сенатской площади район был оцеплен правительственными войсками.

Отдельные команды врывались в дома и захватывали укрывшихся в них офицеров и солдат. Кое-где было оказано сопротивление, но оно быстро преодолевалось противником. К вечеру восстание было окончательно ликвидировано.

Е. В. Сказин.

Восстание Черниговского полка.

В одну телегу впречь не можно
Коня и трепетную лань.
А. Пушкин.

Восстание Черниговского полка неполно отражено в документальном материале. Доклад Аудиториатского Департамента с подробной передачей показаний подсудимых, дело С. Муравьева-Апостола, где несколько раз излагается фактический ход восстания, правительственная переписка по делу о восстании—основные документы, дошедшие до нас. Они имеют ряд отрицательных черт: аудиториатский доклад нельзя сверить с подлинниками дел, так как южное делопроизводство до нас не дошло: нет личных дел ни Сухинова, ни Кузмина, ни Щепиллы, ни барона Соловьева. С. Муравьев-Апостол давал показания тяжело раненый и умышленно искажал события, стремясь взять вину на себя и выгородить товарищей. Переписка во время восстания рисует правительственное настроение и ход усмирения, отражая лишь внешнюю сторону дела и не обрисовывая внутренней жизни восстания. Главные участники восстания—С. Муравьев-Апостол, Кузмин, Щепилло, Ипполит Муравьев—не оставили своих мемуаров; И. И. Сухинова можно причислить к ним же. Воспоминания Матвея Муравьева полны фактических ошибок и неточностей, это понятно, если поверить преданию *), что он прятался во время восстания в обозе. Точный и богатый фактами рассказ Горбачевского все же неполон, написан не очевидцем и много времени спустя после восстания. Вероятно, эти особенности документария и цензурные преграды были главными причинами отсутствия в литературе как полного и точного изложения фактов, так и изучения внутренней стороны восстания. Настоящая статья не преследует первой цели. Ее задача—общий очерк противоречивой внутренней жизни восстания с выделением основных его этапов.

Мысль о начале революции хорошо была знакома Южному Обществу. По словам С. Муравьева-Апостола, оно решалось действо-

---

*) См. Записки декабриста *Горбачевского*, М. 1916, стр. 160.

вать трижды: в первый раз в 1823 году, когда 9 дивизия стояла при Бобруйской крепости, во время предполагаемого царского смотра С. Муравьев-Апостол с некоторыми товарищами положили овладеть государем и потом с дивизией двинуться на Москву, но замысел выполнен не был. Во второй раз решено было действовать в 1825 году при сборе корпуса под Лещиным, когда у полковника Швейковского отняли полк; неуверенность в успехе заставила отложить действия, но с обещанием, что 1826 год никак не будет пропущен. Это третье намерение решено было выполнить во время ожидаемого соединения 37 корпусов для царского смотра. Общество Соединенных Славян только и думало о восстании: члены поклялись действовать, вели подготовку солдат. Этим полна их переписка, из которой до нас дошли небольшие отрывки, это—основное содержание их настроения. Горбачевский вспоминает, что для них не было ни страха, ни преград, что в душе у них «только и было одно слово действовать, с исступлением каким-то бешеным и с отчаянием». Особенно горел этим желанием славянский актив Черниговского полка—офицеры Сухинов, барон Соловьев, Кузмин и Щепилло.

Нам мало известна личность этих славян, особенно последних троих. Кузмин и Соловьев были старыми членами общества, Сухинов был принят позже. Все четверо вошли в тайное общество помимо С. Муравьева-Апостола. Когда последний узнал от Спиридова, что славяне принимают членами офицеров Черниговского полка, то он остался очень недоволен, «осуждал» и находил неуместной «сию деятельность» и заявил, что «вовсе не желает, чтобы принимали в общество его полка офицеров, которых он лично знает и коих, по его мнению, можно возбудить к восстанию, об'явив об этом накануне дела». Об этом вспоминает Горбачевский. Отсюда ясно, что особой близости между С. Муравьевым и славянами не было, на следствии он усиленно подчеркивал, что славян в общество не принимал. Случай этот—одно из многих проявлений глубокой розни между славянами и членами Южного Общества. Первые—скромные армейские офицеры, почти сплошь безземельные дворяне без крестьян, живущие на жалованье, зачастую терпящие крайнюю нужду, чуждые сословных предрассудков и твердо усвоившие мысль о «чистой демократии». Они, представители нарождающегося разночинного слоя, не могли понять революции без народа, им чужда была мысль о «военной революции», так хорошо усвоенная Южным Обществом. И вообще по духу и по социальному составу оно было чуждо славянам: там преобладали военные в крупных чинах, дворяне более знатного происхождения, хорошо обеспеченные материально, владельцы земли и крестьян, уверенные в том, что революция будет сделана только войском, послушным их приказанию. В Южное Общество сначала даже принимали исключительно военных в больших чинах, славяне же с самого основания общества принимали всех без различия—военных, отставных, штатских, без различия

чинов и сословий: единственный крестьянин-декабрист, Павел Фомич Выгодовский—член Общества Соединенных Славян. Похож на него и Сухинов, человек «вольного состояния», живший по-крестьянски, подделавший, как и Выгодовский, документ о дворянстве. События, сопутствовавшие слиянию двух обществ—непрерывный ряд иллюстраций глубокой социальной и идеологической розни между Южным обществом и Обществом Соединенных Славян. Посредник между ними, член первого и близкий друг С. Муравьева—М. Бестужев-Рюмин, держался со славянами скорее как начальник, чем как равный. Один случай особо характерен: однажды заседание по вопросу о слиянии было внезапно перенесено в другое место, и Бестужев взялся предупредить об этом славян из Черниговского полка. Обещания своего он не выполнил, и славяне на заседание не попали. Возмущению их не было границ. Они сразу поняли, что их хотят удалить от общества, как «опасных или беспокойных людей»*).

Об'яснение славян с Муравьевым было бурным.

«Черниговский полк,—в бешенстве вскричал Кузмин, обращаясь к Муравьеву,—не ваш и не вам принадлежит. Я завтра взбунтую не только полк, но и целую дивизию. Не думайте же, г-н подполковник, что я и мои товарищи пришли просить у вас позволения быть патриотами». Сухинов в сильном гневе крикнул оправдывавшемуся Бестужеву-Рюмину о Сергее Муравьеве: «Если он когда-нибудь вздумает располагать мною и моими товарищами, удалять нас от тех, с которыми мы быть хотим в связи, и сближать с теми, которых мы не хотим знать, то клянусь всем для меня священным, что я тебя изрублю в мелкие куски. Знай навсегда, что мы найдем дорогу в Москву и Петербург. Нам не нужны такие путеводители, как ты и... (тут он взглянул на С. Муравьева)» **).

Этот случай—грозный предвестник тех непримиримых противоречий, которые развернулись во время восстания Черниговского полка.

Особо выдается среди славян Черниговского полка И. И. Сухинов: его горячность, отвага и беззаветная преданность революционному делу были хорошо известны С. Муравьеву. Конечно, ничто не могло сближать этого романтика-мечтателя, даже думавшего по-французски, человека с утонченнейшим парижским образованием и представителя старинного аристократического рода, с совершенно земным и прозаическим, не шибко грамотным Сухиновым, человеком «вольного состояния». Он был слишком выдающейся фигурой, чтобы не остановить на себе внимания Муравьева. Несколько глухих намеков на его неприязнь к Сухинову сохранены источниками.

---

*) Записки *Горбачевского*, 37.
**) Там же, 39.

Сухинов много раз говорил с Муравьевым о восстании. Готовность черниговских офицеров взбунтовать полк и без него, Муравьева, последнему была хорошо известна. Повидимому, решительное настроение Сухинова, а может быть и какое-то его революционное решение заставляют Муравьева принять меры, чтобы удалить из полка опасного соперника. Он старается о переводе его в Александрийский гусарский полк и даже дает ему 1.200 рублей на обмундирование*). Этот перевод состоялся, и в ноябре 1825 г. Сухинов получил приказание немедленно туда отправиться, но, «несмотря на все угрозы начальства..., Сухинов не выезжал из Черниговского полка, единственно дожидаясь восстания оного»,—пишет Горбачевский. Очевидно, Муравьев не хотел иметь его при себе в начале действий.

21 декабря М. Бестужев - Рюмин приехал в Васильков к С. Муравьеву. Он только что получил известие о смерти матери и хотел получить отпуск в Москву для свидания с отцом, в чем нужна была ему помощь Муравьева, любимца генерал-лейтенанта Рота: бывшие семеновские офицеры не могли ни выходить в отставку, ни получать отпусков, ни быть переводимы в следующий чин. Полковник Тизенгаузен сам не мог отпустить его, но, чтобы дать ему случай попытать счастья через протекцию Муравьева, послал его из Бобруйска в Киев для принятия полкового жалованья. Жалованье уже было принято квартирмейстером и, донеся об этом Тизенгаузену, Бестужев из Киева направился в Васильков.

С. Муравьев, оставив его в Василькове, поехал в Житомир к генерал-лейтенанту Роту, подав предварительно просьбу Бестужева генералу Тихановскому по команде—командующему дивизией (22 декабря). В Житомир Сергей Муравьев поехал с братом Матвеем: он хотел воспользоваться поездкой, «дабы посетить на праздники Ал. и Ар. Муравьевых, по данным мною им еще в Лещине обещанию». Выехали они 24 декабря. На последней перед Житомиром станции братья встретили сенатского курьера, развозившего листы для присяги Николаю I. Он сообщил им первый о событии 14 декабря.

Можно представить себе волнение братьев. Оно усиливалось мыслью, что и Южное Общество, вероятно, открыто.

Сведения об этом носились в воздухе еще до ареста Пестеля. Обстоятельства уже начинали складываться так, что восстание становилось единственным выходом. За обедом у генерал-лейтенанта

*) Правда, возможно предположить, что С. Муравьев хотел иметь в этом полку своего человека на случай восстания: командир полка к заговору не принадлежал. Но против этого — малый чин Сухинова (С. Муравьев—сторонник военной революции), и свидетельство Горбачевского, что Сухинов нарочно медлил с переездом в новый полк именно по причине ожидания восстания черниговцев.

Рота еще раз подтвердилось сообщение сенатского курьера. Не имея еще никакого определенного решения, братья продолжают намеченный путь и приезжают в Траянов к Александру Муравьеву, который не был членом общества. Граф Шуазель только что получил из Петербурга письмо, где подробно описывалось восстание 14 декабря. Вероятно, именно к этому визиту в Траянове и относятся слова Матвея Муравьева в его воспоминаниях: «Во время стола не было другого разговора, кроме как о петербургском событии: поминали о смерти графа Михаила Александровича Милорадовича» *). Осознавалась необходимость действовать. Под предлогом необходимости спешить в Васильков для присяги, братья распрощались с Александром и отправились в Любар к Артамону, но определенного плана действий еще не было. Бестужев-Рюмин нагнал Муравьевых как раз в Любаре и сообщил про приказ об аресте и о погоне за ними жандармов. Дело было так: 25 декабря к командиру Черниговского полка Гебелю прискакали два жандармские офицера—поручик Несмеянов и прапорщик Скоков. Они передали ему секретное предписание начальника Главного Штаба I армии генерал-ад'ютанта барона Толя немедленно арестовать С. Муравьева-Апостола и опечатать его бумаги. Ни минуты не медля, Гебель с жандармами прискакал к квартире Муравьева, где в то время спал Бестужев-Рюмин и разжалованый в рядовые офицер-семеновец Башмаков. Бумаги, письма и книги Муравьева были забраны, и жандармы с Гебелем ушли, не сказав ни слова. Жандармы с Гебелем утром 26 поехали в Житомир разыскивать Муравьева.

Через несколько минут после обыска к изумленному Бестужеву-Рюмину вбежали четыре славянина, бывшие на балу. Приезд жандармов сразу дал им понять, что ударил час восстания и что надо на что-нибудь решаться. Что привезен приказ об аресте Муравьева, было всем очевидно после обыска. Сейчас же с бала славяне бросились собирать хотя несколько солдат, чтобы арестовать Гебеля, но был праздник, ночь, все солдаты разошлись по деревням. Решено было, что Бестужев-Рюмин сейчас же поедет, стремясь обогнать жандармов, к Муравьеву, чтобы предупредить его о грозящем аресте, а славяне все будут приготовлять к восстанию. Все было выполнено с такой скоростью, что Бестужев четвертью часа раньше Гебеля был на первой станции и нагнал Муравьева и Любаре **). Тем временем жандармы и Гебель, узнав в Житомире, что Муравьевы уехали, бросились по их следам в Любар по Берди-

---

*) Сам М. Муравьев относит это к пребыванию у Рота, но это едва ли верно: писавший свои показания по горячим следам происшествий его брат Сергей сообщает, что в Житомире они обо всем узнали глухо и без всяких подробностей.

**) Несколько спустя таким же образом Андреевич был послан для поднятия полков.

чевской дороге, но никого не застали и там. У корчмы они с'ехались с жандармским поручиком Лангом: генерал-лейтенант Рот только что получил приказ об арестовании Бестужева-Рюмина и Ланг только что был в Бердичеве, где «хозяин квартиры» Бестужева сказал, что он уехал в Любар. Гебель сообщил Лангу, что там Бестужева нет, и все ищущие отправились в Бердичев, где узнали, что Муравьевы направились к местечку Паволочь. Тут жандармы решили разделиться: Ланг остался с Гебелем, а Несмеянов и Скоков раз'ехались в разные стороны искать Муравьевых.

В Любаре, когда мысль Муравьевых и Бестужева лихорадочно работала в поисках планов действий, возникло даже намерение «скрыться» где нибудь, по-просту, бежать от надвигающейся революционной грозы. Но эта мысль была отвергнута: «обдумав, что мы несомненно будем найдены, Муравьев решился действовать, надеясь на вспомоществование прочих членов общества». Из Любара Муравьевы вместе с Бестужевым направились через Бердичев на Паволочь. Дорогою отчаявшийся Матвей Муравьев предлагал всем застрелиться. Сергей колебался, а Бестужев-Рюмин, желая отклонить их от этой мысли, предлагал попытаться скрыться в лесах и застрелиться лишь в том случае, если они увидят, «что нет другого спасения». Определенного решения поднять восстание еще не было.

Гебель с Лангом узнал в Паволочах, что Муравьевы выехали на Фастов. Гонка продолжалась. По дороге из Паволочи на Фастов Гебель с Лангом остановились в селении Трилесах кормить лошадей. Они зашли на квартиру поручика Кузмина, командовавшего 5 ротой Черниговского полка, который, как мы знаем, был в то время в Василькове, чтобы узнать, где Муравьевы. В квартире было темно. Гебель и Ланг зажгли огонь, вошли в квартиру и... увидели там Сергея Муравьева.

Он стоял среди комнаты, совсем одетый, хотя было уже 4 часа ночи. Матвей спал в соседней комнате на кровати. Расставив вокруг дома стражу, Гебель попросил Матвея одеться и затем прочел Муравьевым приказ об их аресте. Братья наружно приняли приказание спокойно. Пригласили Гебеля напиться чаю, «на что он охотно согласился».

Наступало утро. От денщика Кузмина Гебель узнал, что Бестужев-Рюмин куда-то выехал накануне вечером и что Муравьевы наказывали ему непременно возвратиться в Трилесы на рассвете. Поэтому Гебель стал ждать возвращения Бестужева, желая захватить вместе всех.

Но он не знал, что в тот же вечер, когда уезжал Бестужев, С. Муравьев послал в Васильков к поручику Кузмину записку, в которой просил Кузмина приехать в Трилесы, никому не разглашая о присутствии там Муравьева. Кроме Кузмина, приглашались еще барон Соловьев и Щепилло, но Сухинов не был приглашен.

В ночь на 29 декабря Кузмин получил записку от Муравьева. Настроение его и других славян, бывших с ним неразлучно, было до крайности возбужденное. Они все время колебались — начать ли действовать без Муравьева или ждать от него известий, — и вдруг известия пришли. Сразу стало ясно, что момент действий настал. Мигом были оседланы лошади. Сухинов поехал с ними, хотя Муравьев и не звал его. Славяне подозревали, что может быть Гебель нагнал С. Муравьева в Трилесах и арестовал его. Единодушно решено было Муравьева освободить: он был необходим для начала восстания. Славяне, давно решившиеся действовать, были, как всегда, очень последовательны: они знали, что повлечет за собою освобождение Муравьева. Предполагая, что Гебель поедет с арестантом в Васильков, куда из Трилес вели две дороги—большая и проселочная—славяне, чтобы не пропустить его, разделились: Кузмин и Щепилло поехали проселочной дорогою, а Соловьев и Сухинов—большой. Первыми приехали Кузмин и Щепилло, вскоре—Сухинов и Соловьев. Это было на рассвете.

Сергей Муравьев рассказывает дальше, что Кузмин, войдя в комнату, спросил у Матвея, — что делать. На это Матвей отвечал «ничего», а Сергей сказал: «Освободить нас». В эту минуту возвратился расставлявший часовых Гебель и набросился с криком на приехавших офицеров, как посмели они говорить с арестантом и отлучаться от своих рот. Кузмин напомнил Гебелю, что он у себя на квартире, и все вместе отказались ему повиноваться. Гебель взволновался, у него зародились подозрения. Он послал поручика Ланга узнать, готовы ли лошади, но как только Ланг, отворяя дверь, хотел войти в избу, где были караульные солдаты, туда в то время вошли черниговские славяне, чтобы об'явить солдатам роты Кузмина о восстании. «Успех был неимоверный: солдаты из'явили готовность во всем повиноваться своим офицерам» *). Щепилло и Соловьев вышли в сени, отделявшие избу караульни от помещения арестованных и стали совещаться о начале предприятия. Увидя Ланга, направлявшегося к караульне, Щепилло, думая, что он подслушал их разговор, схватив солдатское ружье, стоящее у дверей, хотел пронзить Ланга со словами: «Этого первого надо убить». В это время в сенях был и Сухинов. Ланг успел спрятаться за дверь и держал ее до тех пор, пока Щепилло «не отстал от оной». Гебель отдавал в то время приказания солдатам в караульне на случай бегства Муравьевых и не успел еще кончить, как в кухню вошли все четыре славянина и потребовали у Гебеля отчета, за что арестован Муравьев. Тот отвечал, что это не их дело. Щепилло с криком: «Ты, варвар, хочешь погубить Муравьевых», схватил из рук одного из стоявших там караульных ружье и «пробил Гебелю штыком грудь». Остальные три славянина также схватили ружья. Гебель кричал солдатам, чтобы их кололи, но

*) Записки *Горбачевского*.

те, уже подготовленные, не двинулись с места. Славяне бросились за Гебелем во двор и стали колоть его штыками. Сергей Муравьев, услыша шум, разбил окно и выскочил на улицу вместе с братом. «Часовой, стоявший у окна сего, преклонив на меня штык, хотел было воспрепятствовать мне в том, но я закричал на него и вырвал у него ружье из рук». Налево от квартиры Муравьев увидел Гебеля в борьбе с Кузминым и Щепиллою. Сергей нанес Гебелю штыком рану в живот. Гебель вырвался и побежал. Нагнавший его Щепилло переломил стволом ружья правую руку Гебеля между кистью и локтем и нанес несколько ударов и сильную рану штыком. Гебель «в жару» бросился на него, вышиб ружье и побежал к корчме. Раньше чем офицеры нагнали его, он вскочил в стоявшие около нее порожние крестьянские сани с парой лошадей, погнал их, истекая кровью. В догонку за Гебелем был послан Сухинов и поворотил лошадей назад. Но встретившийся рядовой 5 мушкетерской роты Иванов, вскочив в сани и узнав от Гебеля, кто он, привез его, по приказанию его, к корчме, несмотря на все запрещения и угрозы Сухинова, приказывавшего Иванову везти на ротный двор... Иванов доставил Гебеля в господский дом и оттуда степью в селение Снитинку в 1-ю гренадерскую роту к капитану Козлову. «Вероятно уже оттуда Гебель был перевезен к себе на квартиру в Васильково».

Теперь и для Сергея Муравьева стало ясно, что выхода нет и нельзя думать ни о бегстве, ни о самоубийстве: надо действовать *). С оттенком скрытой досады и с сильным искажением передает его брат Матвей в своих воспоминаниях: «Обстоятельства так сложились, что восстание непредвиденное, неприготовленное, было уже свершившимся фактом, вследствие грубого, безрассудного обхождения Гебеля с офицерами, уважения которых он не мог снискать. Солдаты ненавидели его, сочувствовали своим офицерам, питали к ним полное доверие, а тем более к Сергею Ивановичу. Они ему говорили, что готовы следовать за ним, куда бы он их ни повел. Офицеры, нарушившие закон военного повиновения, ожидали его решения. Покинуть их значило бы отказаться разделить с ними горькую долю, их ожидавшую, и якобы поэтому С. Муравьев и решился на восстание». Сам Сергей приписывает огромное значение происшествию в Трилесах: «Происшествие в Трилесах решило все мои сомнения; видя ответственность, коей подвергли себя за меня четыре сии офицера, я положил, не отлагая времени, начать возмущение и, отдав поручику Кузмину приказание собрать 5-ю роту и итти на Ковалевку, сам поехал вперед для сбора 2-ой Гренадерской роты. Соловьеву же и Щепилле приказал из Ковалевки ехать в свои роты и привести их в Васильков». Таким образом, даже в своеобразной передаче Муравьевых—славяне остаются последней, непосредственной причиной действия. Ни радости, ни благодарности им за освобождение от аре-

---

*) Показания С. Муравьева-Апостола.

ста и возможность начать восстание у Муравьевых нет. Сергею Муравьеву действительно «ничего не оставалось», как стать во главе восстания. Итак, инициатива восстания Черниговского полка принадлежит славянам и первые организационные меры для проведения этого в жизнь (посылка Бестужева за Муравьевым и посылка Андреевича) приняты ими. Колебаний у них не было. С. Муравьев же с братом и Бестужев колебались даже после принятого в Любаре решения, думали о бегстве и самоубийстве.

До сих пор приходилось довольно подробно излагать события: необходимо было установить непосредственную причину восстания. В дальнейшем можно не останавливаться на подробностях и следить лишь за общими линиями дела. Вечером 29 декабря 5 рота пришла в Ковалевку. Была сильная метель, и Муравьеву с солдатами пришлось там переночевать. Из Ковалевки Муравьев послал унтер-офицера Какаурова в Белую Церковь к подпоручику 17 егерского полка Вадковскому, уведомляя его, что все открыто, что восстание в Черниговском полку началось и что необходимо содействие 17 егерского полка; он просил Вадковского приехать для переговоров в Васильков, куда сам Муравьев выступил с двумя ротами—5 мушкетерской и 2 гренадерской по утру 30 декабря. По дороге, в Мытнице, недалеко от Василькова его нагнал приехавший из Брусилова Бестужев. Появление восставших сильно взволновало жителей Василькова: они еще раньше узнали о возмущении. По приказанию приехавшего с конвоем того же 30 декабря (до прихода Муравьева, были всюду усилены караулы, а барон Соловьев и Щепилло взяты под арест). Заметим, что, начиная с Трилес, Сухинов ни на минуту не покидал Муравьева и в Васильков не поехал, а остался при нем в Ковалевке.

В Василькове Муравьев провел около суток: пришел туда утром 30 декабря, выступил в Мотовиловку 31 дек. Первый этап восстания, полный колебания, нерешительности, действий мало-осознанных и вызванных случайными обстоятельствами, кончился. Васильков был началом нового этапа. Здесь Муравьев увидел себя во главе пяти рот (не доставало 1 гренад. и 1 мушкет.), и здесь впервые пришлось вырабатывать сознательный план восстания. Тут-то окончательно выявились и определились противоречивые силы восстания, два боровшиеся в нем течения: южане во главе с Муравьевым и славяне во главе с Сухиновым.

Перед восстанием сразу стало две задачи: во-первых, внутренне спаять восстание, привлекать участников, держать в повиновении примкнувших, регулировать внутреннюю жизнь восстания, заботиться об его рессурсах, о провианте, деньгах, фураже. Вторая огромной важности задача—выработка плана действий.

Кто решал обе задачи? Документы дают несомненные указания, что сам собой сложившийся военный совет, руководивший восстанием, состоял из трех братьев Муравьевых (в Васильков приехал

еще Ипполит Муравьев, но, как незнакомый с положением дел, большой роли в этом совете не сыграл) и четырех офицеров-славян: И. И. Сухинова, А. Кузмина, Щепиллы и бар. Соловьева.

Обе основные задачи, вставшие перед восставшими, решались по разному представителями обоих течений. Отсутствие внутреннего единства деятелей—главнейшая причина неудачи восстания. Разногласие прежде всего проявилось в создании планов дальнейших действий. Тактика Муравьева была выжидательной. Он все время ожидал присоединения новых восставших частей. Особенностью этого ожидания была надежда, что полки, высланные против него, к нему же и присоединятся. Он все время стремился узнать, кого же именно пошлют его усмирять. Эта особенность поставила его в ложное и в корне противоречивое положение бунтовщика, жаждущего встретиться с усмирителями бунта. Необходимо подчеркнуть, что ставка Муравьева была на южных членов. Он совершенно проиграл ее: поездка Бестужева-Рюмина кончается неудачей: очевидно, и в поддержке отказали и Кременчугский и Алексопольский полки. Еще ранее обманула надежда на Артамона Муравьева и ахтырских гусар. Вызванный запиской Вадковский дал обещание содействия (он работал в 17 гусарском полку) — этим вызвано движение полка на Белую Церковь,—но, очевидно, не смог или не захотел выполнить своего обещания. Другие члены Южного общества изменяют во время восстания, почти все участники-офицеры, кроме славян, бегут. Настоящих попыток связаться со славянами, сосредоточенными вокруг Новгород-Волынска,—нет. Рассчитывать на славян Муравьев мог всецело, и он это хорошо знал. Не хотел ли он сознательно обойтись без них? Медлительность Муравьева и выжидательная позиция резко не соответствовали настроению солдат, не говоря уже об офицерах. Чувствуется, что надежда на южных членов почему-то не оставляла Муравьева даже после явных признаков их нежелания действовать.

Славяне же имели план действий еще до момента освобождения ими Муравьева из-под ареста. Еще до того, как они узнали, что Муравьев—в Трилесах, был выработан в Василькове план итти на Киев. По их мнению, сделать это необходимо было с предельной быстротой, упасть на Киев, «как снег на голову». А попытка занять Киев, по мнению славян, имела много шансов на успех и произвела бы огромное «влияние на умы». «В Киеве, — пишет Горбачевский, — он (С. Муравьев) мог бы надеяться на присоединение Курского пехотного полка и даже других полков, стоявших в окрестностях города. Кроме того, артиллерийские офицеры, находившиеся при арсенале, вероятно, сдержали бы слово, данное ими Андреевичу». Этот план славяне усиленно развивали во время пребывания восставшего полка в Василькове. Муравьев противился, возбуждение и недовольство солдат росло. Тогда Муравьев пошел на уступки, половинчатость которых восстанию ничего не дала: он послал из Ва-

силькова в Киев Мозалевского с четырьмя рядовыми, во-первых, для разведки, во-вторых, для передачи писем, приглашавших к восстанию. Записки Горбачевского сохранили память о трех письмах Муравьева: какому-то генералу, подполковнику (майору) Крупенникову и одному члену польского тайного общества. Два первые письма были отданы по назначению, третье же Мозалевский проглотил, когда был захвачен жандармами *). Следствие знает лишь одно письмо,—к майору Крупенникову или Крупникову, передать которое не удалось, так как майор не был разыскан. Но чрезвычайно важно показание С. Муравьева, гласящее, что майора Курского полка Крупенникова указал Кузмин и настоял, чтобы сам Муравьев написал к нему записку: «по сему разговору с Кузминым решился я на всякий случай написать к сему майору Крупенникову письмо, которое вручил я для отдачи вызвавшемуся добровольно на сию поездку прапорщику Мозалевскому и дал ему четыре солдата и четыре катехизиса для раздачи в Киеве». Чрезвычайно важен этот штрих—добровольный вызов Мозалевского. К делу восстания он был привлечен как раз оппозиционным «штабом» Муравьева. Он был болен и по болезни находился в Василькове, в полковом штабе, когда 30 декабря, в четвертом часу пополудни, Муравьев туда вступил. Щепилло, Кузмин, Сухинов и Соловьев прислали к нему разжалованного из капитанов в рядовые Грохольского с просьбою присоединиться к восстанию, почему я и пришел к ним». И далее, в развитии восстания, славяне все время поддерживают с ним связь и сообщают ему о всех важнейших решениях. Посылка Мозалевского—осколок плана славян двинуться на Киев. Мозалевский прибыл туда в ночь на новый год, как раз в тот момент, когда Киев только что узнавал о восстании Черниговского полка и готовился действовать. Если бы туда в этот момент явился не Мозалевский, а весь восставший полк, как предполагали славяне, дело могло бы получить совсем другой оборот.

Мозалевский был арестован около Киева, на возвратном пути оттуда к Муравьеву. Видя, что он не возвращается, и Муравьев и славяне поняли, что ставка на Киев безнадежно проиграна. Охлаждение между Муравьевым и славянами становилось все сильнее. Приходилось придумывать что-то другое. Здесь восторжествовала политика Муравьева—выжидание. Полк двинулся из Василькова в деревню Мотовиловку. Брусилов был целью движения.

Вторая задача — забота о внутренней спайке восстания, об управлении его внутренней жизнью—также решалась различно славянами и Муравьевым. Основной вопрос был такой: как поступать с нежелающими примкнуть к восстанию или с колеблющимися. Романтик-Муравьев решал вопрос очень благородно, но совсем не жизненно: тем, кто не желал примкнуть к восстанию, разрешалось

---

*) Записки *Горбачевского,* 134.

уйти. Эту политику С. Муравьева обрисовывают и записки Горбачевского, и материал показаний, собранный аудиториатом. «Ротным же командирам,—показывает подпоручик Войнилович о пребывании С. Муравьева в Василькове,—между прочим, приказал Муравьев об'явить, что если они не пожелают следовать за ним, то могут остаться. Кроме того, было отдано распоряжение об'явить солдатам, что цесаревич Константин никогда не отрекался от царствования, «а письма о сем предмете фальшивые», удостоверяя, что прислан от его высочества из Варшавы польской офицер с тем, чтобы Муравьев прибыл с полком в Варшаву. О всем распоряжении в целом и о праве нежелающих ротных командиров уйти, если они не желают участвовать в восстании, изумленный Вульферт, как рассказывает Войнилович, потребовал письменного предписания, «которое он получил и, не прочтя оного от замешательства, возвратил ему обратно». Это же приказание было передано им капитану Козлову. Славяне же действовали совершенно иначе, по-революционному. Держать всех восставших вместе, препятствовать измене и бегству, поддерживать высокую степень революционной спайки и напряжения — такова была их задача, каких бы жертв это ни стоило. И по всему ходу событий видно, с каким удивительным бесстрашием и самопожертвованием выполняют они эту роль. На первом месте среди них и тут приходится назвать И. И. Сухинова.

И. И. Сухинов—это основной стержень внутренней дисциплинарной спайки восстания. Эта роль его любопытно отразилась в показаниях всех колеблющихся, нерешительных или прямо изменивших делу восстания. Для всех этих лиц Сухинов—настоящее пугало. Вина их революционных действий сваливается на него. Он—главная причина их несчастий. И. И. Сухинов при вступлении в Васильков нес ответственнейшую роль командира авангарда и от его поведения и личной храбрости зависело очень многое. «В три часа пополудни,— пишет И. И. Горбачевский, — авангард С. Муравьева под командой Сухинова спокойно вошел в город, достиг городской площади без всякого сопротивления и не обнаружил никаких неприязненных расположений против жителей»—такова передача лица, всецело преданного восстанию. А перепуганному до смерти штабс-капитану Маевскому, который был закручен восстанием позже, картина представлялась иною: «...между тем временем вторая Гренадерская и пятая Мушкетерская рота шли с Муравьевым уже в Васильков», показывает он... «при вступлении означенных рот Сухинов, идя впереди с толпою солдат с заряженными ружьями, в большом азарте буйствовал по городу». Документы при сопоставлении показывают, что никаких особых «буйств», вроде бесчинных грабежей и т. п., не было, был обычный и даже несколько более спокойный, чем обычный ряд революционных мероприятий для захвата города восставшими. Но центральной фигурой вступления в Васильков в представлении Маевского остается с «азартом» действовавший Сухинов. И «он, Маевский,

от испуга, что намерены были лишить его жизни за то, что приказал бить тревогу, ушел и, скрывшись в клуне, просидел там до ночи, и хотя искали его, но не нашли». Подполковник Трухин, заместитель Гебеля по полку во время отлучки последнего для поисков С. Муравьева, тоже испытал на себе тяжелую руку Сухинова. Трухин встретил восставший полк при вступлении его в Васильков. Горбачевский передает, что «миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина»; надеясь обезоружить их одними словами, он, в сопровождении нескольких солдат и барабанщика, подошел к авангарду и начал еще издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями; но, когда он подошел поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в средину колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат: они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нем в куски мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями. Сам Трухин передает дело несколько иначе: «эполеты сорвал с него Сухинов, бросил на землю и топтал их ногами, потом оторвали у него, Трухина, шпагу, взяли его в шайку бунтовщиков, где толкали его и вскоре отвели на гауптвахту под строгий арест, отколь даже без конвою по собственной надобности не выпускали его». Ответственнейшее поручение Муравьева в начале пребывания в Василькове — захватить знамена и полковой ящик, также выпадает на долю Сухинова: по словам Горбачевского, он пошел вместе с Мозалевским на квартиру Гебеля и, входя в дом, последний заметил, «что на левом фланге взвода, назначенного под знамена, не достает нескольких рядов; тут же услышал он в комнатах шум и крик. Он тотчас догадался, что солдаты, оставив ряды, ворвались во внутренность дома и предаются бесчинству. Догадки свои он сообщил Сухинову, который, обнажив саблю, бросился в комнаты и увидел перед собою толпу раз'яренных солдат, готовых принести Гебеля в жертву их мщению. Они оскорбляли несчастную жену своего командира, а некоторые даже предполагали убить ее вместе с малолетними ее детьми. Сначала Сухинов угрожал смертью тем, которые, забыв военную дисциплину, оставили ряды без приказания офицера, осмелились нарушить спокойствие бедной женщины... Но, видя, что его слова не производят никакого действия, он решился подтвердить оное делом и наказать немедленно первого виновного. Раздраженные солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары, и показывали явно, что даже готовы покуситься на жизнь своего любимого офицера. Сухинов, не теряя духа, бросился в штыки, осыпая сабельными ударами угрожавших ему убийц, и выгнал их из дома». Мозалевский поддерживал дисциплину у дверей дома. Мужество Сухинова сохранило дисциплину.

Уже упомянутый штабс-капитан Маевский, по словам его, усиленно просил С. Муравьева «уволить» его. «На сие Муравьев согла-

сился с тем, что, когда полк утром будет выступать, то, отойдя версту или более, под видом откомандировки его, Маевского, отпустить». Это слышал Щепилло и сейчас же попросил Маевского итти на квартиру Кузмина, ночевать вместе (дело было уже в Мотовиловке). Когда ночью Маевский вышел из комнаты, «Кузмин, Соловьев, Щепилло и Сухинов начали один другому говорить, что никого выпускать не должно, и положили намерение, если только он, Маевский, отлучится, лишить его жизни, что слышала хозяйка дома и после рассказывала Маевскому». Здесь на-лицо самое резкое расхождение между внутренней тактикой С. Муравьева и славян. Ранее, в Василькове, после того, как Маевский вышел из «клуни», Кузмин и Щепилло несколько раз приходили к нему на квартиру с пистолетами и Кузмин говорил притом: «счастлив его бог, что его, Маевского, не застали; однако... не избегнет он наших рук, за ним послано искать». Поручик Петин, командовавший 2-й гренадерской ротой Черниговского полка, жаловался, что никак не мог «отстать» от бунта, «потому что приверженцами его (Муравьева. *М. Н.)* Сухиновым, Кузминым и бароном Соловьевым был везде преследован, которые, дабы увеличить шайку свою, наблюдали за ним, Петиным, неотступно, а он никак не мог до 3 генваря уклониться от их партии».

Подпоручик Войнилович, призванный к восстанию, получил от Муравьева распоряжения относительно снабжения полка провиантом. Он отложил исполнение поручения, так как был поздний вечер, «а поутру на другой день», как показывает он сам, «в 7 часов пришел к нему, Войниловичу, на квартиру поручик Сухинов с заряженным пистолетом, угрожая, чтобы он, Войнилович, не оставался и шел за полком и не упущал бы никакого средства к выполнению предприятий Муравьева, в чем и требовал от него клятвы. Таким образом Сухинов, вынудив от него, Войниловича, согласие, ушел от него». После Муравьев позвал его к себе, велел ему принять провиант... Когда Войниловичу Муравьев дает ответственное поручение—приказать капитану Козлову привести 1 Гренадерскую роту туда же, где находится 1-я мушкетерская, то он пугает его Сухиновым, вероятно, зная, как заметна для окружающих роль его в качестве восстановителя дисциплины. Войнилович передает, что Муравьев говорил ему, «что если он осмелится не выполнить данного ему приказания, то посланы будут за ним поручик Сухинов и другие по разным дорогам, которые не преминут поймать и лишить его, Войниловича, жизни». Многие ответственные распоряжения, в частности, тому же Войниловичу, Муравьев дает через Сухинова. Подпоручик Рыбаковский, услыхав тревогу при вступлении мятежников в Васильков, вышел из своей кватиры и едва только показался на улице, как «в то же время поручик Сухинов, вооруженный пистолетами, подойдя к нему с толпою солдат, требовал от него согласия на их сообщничество». Согласие это Рыбаковский дал, и был поставлен у Киевской заставы с приказанием никого не пропускать, останавли-

вать проезжающих, отбирать у них бумаги и деньги и направлять к Муравьеву. Подпоручик Кондырев, по его показанию, получил от Гебеля важнейшее поручение—заколоть барона Соловьева и Щепиллу, если они покусятся освободить себя (они в тот момент сидели в Василькове под арестом). С. Муравьев еще только вступил в город. Кондырев для этого бросился на гауптвахту и «был схвачен Сухиновым». С него сорвали эполеты и шпагу и отвели на гауптвахту под арест. Сухинов и тут сыграл большую роль, помешав убить двух важнейших участников — руководителей движения. Общее заключение Кондырева то, что «насилия и угрозы более всех были оказываемы Кузминым, Сухиновым и Щепиллой, в чем равномерно участвовал и Соловьев». Прапорщик князь Мещерский, бывший в Василькове, показывает, что также услышал ввечеру 30 декабря тревогу и выехал верхом посмотреть, что делается в городе. «Вдруг поручик Сухинов с толпою солдат, окружа его, князя Мещерского, и, приставляя к груди его пистолет, говорил, чтобы он согласился быть участником их». По мнению Мещерского, Муравьев тогда еще в город не вступил, а пришел немного позже. К Муравьеву же «представил» Мещерского тот же Сухинов. Когда Мозалевский арестовывает у заставы поручика Несмеянова и прапорщика Апостола-Кегича, он отправляет их сначала на квартиру к Сухинову, Щепилле, Кузмину и Соловьеву (они так и жили все вместе), где его допрашивают и привлекают к мятежу, а лишь затем посылают Несмеянова на гауптвахту, а Кегича отпускают на его квартиру. Даже нижние чины 5-й мушкетерской роты показали, что, по приходе в Васильков, были помещены в одном доме с Соловьевым, Кузьминым, Сухиновым (очевидно, и Щепилло) «и никуда не выпущали при строгом за том наблюдении этих офицеров». Даже еврей Арум Лейба Эпельбейм, получивший приказ от Муравьева доставить немедленно деньги за продаваемый ему, Аруму, провиант, жаловался на славян... «испугавшись, он, Арум Лейба, вышел в другую комнату, где бывшие офицеры Щепилло и Сухинов тоже грозили ему, Аруму; из них Щепилло, показывая ему два пистолета, сказал, что он будет застрелян, если не даст денег»... Вероятно, трения между славянами и С. Муравьевым обозначились еще в первое время пребывания в Василькове. Сам Муравьев признается в показании, что трения вообще существовали: «четыре офицера Черниговского полка, названные уже мною, бывшие членами славянского общества, упрекали меня не за то, что я их не предупредил, а за то, почему я давно с ними не был откровенен, что они лучше приготовились бы». Совершенно исключительна была роль Сухинова при выступлении восставшего полка из Василькова. «Деятельность и бдительность сего последнего оправдали вполне доверенность Муравьева и его товарищей», замечает Горбачевский *). Момент был ответственный: среди солдат

*) Записки *Горбачевского*, 125.

замечались нарушения дисциплины, желание пограбить. Некоторые притворялись пьяными, чтобы отстать от полка и предаться бесчинствам. Бдительность Сухинова и строгие меры пресечения беспорядков восстановили дисциплину.

Ночь с 30 на 31 декабря была проведена восставшими в Василькове. С. Муравьев вечером отдал приказ всем ротам собраться на площади около 12 часов дня *). По запискам, славяне всю ночь не спали, готовились к походу, вели деятельную агитацию среди солдат, при чем заботливость, их предусмотрительность и ясное, практическое отношение к делу на-лицо: «Каждый занимался своим делом, забывая опасность; деятельность и усердие членов общества были беспримерны: они старались одушевить солдат новым мужеством и поддержать бодрость их духа. Чтобы успешнее действовать на них, они всеми силами старались обеспечить их продовольствием. Сами солдаты в приготовлении к походу показывали не менее ревности: ружья, патроны и вся амуниция были осмотрены с величайшим тщанием, и все недостатки были исправлены». Но деятельности С. Муравьева в эту ответственную ночь мы не видим. Поведение его странно. Горбачевский пишет: «Посреди общей деятельности один С. Муравьев не принимал участия в приготовлениях: он оставался уединенным, писал целую ночь, но куда и к кому—никто, даже из близких ему, не мог указать». По утверждению П. Е. Щеголева **), С. Муравьев в ту ночь давал окончательную формулировку своему «Катехизису»,—агитационному творению, которому никакой роли в восстании не было суждено сыграть.

В письме к майору Крупенникову Муравьев предлагал ему направиться со вверенными ему воинскими частями в Брусилов. Мозалевский должен был вернуться туда же из Киева. Это ясно показывает, что в результате борьбы двух планов, Муравьевского выжидательного, с расчетом на Южное Общество, и славянского—захвата Киева, был принят компромисс: в Киев на разведки был послан Мозалевский, с приглашением прибыть в Брусилов, а на следующий день решено было выступить из Василькова в Мотовиловку, в надежде соединиться там с ротами Черниговского полка, еще не присоединившимися к восстанию. Мотовиловка же лежала по дороге в Брусилов. Компромиссность эту подчеркивает и Муравьев, говоря, что он сразу склонялся и на Брусилов, и на Киев. Из Брусилова (в случае удовлетворительного ответа Крупенникова) был один переход на Киев, «в противном случае я находился также в расстоянии одного перехода от Житомира». Ценнейшие показания о смысле похода в Брусилов дал Мозалевский. При приглашении последовать в Бруси-

---

*) В записках Горбачевского неправильно указано 9 ч. утра

**) *П. Е. Щеголев*, Катехизис Сергея Муравьева-Апостола («Исторические этюды», П. 1913, стр. 346—347).

лов ему сказано было, что там «собраны будут Алексопольский и Кременчугский пехотные, Ахтырский и Александрийский гусарские полки, которые, равно и другие полки, бунтуются, и из Брусилова пойдут к Житомиру, где будто бы собрана уже и 8-ая пехотная дивизия». Когда рота Кузмина просилась из Василькова на ротный двор в Трилесы «для забрания своих вещей», то он, Кузмин, дав на роту 200 рублей ассигнациями, говорил: «не идите: мы ни в чем нуждаться не будем, сходим только в Брусилов и Житомир, а потом возвратимся опять в Васильков». Достаточно вспомнить, что на Алексопольский полк имел влияние Повало-Швейковский, а во главе Ахтырского стоял Артамон Муравьев, чтобы понять, что Брусилов был новой ставкой С. Муравьева на членов Южного общества.

Всем известно, что по сборе рот в Василькове 31 декабря был отслужен «молебен» *) и прочтен перед полком священником Кейзером сочиненный Муравьевым катехизис. Сам Муравьев пишет, что катехизис на солдат произвел плохое впечатление, и он вынужден был для поднятия их духа опять прибегнуть к имени цесаревича Константина **). Вероятно, это показание С. Муравьева вполне соответствует действительности. Катехизис Муравьева был труден для понимания среднего рядового той поры. Вспомним, что славяне, в том числе Горбачевский, высказывались против этого агитационного приема. Тем замечательнее свидетельство прапорщика Апостола Кегича, что Сухинов ***), Кузмин, барон Соловьев и Щепилло «часто читали солдатам катехизис, говорили им о вольности»... Без сомнения, это частое чтение есть т о л к о в а н и е его солдатам, об'яснение непонятных мест и заодно развитие политических мыслей, прикрытых религиозной формой. Кроме указания на необходимость вольности, солдатам внушалось, что царя быть не должно и что вся армия в движении. Прапорщик Белелюбский показывает, что солдатам говорилось, «что они идут за веру и свободу, внушая им не признавать царя, а быть только им послушными». Агитацию эту, по его же показанию, вели не только славяне и Сергей Муравьев, а даже его братья, в последнем позволительно усомниться. Тот же Белелюбский показывает, что «сообщники Муравьева, в том числе и барон Соловьев, во время возмущения внушали солдатам, что они идут за веру и царя Константина».

В село Мотовиловку С. Муравьев пришел в сумерки 31 декабря. Несмотря на уговоры, 1-ая Гренадерская рота к нему не присоеди-

*) Фактически это служение не было молебном: по показанию служившего его священника Даниила Кейзера, были прочтены «Царю небесный», «Отче наш», тропарь и кондак храмового полкового праздника, катехизис и провозглашено «многая лета». *П. Е. Щеголев,* «Ист. этюды», 351.

**) Ср. «Р. А.», 1871, кн. I (публикация Шугурова).

***) Его роль в этом особо подчеркивает П. Е. Щеголев («Ист. Этюды», 359).

нилась, но часть 1-й мушкетерской согласилась. Как показывал капитан Козлов, уговоры продолжались довольно долго, но не подействовали. Тогда Муравьев дал приказ разойтись по квартирам, но нижние чины якобы ответили: «готовы тут померзнуть, а по квартирам не пойдем».

В Мотовилове продолжалась политика ожидания. На следующий день, «по случаю нового года», об'явлена была дневка, и день был потерян. Дело, конечно, было не в новом годе: просто С. Муравьев, во-первых, ждал Мозалевского, но тот так и не явился, во-вторых—ждал вероятного присоединения частей, руководимых южанами. С этим вяжется еще показание некоторых, что разжалованный Башмаков был послан в Кременчугский и Алексопольский полки. В записках Горбачевского говорится, что Муравьев принимал все меры, чтобы не упало настроение солдат: «На дневке С. Муравьев осматривал все караулы, был во всех ротах, разговаривал с солдатами, ободрял их и более всего заботился об их нуждах». Особенно важно отношение крестьян к восставшему полку, которое превзошло все ожидания: мотовиловские крестьяне принадлежали скупой богачке графине Браницкой. Сохранились два свидетельства об их положении: один англичанин-турист, вероятно, не имевший времени с ними ознакомиться как следует, говорит, что крестьяне ее не показались ему более несчастными, чем крестьяне соседних владельцев, но ген. Докудовский совсем иначе говорил о бедственном положении этих крестьян. Они с радостью, как пишет Горбачевский, принимали солдат на постой (роты, по приказанию Муравьева, были размещены на частных квартирах), в то время, как вообще-то эта повинность была одной из наиболее ненавистных для крестьян. Они заботились о солдатах, снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Крестьянам было растолковано, за что идут декабристы, и, конечно, сказано о воле. «Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш», говорили они. «С. Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить». Этот новый год—последний в его жизни—Муравьев, как говорит Горбачевский, считал счастливейшим из всех. Но Муравьев не попытался установить непосредственной связи восстания с крестьянами—это было слишком далеко от его представления о военной революции. 1 января в Мотовиловку пришел подпоручик Быстрицкий со 2-й мушкетерской ротой. Это было единственное присоединение, которого дождался Муравьев. 30 декабря, до прихода Муравьева в Васильков, Гебель отдал приказание Быстрицкому привести эту роту из Германовки, что тот и выполнил. В Василькове он узнал о всем происшедшем от разжалованного в рядовые Грохольского,—С. Муравьев нарочно оставил его там на случай, если

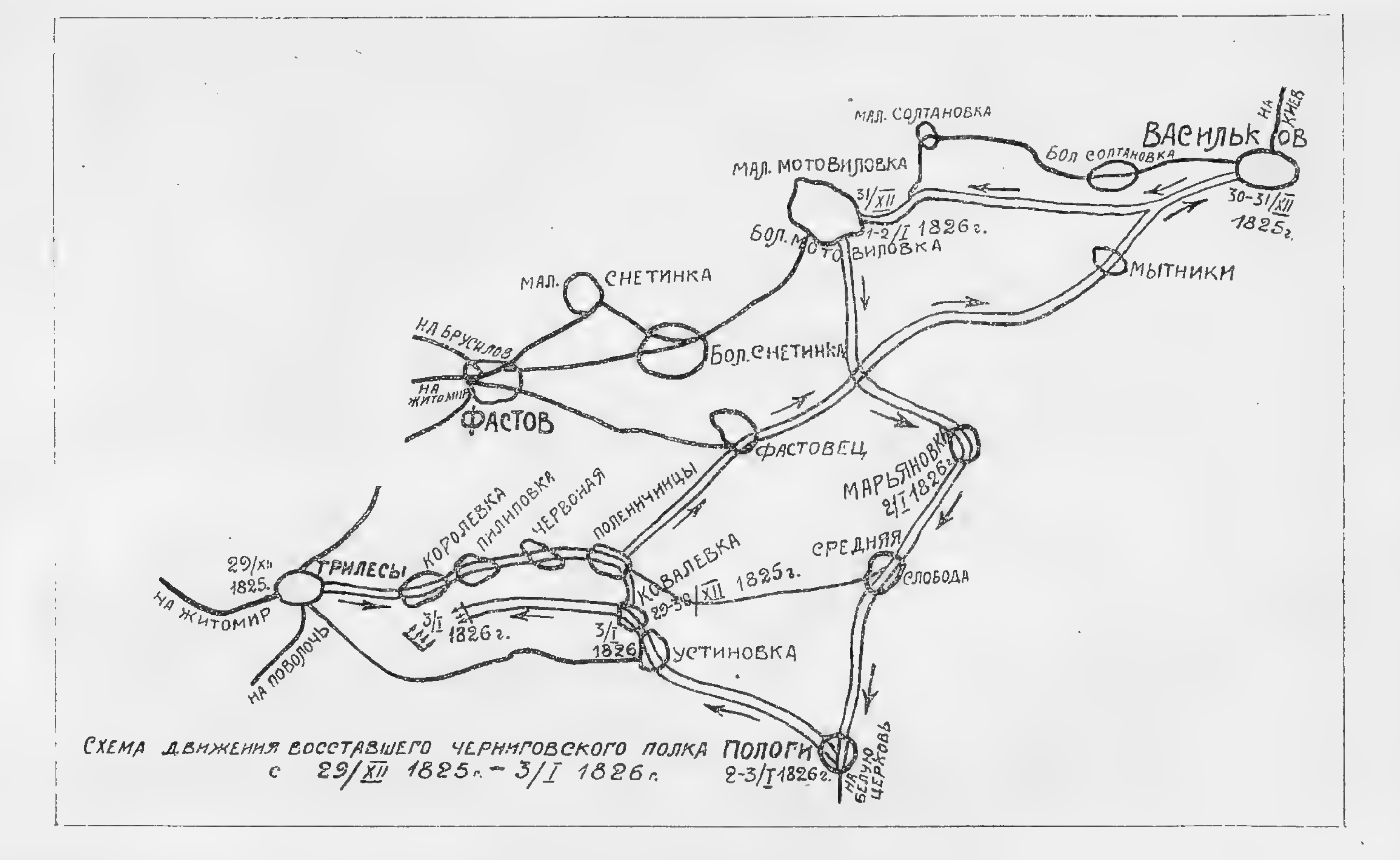


Схема движения восставшего Черниговского полка с 29/XII 1825 г. — 3/I 1826 г.

кто-нибудь подойдет туда и будет справляться о пути восставших. По приказанию Муравьева, рота была сдана Соловьеву *). Быстрицкий—один из немногих офицеров, приставший во время восстания и до конца не изменивший. Один из членов Общества Соединенных Славян полагает, что Быстрицкий еще ранее принадлежал к этому обществу, но большинство членов это отрицало. По свидетельству Горбачевского, склонить роту Быстрицкому помог уважаемый ею унтер-офицер Аврамов, решительно и твердо поддержавший присоединение к Муравьеву и об'явивший, что он и вся рота знают цель его.

В Мотовиловке отношения между славянами и Муравьевым еще более обострились по вопросу о тактике, нарастало раздражение и у солдат. 2-я рота, пришедшая с Быстрицким в особо приподнятом настроении, выявила и обострила солдатское недовольство. Унтер Кучков, как говорит Горбачевский, при всей роте спросил Соловьева, куда хочет Муравьев итти и в каком месте соединятся они с другими полками. Соловьев назвал Житомир и сказал, что полки присоединятся по пути. Кучков возразил с радостью, которая выражала некоторое нетерпение: «Что нам медлить, зачем еще дневка, лучше бы без отдыха итти на Житомир». Солдаты одобряли слова Кучкова. Проницательность и опытность старого служивого внушили ему сие здравое размышление. Соловьев чувствовал всю справедливость сего замечания, но, желая успокоить солдат, хладнокровно сказал: «Полковник лучше вас знает, что делать. Надобно подождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас». Солдатское недовольство слилось с недовольством славян. В Мотовиловке произошел резкий кризис революционного настроения. Когда 2 января роты были на сборном месте, их унылое и подавленное настроение испугало славян. Они бросились к Муравьеву, прося принять меры, приободрить солдат. Еще раз С. Муравьев сыграл роль символа революции, революционного знамени. Особенно тяжело действовало на солдат, что офицеры все разбежались, предали дело. Твердая речь Муравьева, говорившего, что не надо обращать внимание на бегство подлых людей, якобы приободрило солдат. Восставший полк двинулся по направлению к Белой Церкви.

Почему? В своих записках Горбачевский недоумевает,—почему С. Муравьев кружился вокруг Василькова, и не знает, имело ли это какую-либо цель. Сейчас вопрос этот ясен. Все движение Муравьева состоит из начатых и брошенных планов, осколков маршрутов. Движение из Василькова в Мотовиловку понятно, как осколок движения на Брусилов. План этот, очевидно, брошен Муравьевым после того, как ни дневка, ни ночь с 1 на 2 января не дали никаких результатов: никто не присоединился. Очевидно, особая надежда была на Вадковского, возможно, что после мотовиловской

---

*) Он ею командовал ранее.

дневки она одна и осталась у Муравьева. В надежде на присоединение 17 егерского полка, Муравьев начинает двигаться к Белой Церкви. Это была последняя и опять проигранная ставка его на члена Южного Общества.

Это движение к Белой Церкви приобретает уже совершенно новый оттенок бегства от предполагаемого преследования. Основание для этого дает показание С. Муравьева: он полагал, что Мозалевский арестован или в Киеве, или в Брусилове, куда он мог бы попасть помимо Муравьева, если бы поручение, ему данное, было бы выполнено удачно. Если же он арестован в Брусилове, то стало быть там уже приняты меры против Муравьева и есть готовые напасть на него войска. Поэтому «я решился двинуться на Белую Церковь, где предполагал, что меня не ожидают, и где надеялся не встретить артиллерии». К ночи со 2 на 3 января полк дошел до местечка Пологи, которое, по определению С. Муравьева, находилось в 15 верстах от Белой Церкви. Здесь получил он потрясающее известие: 17 егерский полк незадолго до того вышел из Белой Церкви и двинулся на г. Сквиру. Надежда на Вадковского была потеряна, последняя ставка на Южное Общество бита. Обо всем этом Муравьев узнал от мужиков в деревне Пологах. Для большей достоверности ночью Сухинов настоял на разведке и взялся ее провести. Он брал на себя еще одно дело чрезвычайной важности и ответственности. По показаниям Муравьева, Сухинов не узнал ничего существенного; в показаниях самого Сухинова вопрос о рекогносцировке пропущен по причинам понятным, и это дает некоторые основания предполагать, что рекогносцировка не осталась безрезультатной: очевидно, Сухинов, стремился ее от следствия скрыть. В записках Горбачевского об этой рекогносцировке даны подробнейшие сведения. «При наступлении вечера Сухинов взял несколько надежных солдат и, составив из них конный отряд, отправился к Белой Церкви. За 1½ версты от сего местечка он встретил казаков графини Браницкой, посланных для разведывания и охранения ее имения от так называемых бунтовщиков. Сухинов воспользовался встречею. Под'ехав на довольно близкое расстояние к казачьему отряду, он обнажил саблю и бросился на них с громким криком: «вперед!». Испуганные нечаянным и смелым нападением, казаки рассеялись: один из них, пойманный самим Сухиновым, хотел было сопротивляться, но Сухинов ударом сабли сшиб его с лошади и начал расспрашивать. Хотя, повидимому, казак чистосердечно говорил, что 17-й егерский полк уже другой день как вышел из Белой Церкви неизвестно куда, но Сухинов, желая удостовериться в истине сего показания, сам под'ехал к местечку и старался узнать от некоторых жителей все, касающееся до выхода сего полка. Ответы жителей, с которыми говорил Сухинов, подтвердили сказанное казаком. В самом деле, полковой командир, арестовав Вадковского, в ту же ночь выступил с полком из Белой Церкви в противоположную сторону от Василь-

кова, не сказав никому, куда идет». Как оказалось, полк отправился в Сквиру.

Ночь в Пологах была одной из самых тревожных ночей во время восстания. Все посты были заняты славянами: на них стояли: Сухинов, Кузмин, Щепилло и Соловьев. Рушились все планы. Далеко, около Новоград-Волынска были славяне, еще не обманувшие надежд. Приходилось вернуться к плану, много раз предпринимавшемуся, но ни разу не доведенному до конца—итти на Житомир, чтобы соединиться с ними.

Любопытно отметить, что делал брат С. Муравьева, Матвей, в эту тревожную ночь, когда Сухинов хотя в рекогносцировке дал выход своему революционному пылу и страсти действовать. На чистых листах евангелия, присланного Матвею в крепость мачехой, он занес свои воспоминания о страшных днях восстания, перепутав, между прочим, даты событий, которые Горбачевский, не очевидец, совершенно точно передает через многие годы сибирской каторги «2 (суббота)», заносит Матвей в этот своеобразный дневник: «Мы ночуем в Пологах. Вечером у меня продолжительный разговор с Ипполитом о судьбе человека». Но, вероятно, о судьбе тысячи крестьян-рядовых, поверивших им и пошедших за ними, братья не говорили *).

Если руководители восстания, как то показывают изложенные выше факты, делились на две партии—Муравьевых и славян,—то в первой партии Матвей играл особо отрицательную роль. «...Матвей,—пишет Горбачевский,—много вредил ему (С. Муравьеву). Не имея ни твердости в характере, ни желания жертвовать всем для достижения цели, этот человек с своею детской боязнью, своими опасениями смущал С. Муравьева и отнимал у него твердость духа. После каждого разговора с братом С. Муравьев впадал в глубокую задумчивость и даже терялся совершенно. Славяне видели это, волновались, старались «не оставлять Матвея наедине с братом и даже хотели просить С. Муравьева, чтобы он удалил его от полка. Он дорогою упрекал С. Муравьева в неумеренной жестокости с Гебелем до того, что С. Муравьев хотел в Василькове итти и просить у него

---

*) 15 февраля 1826 г. М. Муравьев в крепости заносит в тот же дневник свои рассуждения о смысле жизни,—возможно, что разговор с Ипполитом в Пологах вертелся около тех же тем. Думали они оба по-французски:

Qu'est ce donc que la vie pour valoir qu'on la pleure?
Un Soleil, un Soleil, une heure et puis une heure...
Ce qu'une nous apporte une autre nous enlève,
Repos, travail, douleur et quelquefois un rève.

«Это—прекрасная вещь», пишет далее о жизни Матвей Муравьев, «если хорошо знать, какое дать ей назначение...»—сколько горькой иронии, без ведома автора, вложила история в его слова.

прощения, но *офицеры его не допустили*. По его же совету С. Муравьев выпустил из-под ареста майора Трухина и жандармских офицеров *). При первых выстрелах он спрятался в обозе. Вообще поведение было таково, что офицеры раскаивались, что из уважения к С. Муравьеву не настояли на том, чтобы удалить его от отряда».

В ночь, проведенную в Пологах, план действия был еще раз изменен, и движение на Белую Церковь опять осталось осколком замысла. «Не имев уже никакой цели итти в Белую Церковь,—показывает С. Муравьев,—я решился поворотить на Трилесы и стараться приближаться к славянам, по первому моему предположению». Повидимому, терпение солдат истощилось, наростало их негодование, совпадавшее с настроением славян. Но все же оставалась какая-то надежда. Путь опять лежал через Ковалевку и Трилесы: движение замыкалось, приходило к исходной точке, вертелось как в заколдованном кругу. Но ему все же не пришлось замкнуться. Путь на Трилесы лежал через деревню Ковалевку, а к последней вели две дороги: одна степью, по совершенно открытому месту, вторая—через деревни: в этом месте, как видно на карте нашего времени, сливаются семь деревень, идущих полукругом: Устимовка, Ковалевка, Поленичинцы, Червоная, Кишинцы, Полиповка и Королевка. Из последней-то и предполагалось свершить переход в Трилесы. Сухинов настаивал, что необходимо итти в Королевку из Ковалевки через деревни. Он уже предчувствовал опасность и с минуты на минуту ждал нападения. А в случае же нападения отряд мог бы, как пишет Горбачевский, идя через деревни, «защищаться против гусар стрелками, тем более, что тогда артиллерия не вредила бы ему картечью» (нападающий отряд не решился бы сжечь селения). Кроме того, возможно было бы переменить направление и послать несколько рот в обход нападающим. С. Муравьев (антагонизм между ним и славянами возрастал) отверг это предложение и пошел степью.

Внезапно—в первый раз во время своих скитаний—полк увидел вооруженный отряд конно-артиллерийской роты. Моментально воскресло первоначальное предположение Муравьева, что посланный против них отряд к ним же и присоединится. «Всеобщая радость», пишет Матвей в своих воспоминаниях: «Конно-артиллерийскою ротою начальствовал полковник Пыхачев, член тайного Союза». «По приходе в Ковалевку,—показывает Сухинов,—Муравьев, узнав о приближении к ним кавалерии и артиллерии, начал еще более ободрять всех солдат, говоря, что они будто бы следовали к ним для присоединения и что присоединится также к ним и Драгунская дивизия». Настроение солдат моментально поднялось, они опять поверили С. Муравьеву, в высшей степени напряглось ожидание. В рапорте поручика Лишина ген.-лет. Гогелю приведены даже

*) Первых доносчиков о восстании.

«подлинные» слова С. Муравьева, с которыми он обратился к восставшим: «Ребята! вы видите перед собою войска, которые с нами соединятся—и в то время наше намерение исполнится» *). Позже, вероятно, распространилось легендарное сообщение, что ген.-лейт. Рот подослал Муравьеву вахмистра с ложным сообщением, что против него посланы преданные восстанию войска, что Муравьев якобы целовал его, дал 25 р. и пр. **).

Раздался залп. В рядах восставших упали убитые и раненые. Отряд генерала Гейсмара, второй из посланных против восставших генерал-лейтенантом Ротом, стрелял картечью. В последний раз план Муравьева был проверен и последний раз его ставка на преданность южан была бита. В последний раз, невольно, конечно, он обманул солдат. Отряд не присоединялся к восставшим—отряд стрелял картечью. «Можно ли было полагать,—несколько наивно вопрошает Горбачевский,—что средством к разбитию Черниговского полка будет употреблена конная артиллерийская рота, в которой не только командир, но и все без исключения офицеры принадлежали к Южному тайному обществу». Через тридцать пять лет после восстания (в 1860 году) Матвей Муравьев узнал, что полковник Пыхачев был арестован накануне того дня, когда рота его выступила против Черниговского полка.

Здесь же, на поле битвы, сразу, взрывом, разрешились все противоречия, так долго и так трагично боровшиеся во внутренней жизни восстания. У Щепиллы все разрешила смерть. Раненый Кузмин застрелился через несколько часов после поражения. Упрямый разночинец Сухинов—единственный из всех не пожелал заплатить своей головой за дворянский романтизм и бежал: солдаты помогли ему перебраться через глубокий снег оврага, и Сухинов, «видя невозможность остановить и собрать рассеянных солдат», пустился к деревне Поленичинцам. С ним вместе бежали некоторые солдаты. Нескладно, но метко об'ясняет его поведение одна фраза аудиториатского доклада, излагающая его показания: «но по первому выстрелу из орудия, он, Сухинов, *видя совсем несогласное сказанному Муравьевым,* бросился с некоторыми нижними чинами бежать».

Сергей Муравьев был тяжело ранен в голову картечью. Кровь ручьем текла по его лицу. Не помня себя, он направлялся к обозу, отвечая на все вопросы подбежавшего Соловьева: «Где мой брат? Где мой брат?». В эту минуту взорвалось солдатское возмущение. К нему приблизился один рядовой первой мушкетерской роты. Отчаяние изображалось на его лице; вид Муравьева привел его в исступление; ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его. «Обманщик!—вскричал он, наконец, и с этим словом хотел заколоть С. Муравьева штыком»... Соловьев защитил Муравьева. Тогда солдат, сделав несколько шагов назад... прицелился в Соловьева,

*) «Р. А.», 1871, I (285).
**) Там же.

грозя застрелить его, если он не откроет С. Муравьева. Соловьев схватил на земле лежавшее ружье и сделал наступательное движение»... Солдат удалился, «не сказав ни слова».

С. Муравьев говорит, что, придя в себя, он «нашел баталион совершенно расстроенным и был захвачен самими солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы стараться собрать их; захвативши меня, солдаты привели меня и Бестужева к Мариупольскому эскадрону, куда вскоре привели и брата и остальных офицеров». «Брата», т.-е. Матвея, так как Ипполит по одной версии, застрелился, думая, что Сергей убит, по другой—сам был убит во время пальбы.

Так кончилось странное восстание Черниговского полка. Тяжелая борьба внутренних противоречий, которую мы пытались обрисовать в общих чертах, погубила его. Если бы славянская «фракция» взяла верх и приняла руководство восстанием, судьба его могла бы быть совершенно иною. Во всяком случае, восставшие дороже продали бы свой замысел и свою жизнь. Основная черта восстания—ожидание. Это не восстание в том смысле, в каком мы теперь понимаем это слово,—это скорее бродячий вооруженный лагерь, в первом своем периоде, до Мотовиловки, ждущей подкрепления, а после Мотовиловки—ищущий его. Две борющиеся внутренние силы характерно символизируют восстание: дворянин Муравьев и разночинец Сухинов. Не будем бросать камнем в Муравьева. Его личное благородство и бескорыстные намерения неоспоримы, но и то и другое вместе не делает революции. Может быть Горбачевский прав, говоря, что Муравьева подвела вера в благородство людей. Он не мог себе представить, как можно не исполнить данного слова, и все ждал южан на помощь. Как личность, он безупречно чист, как революционер—плох. Не такие люди делают революцию, и многое изменилось бы, если бы на месте его оказался Сухинов. Но они шли рядом, соперничая,—а «в одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань».

Вывод из всего ясен. Восстание Черниговского полка—дело соединенных славян. Они решили, что оно будет, они начали его, они положили все силы на его внутреннюю спайку, они много поработали над смелыми планами, которых Муравьев не захотел провести в жизнь, они долго и тщетно боролись с «партией» Муравьева, они выполняли во время восстания труднейшие замыслы. Кузмин и Щепилло заплатили за все жизнью, Соловьев разделил со всеми каторжную сибирскую участь, а самый главный—Сухинов—бежал.

Известие о подавлении восстания, аресты, допросы, суд—все это совершенно убило революционное настроение декабристов. И тем ярче хочется подчеркнуть исключение—соединенных славян. Даже средний, ничем не выдающийся подпоручик П. Мозган призывал рядового Бородина и говорил, «что полковник Муравьев, возмутивший Черниговский полк, взят», но он, прибавил Мозган, «погорячился,

а мы еще подождем» *). Спиридов горько жалел о проигранном деле, досадуя, что Муравьев «начал безвременно и об оном не известил». Мысль о новом восстании декабристов, хотя бы в Сибири не покидала Сухинова. Она становилась все настоятельнее уже во время его мучительного перехода на каторгу, росла и ширилась в Зерентуйском руднике. Он организовал заговор среди каторжан в мае 1826 г., но накануне восстания нашелся предатель. Сухинов повесился в тюрьме перед казнью. В нем умер последний хранитель замысла вооруженного восстания, до конца горевший желанием провести его в жизнь.

М. В. Нечкина.

*) Дело Мозгана.

Военная революция на западе Европы и декабристы.

Декабрьское восстание по своему формальному, внешнему типу гораздо более похоже на испанское пронунсиаменто, как заметил первый покойный Д. К. Петров, чем на любой из русских государственных переворотов XVIII века, и поведение части петербургской гвардии в декабре 1825 г. нисколько не об'ясняется (даже и в самой малой доле) воспоминаниями о роли, которую гвардия играла в XVIII столетии. Это явление психологически и политически иного порядка, и все попытки связать его как-нибудь с традициями XVIII века всегда будут искусственны и голословны. Именно декабрьское события и показали, как далеко зашла европеизация России, и насколько аналогичные условия порождают всюду, от Гвадалквивира до Невы, аналогичные явления. Герцен, очевидно, имел в виду именно подчеркнуть *европейский* характер и смысл движения, когда усматривал символическое значение в пулях, попавших 14 декабря в памятник Петра Великого. Рассматриваемое в рамках общеевропейской истории, восстание декабристов продолжило собою (и заключило) серию военных переворотов и попыток переворотов, которая началась в 1820 г. в Испании, продолжалась мимолетными вспышками в Пьемонте и в Неаполе и произвела необычайно сильное впечатление на русское передовое офицерство и вообще на русские передовые круги в последние пять лет царствования Александра I. Нужно заметить, что не только в России революционное движение на Пиринейском и Апеннинском полуостровах в 1820 г. произвело такой могучий эффект. И во Франции, и в Германии, и даже в Англии и далекой Ирландии действие, произведенное испанскими и (в несравненно меньшей степени, впрочем) итальянскими событиями, было потрясающим. Это об'ясняется тем, что впервые тут после долгих десятилетий с начала торжества железной деспотии Наполеоновской империи, а потом ограниченной в своем кругозоре и, казалось, всесильной реакции Священного Союза, разразилась революционная гроза самым неожиданным образом, без всякой, казалось, подготовки. Впервые после давно

отошедшей в историю Великой Французской революции послышались забытые речи о естественном праве, правах гражданина и человека, праве на восстание, низвержении деспотизма и т. д. Еще с итальянскими волнениями Священный Союз сравнительно быстро справился; но испанская революция длилась с января 1820 г. до средины 1823 г., и притом революционерам удалось почти все это время так или иначе владеть правительственною властью и всем государственным механизмом. «За Пиренеями уж правила свобода»,—писал об этих годах молодой Пушкин.

Успех испанской революции, ее относительная длительность, наконец, тот факт, что сломлена была власть революционеров *исключительно* иностранным (французским) военным вмешательством,— все это нанесло страшный удар всей идеологии Священного Союза и теоретиков церковно-политической реакции. *Впервые* обнаруживалось с непререкаемою ясностью, что идеи Великой Французской революции нисколько не убиты и не похоронены, а, напротив, обнаруживают удивительную живучесть; впервые с самого конца Французской революции демонстрировалась, как, в сущности, шатки троны и алтари, как мало уверены в себе их защитники, как неустойчив созданный Священным Союзом порядок вещей.

Испания могла привлечь особенное внимание революционно или даже только оппозиционно настроенных элементов и именно тех европейских стран, которые были (или считались) отсталыми в экономическом, культурном, политическом отношениях.

В самом деле. Казалось бы, испанская революция решительно противоречит тому канону, который в те годы считался неоспоримым и который может быть формулирован так: революция имеет шансы на успех лишь там, где есть крепкая и многочисленная буржуазия (тогда говорили: «среднее сословие»). Конечно, это было выведено из изучения Французской революции 1789 г. Но в Испании крепкой буржуазии не было и в помине: разорение и запустение, продолжавшиеся больше двухсот лет, свели промышленность и торговлю в Испании к весьма незначительной величине.

«Средний класс», правда, существовал в Испании, но политической роли не играл. Существовала уже в последние годы XVIII и начале XIX века и *интеллигенция:* интересно отметить, что для обозначения этого понятия в Испании уже тогда существовало особое слово: la intelectualidad *). Эта интеллигенция вербовалась несравненно меньше из купечества и мануфактуристов, чем из дворянства как провинциального, так и высшего. И именно молодое офицерство больше всего пополняло собою этот немногочисленный слой общества, очень чуждый как невежественной, фанатической крестьянской

---

*) Ср. M. Mendez Bejarano, Historia politica de los afrancesados con aicunas cartas y documentos ineditos, 69 (Madrid 1912).

массе, так и правящим кругам, окружавшим престол испанской линии Бурбонов.

Далее. Разобщенность высшего и низшего сословий в Испании была огромна; может быть, из всех стран Европы только Россия превосходила ее в этом отношении. Высший класс отчасти являлся владельцем земельных богатств, отчасти же кормился придворною, гражданскою, военною службою и очень значительные его слои были прямо заинтересованы в существовании безответственного режима, фактически сводившегося к кормлению на государственный счет всей почти знати и немалой части среднего и мелкого дворянства. Что касается крестьянства и низшего городского населения (рабочий класс, как таковой, был ничтожен количественно), то эти круги народа несли на себе почти целиком всю тяготу обложения, все беды и злоключения от полного бесправия, совершенного отсутствия чувства законности и даже отсутствия сколько-нибудь обеспеченного порядка и спокойствия в стране; но эти слои были почти сплошь безграмотны и находились под сильнейшим воздействием очень активного, очень организованного, очень могущественного духовенства. Духовенство же поддерживало абсолютизм не за страх, а за совесть.

Кучка передовой военной молодежи составляла в Испании в первые годы после освобождения ее от Наполеона ничтожную количественно величину сравнительно со всею массою кадрового офицерства, либо вполне преданного абсолютизму, либо (в большинстве случаев) совершенно безразличного в политическом отношении. Характерно, между прочим, что эта кучка передовой военной молодежи в Испании (так же, как декабристы в России) была настроена в общем весьма патриотически и очень гордилась тем, что Испания была одною из двух континентальных стран, не подчинившихся Наполеону; второю страною была Россия, и мне приходилось неоднократно встречать в тогдашней испанской литературе восторженные упоминания о «пожаре Москвы, спасшем Европу».

Чем меньше ждали революции именно в Испании, тем большее впечатление она произвела. Движение в Неаполе, тоже военное и тоже увенчавшееся сначала некоторым успехом, не могло даже отдаленно итти в сравнении с испанской революцией. Во-первых, оно разразилось позже, чем в Испании, во-вторых, оно с самых первых дней отличалось гораздо меньшею решимостью, в-третьих, оно было быстро задавлено, в-четвертых, о нем вообще Европа очень мало знала, так как даже в короткие месяцы конституционного правления неаполитанская пресса ничего почти не сделала для освещения событий в глазах европейского общественного мнения, тогда как испанская революция получила сразу же могущественную союзницу в лице французской либеральной печати. Не только географическая близость Испании к Франции, но и идейное содержание испанского движения роднило новых мадридских правителей с французскими последовате-

лями конституционалиста Бенжамена Констана, с почитателями памфлетиста Поля-Луи-Курье и народного поэта Беранже и др. А когда Священный Союз на Веронском конгрессе 1822 года выдвинул окончательно мысль об усмирении испанской революции французскими вооруженными силами, когда Шатобриан стал решительно агитировать в пользу интервенции, когда все реакционные силы при французском дворе сделали интервенцию своим очередным и самым важным делом, тогда французская оппозиционная пресса еще усилила свой и до того живой интерес к Испании,—и в Европе в 1823—24—25 г.г., со слов французских газет, не переставали узнавать и повторять об ужасах наступившей (после французской интервенции) испанской реакции.

Таким образом смело можно утверждать, что в то пятилетие 1820—1825 г.г., когда созревало революционное движение в России, разразившееся 14 декабря, именно Испания стояла в центре внимания будущих декабристов, поскольку они вообще интересовались Западною Европою.

Напомним в нескольких словах, что именно произошло в Испании.

Вернувшийся в Испанию в 1814 г. после прекращения Наполеоновского владычества король Фердинанд VII оказался жестоким и тупым деспотом, при котором все давнишние пороки давно уже гнившего абсолютизма с особою силою, в особенно нетерпимом виде выступили наружу. Дикий произвол власти, фанатизм инквизиции, общая продажность, нищета народа—все это казалось особенно вопиющим после только что геройски перенесенной борьбы против Наполеона. Несколько раз пробовали революционно настроенные офицеры поднять армию против Фердинанда VII, но это не удавалось. То в собственной среде находились предатели, то выдавали унтерофицеры, которым за предательство обещано было, иначе для них недоступное, производство в офицерский чин, то солдаты, покорно слушая все, что им говорил офицер, чуть дело доходило до особы короля, оказывались решительно несогласными ни в чем, что могло бы хоть отчасти показаться восстанием против самого Фердинанда. И все-таки мысль о военном перевороте не покидала офицеров.

Нужно было ждать счастливого случая,—как ждали этого случая и будущие декабристы, которые подумали, будто дождались его в декабре 1825 г. Но испанские революционно-настроенные офицеры дождались такого случая, который в самом деле способен был привести в их ряды серую солдатскую массу: они воспользовались естественным нежеланием солдат отправляться в далекую, опасную, непонятную им войну против южно-американских колонистов. Следует заметить, что восстание в южно-американских колониях Испании, начавшееся еще в годы Наполеона, оказывалось явственно сильнее испанского правительства. Малочисленные усмирительные испанские отряды, разбросанные по необ'ятным пространствам, погибали под

пулями и кинжалами инсургентов и вымирали от тропического, непривычного климата; прятаться приходилось в лесах, чащах, пустынях, очень мало известных самим инсургентам и уж вовсе не известных приезжим испанским войскам. Борьба была вполне безнадежна. А тут еще само испанское правительство, с отличавшим его легкомыслием и непониманием истинного значения своих поступков, принялось распространять в армии известия о неслыханных мучениях, которым будто бы восставшие колонисты подвергают попадающих в их руки испанских солдат. Эта пропаганда имела целью возбудить воинственный пыл усмирительных отрядов, а на самом деле солдаты, предназначаемые для экспедиции, совсем пали духом: отныне они знали, что им грозит не простая смерть, а квалифицированная, с неслыханными предварительными мучениями. Новая большая отправка подкреплений в Южную Америку предвиделась в начале 1820 г. Среди солдат уже в 1819 г. замечалось брожение. Пропаганда революционно настроенного офицерства на этот раз, наконец, упала на благодарную почву. Войска, стоявшие в Кадиксе и предназначенные к отправке в экспедицию, громко роптали. Между ними стала к тому же свирепствовать желтая лихорадка, занесенная больными, эвакуированными из Америки обратно в Испанию. Пришлось часть кадикского лагеря перенести в Севилью и дальше к северу. И настроение кадикских войск понемногу распространялось все дальше и шире и охватывало значительную часть испанской армии. Жалованье солдатам задерживалось, пропитание отпускалось скудное (да и то разворовывалось комиссариатом снабжения), и эти условия тоже непрестанно раздражали и волновали солдат.

Нужно сказать, что даже среди монархически настроенного офицерства и чиновничества в этот период (до революции 1820 г.) замечалось некоторое раздражение против правительства и наклонность к либерализму. Напр., арестованные по политическим делам и сидевшие в 1819 г. в военных тюрьмах офицеры пользовались, в сущности, почти полною свободою, принимали кого хотели, писали кому хотели, иногда тайком выпускались днем из тюрьмы, и тюремное начальство знало об этом, но смотрело сквозь пальцы. Арестованные в течение всего 1819 г. продолжали деятельно готовить восстание и были в непрерывных сношениях с оставшимися на свободе товарищами. Дон Антонио Квирога, полковник, сидевший под арестом еще с лета 1819 г. в доминиканском монастыре в Алкала-де-лос-Газулес, был даже избран заговорщиками в начальники и руководители восстания. Другим руководителем назначен был офицер генерального штаба, командир батальона, стоявшего в Кабесас-де-сан-Хуан на полупути по главному шоссе, соединяющему Кадикс с Севильей, дон Рафаэль дель-Риэго.

Дон Риэго был едва ли не самою яркою волевою личностью испанской революции. Начавши блестяще свою карьеру в генеральном

штабе в столице, он был переведен, вследствие подозрений в либерализме, в астурийскую глушь батальонным командиром. Риэго имел влияние и авторитет как в революционном офицерстве, так и среди масонских лож (продолжавших нелегально существовать в Испании). Он-то и склонил окончательно еще колебавшихся заговорщиков к необходимости начать восстание, не откладывая дальше. В декабре 1819 г. решение было принято окончательно. 1 января 1820 г. Риэго собрал в 8 часов утра свой батальон, провозгласил пред солдатами восстановление конституции 1812 г., передал власть над деревней Кабесас новым властям—и выступил на условленное соединение с Квирогою. Явившись в Аркос, он арестовал генерала графа Кальдерона и его штаб. Затем подошел и опоздавший несколько (из-за проливных дождей) Квирога. Дальнейшие шаги инсургентов были сплошь удачны по своим результатам; королевская армия была в состоянии полного разложения, и дисциплина была налицо только в тех частях, которые тут же сформировались из заранее известных преданных революции солдат различных батальонов. Город Сан-Фернандо (бывш. Usla de Leon) был занят без всякой борьбы. Риэго присоединял к движению батальон за батальоном. Овладевши кассою военного округа (около 27.000 пезет) в Борносе, он пошел на Херес-де-ла Фронтера. Вступив в город 5 января, Риэго встретил в жителях полную покорность, но и совершенную апатию. Главнокомандующим генералом восставших войск был провозглашен Квирога. Но верных батальонов у революционеров было всего семь. В Кадиксе королевские войска, против ожидания, не сразу перешли на сторону революции. Прошло несколько очень тревожных для Квироги и Риэго дней, ожидаемых известий о быстром, самостоятельно возгорающемся пожаре революции ни откуда не поступало. Гражданское население молча подчинялось то королевским командирам, то революционным, смотря по тому, кто в данный момент в данном городе находился. Кадикс не сдавался,—об осаде его и взятии силою нельзя было, конечно, и думать, располагая всего 7 батальонами *без артиллерии* и без кавалерии.

Общее положение в течение первых недель восстания было очень мало обнадеживающим для революции: революционные войска (все те же несколько батальонов) держались в трех-четырех захваченных пунктах и выжидали событий. И даже прибывший в Сан-Фернандо вождь крайних либералов («экзальтированных», esaltados) Алкала Джулиано, которому Риэго поручил составить манифест к испанскому народу, составил этот документ в очень скорбных и подавленных тонах, при чем обнаружил крайне малую степень уверенности в победе. Но, несмотря на долгие неудачи, на много недель скитаний, на полную амнистию, обещанную королем Фердинандом восставшим солдатам (но не офицерам), солдаты восставших батальонов оставались верны своим вождям Квироге и Риэго. Правда, королевские

войска хотя и не примыкали к восстанию, но соблюдали нечто похожее на нейтралитет. Кое-где они сражались, а кое-где офицеры и генералы не решались противопоставлять их инсургентам. В большой город Кордову, напр., Риэго свободно вошел, имея при себе всего 285 человек. Но, правда, и держаться там он долго не мог. Жители прятались по домам и проявляли полнейшую пассивность.

При сколько-нибудь обдуманных и решительных действиях правительство Фердинанда могло бы и на этот раз еще справиться с революцией. Но ни ума, ни решимости, ни уверенности в своей правоте, ни сколько-нибудь убежденных и верных сторонников Фердинанд VII не имел. Это был человек, способный на любое злодеяние в тех случаях, когда оно было для него лично не сопряжено ни с какою опасностью, но совершенно лишенный даже и тени мужества. Силы революции он безмерно преувеличивал; об общем, хоть и пассивном, недовольстве населения он знал; и в первые дни после того, как получил известие о восстании на юге, он колебался между системою уступок и тактикою репрессий, не доводя до сколько-нибудь последовательных шагов ни ту, ни другую. Квирога и Риэго держались в отчаянных условиях,—но они решили выиграть время. И они не ошиблись. 20 февраля, вне района их почти вовсе растаявших уже батальонов, восстал город Корунья, и как войска, так и население примкнули к лозунгу восстановления конституции 1812 г. За Коруньей последовали Ферроль, Виго и ряд других городов.

Об'ятый страхом Фердинанд, очень мало доверявший мадридскому гарнизону, сразу же пошел теперь на уступки. Он учредил комиссию специально для изыскания причин к неудовольствию населения Одновременно были освобождены из тюрем инквизиции томившиеся там заключенные,—правда, далеко не все. Манифестом, появившимся 3 марта, обещаны были реформы и уничтожение злоупотреблений. Но было поздно. Именно эти уступки показали, что правительство еще слабее, чем восставшие. И это соображение побудило генерала Абисбала, человека весьма подозрительного по своим нравственным качествам, некогда участвовавшего в военном заговоре и предавшего самым низким образом своих товарищей,—снова совершить предательство, но на этот раз против короля и в пользу восставших, чтобы этим заслужить себе прощение в случае окончательной победы революции. Измена Абисбала окончательно сломила дух правительства. Непосредственно он увлек за собою, правда, немного войск, но гвардия, стоявшая в Мадриде, после перехода Абисбала на сторону революции, серьезно заволновалась, и тогда король, вне себя от страха, поспешил подписать 6 марта 1820 г. манифест о созыве кортесов.

Манифест появился рано утром 7 марта в официальной газете— и тотчас же начались в Мадриде колоссальные манифестации с требованиями установления конституции, полной политической амнистии,

немедленного созыва обещанных кортесов. Вечером того же 7 марта, узнавши от генералов гвардии, что с минуты на минуту гвардия поднимет знамя восстания, король об'явил о *немедленном* созыве кортесов и восстановлении конституции 1812 г. Революция победила в столице,—и тотчас же провинция примкнула к движению. Во главе революции стала хунта (junta), как бы временное революционное правительство, которое, правда, не сместило короля, но об'явило, что не доверяет ему и что будет зорко следить за выполнением королевских обещаний. Квирога и Риэго не только были спасены этим крутым поворотом дел, но и сделались сразу национальными героями. Они узнали о происшедшем, когда вдруг к ним из Кадикса явилась делегация с известием, что Кадикс (получивший вести из Мадрида) примкнул к движению. Когда уполномоченные Квироги прибыли в Кадикс, их встретили с ликованием—но тут произошел эпизод, необычайно повысивший революционное настроение в стране. На мирную толпу напали войска, — еще не сразу сообразившие, что произошло, и подстрекаемые реакционно настроенным офицерством,— и учинили резню. Конечно, эта резня 10 марта 1820 г. в Кадиксе не только не помогла, но крайне повредила королю. Революционеры решили действовать беспощадно относительно побежденных сторонников и слуг реакции.

Но реакция сопротивляться уже не думала: резня в Кадиксе перепугала ее самое страшно. Король Фёрдинанд окончательно покинул мысль о сопротивлении—и революция победила окончательно. Королю был, в сущности, оставлен только титул. Вся власть была отдана по вновь введенной конституции 1812 г. (с дополнениями) кортесам—народному представительству.

С лета 1820 г. до самого 1823 г. Испания была конституционною страною. Но ни на один момент ни король Фердинанд не мирился искренно с новым порядком вещей, ни Священный Союз во главе с Александром I и Меттернихом не желал признать испанских революционеров окончательными победителями. После долгих приготовлений и тайных переговоров в принципе была решена вооруженная интервенция, и собравшийся осенью 1822 года конгресс в Вероне поручил усмирение Испании французскому королю Людовику XVIII. Весною 1823 г. французская армия, под предводительством племянника короля, герцога Ангулемского, перешла через Пиринеи и пошла на Мадрид.

В течение нескольких месяцев все было кончено. Испанская революционная армия отчасти была разбита, отчасти растаяла при отступлении. Французы вошли в столицу, и вскоре туда явился Фердинанд VII; революционеры не покончили с ним, полагая, что вследствие этого месть победителей несколько смягчится. Самодержавие короля было восстановлено в полной мере,—и начались казни и преследования всех, сколько-нибудь активно действовавших с на-

чала 1820 г. Одним из первых погиб инициатор революции—Риэго. 17 августа 1823 г. Риэго явился в Малагу, в казармы расположенного там корпуса генерала Зайя и пытался побудить офицеров и солдат к возобновлению борьбы. Видя, что убеждения не действуют, он удалился с небольшою кучкою последователей в горы, где около месяца вел упорнейшую партизанскую войну с французами. Узнанный и преданный французам свинопасами в Сиерра-Моренских горах (15 сентября), он чуть не был растерзан фанатическою толпою по дороге в тюрьму. Когда в Мадрид пришло известие о его поимке, то король Фердинанд был вне себя от радости, так же, как двор, духовенство и высшее чиновничество. Французы перевезли в Мадрид арестованного, которого по дороге били, мучили, осыпали камнями подстрекаемые духовенством крестьяне. Как только его доставили в Мадрид, тотчас же «фискалу» (обвинителю) поручено быле составить обвинительный акт. Этот акт изобиловал неслыханною руганью, что вовсе не было в обычаях испанской юстиции, и настолько поразил умы, что в некоторых французских и английских газетах это обстоятельство было с укоризною отмечено. Риэго был назван подлецом, гнусным изменником, чудовищем и т. д. Риэго был повешен 12 октября 1823 года.

* * *

Таковы были события в Испании. Как могли повлиять на будущих декабристов эти трагические перипетии начала и конца испанского революционного движения?

Известие об испанских событиях было получено в Петербурге 23 марта 1820 г. Передовые люди—Н. Тургенев, Чаадаев—встретили эту весть с восторгом. «Слава тебе, славная армия испанская»,—писал Тургенев, приравнивавший освобождение от самодержавия Фердинанда к освобождению от ига Наполеона: «Во второй раз Гишпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству». Чаадаев называл испанскую революцию величайшею, всемирною новостью и находил, что в испанских делах кое-что близко касается России. Он не развивал этой мысли в письме к брату, прямо мотивируя свою несловоохотливость в данном случае боязнью перлюстрации. Декабристы и лица их убеждений и их круга были прямо потрясены испанскими событиями,—восторгам не было конца. Сходство между Россией и Испанией в некоторых отношениях, решающая роль восстания войск — все это особенно поражало воображение. Рылеев превозносил Риэго в стихах, Пушкин отомстил за его память «придворному льстецу», который осмелился в присутствии Александра I порочить казненного революционного вождя. Ни революционное движение в Неаполе, ни вспышки в Пьемонте не играли даже в отдаленной степени той роли в идеологии и настроениях декабристов, как испанское восстание. Даже греческое

восстание не имело в данном отношении того значения: греческая *война* была национальной войною одного народа против другого, греков против турок, и она затрогивала такие сложные и запутанные интересы, что ни в каком случае не могла без оговорок быть сопричисленной к революционным взрывам, вроде потрясших Пиренейский полуостров. Грекам сочувствовали Пушкин и декабристы, но им же если не сочувствовал, то больше всех фактически помог освободиться не какой-либо революционный энтузиаст, а Николай I, ненавидевший самую идею греческого восстания. И до Николая I в недрах русского двора и правительства грекам сочувствовали, напр., по религиозным мотивам («крест против полумесяца») очень многие из тех, которые впоследствии судили декабристов и затравили Пушкина.

Можно сказать, что с 1821 г., когда были окончательно и бесповоротно задавлены все революционные попытки в Неаполе и Пьемонте, когда (кстати заметим) во Франции взяло на несколько лет верх реакционное течение,—Испания оставалась единственным светочем, указывавшим, что в Европе революционный дух еще не повсеместно искоренен. И вот пришли новые, печальные для передовой России известия: французская армия, исполняя поручение Священного Союза, перешла в 1823 г. Пиринеи, и, разгромивши революционную испанскую армию, восстановила самодержавный трон Фердинанда VII. Риэго был повешен одним из первых, и об его казни я уже сказал. Нужно добавить, что Фердинанд VII после победы, одержанной над революционерами при помощи французских штыков, предался оргии мести. Он мстил казнями, пытками, преследованиями, восстановлением инквизиции, удушением последних признаков свободной мысли, мстил за свою вынужденную уступчивость, за трехлетнее притворство и подчинение. Именно то, что Фердинанд творил в Испании с осени 1823 г., а особенно в 1824 и 1825 г.г. — и заставило многих декабристов, напр., Каховского, по его собственным словам, поставить одною из целей будущего военного восстания в Петербурге уничтожение всей императорской семьи.

Вплоть до самых декабрьских событий в передовых кругах России не тускнела память о только что отошедших в историю испанских событиях и их героях.

В Петербурге, во время «междуцарствия» 1825 г., в одном книжном магазине красовались портреты Риэго и Квироги. Беляев и другие морские офицеры во время плавания у испанских берегов в 1824 г. говорили о Риэго и провозглашали тосты в честь его памяти. Скажем еще в заключение, что некоторые декабристы (Рылеев), при всем своем восторге пред испанской революцией, полагали, что русская революция не *может* быть покончена интервенцией, как была покончена революция в Испании (не говоря уже о Пьемонте и

Неаполе). Что̀ именно при этом имелось в виду—географические или иные условия—выяснить трудно.

Не подлежит сомнению только одно: русские революционеры были сильно ободрены начальным и длительным — по тому времени — успехом испанской революции. Что Испания 1820 г. и по своей социальной структуре, и по полному невежеству народных масс, и по силе религиозных чувств, и по крутости и жестокой решительности методов управления, и по целому ряду других признаков гораздо более походит на Россию, чем, напр., Франция 1789 г.— это слишком бросалось в глаза, и после всего сказанного выше, на этом можно больше не останавливаться. Роль испанской армии, не главная, а решающая, единственная,—тоже, конечно, не могла не поразить будущих декабристов, с жадностью следивших, во французской передаче, за испанскими событиями.

Обе аграрные страны на западном и восточном концах Европы не имели в 1820—1825 г.г. сколько-нибудь сильного среднего класса,—и так продолжалось и в Испании, и в России еще сто лет, и за эти сто лет Испания и Россия выработали лишь очень слабую и политически довольно беспомощную буржуазию; в обеих странах в течение всего этого столетия армия в решающие моменты оказывалась всегда самым могучим фактором движения: в Испании при этом не только самым могучим, но и единственным. Социологически параллельное изучение новейшей истории Испании и России могло бы дать очень ценные и неожиданные результаты. Но наша задача в этой краткой заметке, написанной к столетнему юбилею декабрьского восстания, заключалась только в том, чтобы отчасти воскресить ту духовную атмосферу, в которой жили будущие декабристы, напомнить о некоторых событиях, которые могли произвести на них (и действительно произвели) сильное впечатление.

Реакция, наступившая в Испании в 1823 г. и обострившаяся в России после 14 декабря 1825 г., старалась всячески в обеих странах уничтожить самое воспоминание о военных восстаниях, происшедших в Испании в 1820 г., а в России в 1825 г. Но если в России интерес к декабристам никогда не замирал окончательно и пробуждался всякий раз, когда по цензурным условиям становилось возможным о них говорить и писать, — то нельзя, к сожалению, сказать этого об Испании: испанская историография, начиная от времен Фердинанда VII до нынешней эпохи генерала Примо-де-Ривéра, довольно небрежно и безучастно относилась и относится по сей день к событиям 1820 и сл. годов. Но однако уже по тому, что пока опубликовано, можно судить, что не только во многом существенном, но и в целом ряде бытовых мелочей и обстановочных деталей испанские инсургенты и русские декабристы и до, и после событий, с которыми те и другие связали свое имя, имело между собою немало общего. Когда будет написана полная история револю-

ционного движения в России (а это только начато) и такая же полная история революционного движения в Испании (что еще вовсе не начато),—тогда отмеченная здесь аналогия окажется и не единственной, и не случайной. Тут мы могли ее именно только бегло отметить, потому что интересовались не всем этим вопросом в его полноте, но лишь психологическим влиянием, которое могли иметь испанские события на декабристов.

Евг. Тарле.

Декабристы на каторге и в ссылке

Царь победил. Сотни солдат были расстреляны во время восстания в Петербурге и на юге, пять офицеров были повешены, около десяти покончили самоубийством при неудачном исходе восстания и во время инквизиционного следствия, руководимого самим царем. Приговоренных к смертной казни и «помилованных» со ссылкой в каторжные работы или просто осужденных на каторгу решено было отправить в Сибирь.

Были исключения: нескольких оставили в крепости, как, например, Гавр. Степ. Батенькова. Верховный уголовный суд приговорил его к вечной ссылке в каторжные работы, а через несколько дней Николай, по общему манифесту, сократил ему срок каторги до 15 лет. Когда же осужденных стали развозить в Сибирь, то Николай велел заключить Батенькова на 20 лет в Петропавловскую крепость, и он просидел все это время в каземате, имевшем десять шагов в длину и шесть в ширину, без солнца, без разговоров и без свидания с кем бы то ни было. Здесь Батеньков, как он сам определил в одном своем стихотворении, совершенно одичал, и лишь в 1846 году Николай разрешил отправить его на поселение в Сибирь, откуда он вернулся в Европейскую Россию после амнистии 1856 года. И. В. Поджио продержали так в Шлиссельбургской крепости восемь лет.

Других, как В. К. Кюхельбекера или А. О. Корниловича, продержали по нескольку лет в российских крепостях и после того отправили на поселение в Сибирь или на Кавказ, где они скоро «выходили в расход» в войне с горцами.

Но основную массу осужденных заговорщиков отправили в Сибирь—на каторжные работы или на поселение. Отправка началась в конце июля 1826 года и уже в первых числах августа были приняты в Сибири прибывшие туда, в большинстве скованными, в сопровождении фельд'егерей и жандармов, декабристы Арт. Муравьев, А. Якубович, В. Давыдов, Е. Оболенский, С. Трубецкой, С. Волконский, А. и П. Борисовы, П. Коновницын, Н. Цебриков. Ф. Шаховской, М. Пущин и другие; вслед за ними — В. Голицын, Н. Бобрищев-Пушкин, А. Н. Муравьев и другие.

Были выработаны правила о порядке надзора за сосланными на поселение государственными преступниками. Николай хотел, чтобы бывшие заговорщики чувствовали наказание. Правилами, составленными по указанию царя, предписывалось: «Дабы из числа сих преступников те, кои имеют богатых родственников, не могли получать от них больших денежных сумм, то, для ограждения в сем случае, наблюдать, что каждый из ссыльных может получать от родственников на первое обзаведение не более, как до двух тысяч рублей ассигнациями, а потом на содержание ежегодно не более, как до тысячи рублей ассигнациями, но и сии суммы доставлять им не иначе, как через гражданских губернаторов, кои должны выдавать им оную помесячно. или как за удобное признают. Если же между сосланными на поселение преступниками есть не имеющие достаточных родственников и не могущие получать от них никакого вспомоществования, таковым давать от казны солдатский паек и крестьянскую зимнюю и летнюю одежду, по распоряжению местных генерал-губернаторов»...

Позволялось сосланным декабристам и их женам переписываться с родными, оставшимися в Европейской России, но их письма должны были итти через жандармское управление (III Отделение), а письма к ним должны были просматриваться губернаторами по месту ссылки адресатов, при чем письма, заключавшие «в себе неприличные и непозволительные выражения», надлежало отправлять опять-таки в III Отделение. Впоследствии правило о сумме денег, которую могли получать ссыльные, было распространено и на их жен, т.-е. семейный декабрист имел право получать от родных по 2.000 рублей в год.

Конечно, это правило на деле не применялось, так как родственники сосланных всеми путями пересылали в Сибирь деньги, мебель, продукты сверх всяких ограничений. Все это пересылалось через отправлявшуюся в Сибирь прислугу декабристов (из их бывших крепостных) и, главным образом, через сибирских купцов, приезжавших в Европейскую Россию по своим торговым делам.

Состоятельные или богатые декабристы оказывали денежную помощь своим бедным товарищам, которых было очень много среди членов Южного Общества и Общества Соединенных Славян. Некоторые декабристы не получали своевременно помощи от своих богатых родных и пользовались в таких случаях кредитом у сибирских купцов, которые руководствовались при этом не только соображениями материальными, но и личными симпатиями к сосланным. В Сибири и до прибытия декабристов был распространен вольный образ мыслей, а уж при них «неприличные и непозволительные» идеи получили право гражданства.

Тем не менее многие государственные преступники на поселении нуждались в средствах к жизни, и правительство Николая I вынуждено было смягчиться. В 1839 году царь велел: «Выдавать до 200 руб. в год тем поселенным государственным преступникам, которые ничего от

родственников своих в России не получают; тем, которые от родственников своих получают менее 200 руб. в год, выдавать из казны достальную до 200 руб. сумму; не полагать в счет вспоможение, получаемое государственными преступниками от лиц, в Сибири находящихся; детей всех государственных преступников, в Сибири рожденных, освободить от платежа податей и повинностей до новой ревизии».

Когда число сосланных на поселение увеличилось за счет тех, которые отбыли срок каторжных работ—Николай велел отводить поселенным государственным преступникам по 15 десятин пахотной земли близ мест их жительства, «дабы предоставить им через обрабатывание оной средства к удовлетворению нужд хозяйственных и к обеспечению будущей судьбы детей их, прижитых в Сибири». Наделение пахотною землею распространено было впоследствии и на семейства умерших государственных преступников.

Но с наделами вышла забавная история, уничтожившая добрые намерения милостивого царя. Так как декабристы были поселены в городах, то пахотная земля отводилась им за городом, и они должны были для обработки ее уезжать из места поселения. Но, согласно правилам о порядке отлучек декабристов из места их поселения, следовало «все отлучки государственных преступников допускать каждый раз с ведома городничего и с выдачею от земского суда билета на проезд до места назначения; билеты земским судам выдавать отнюдь не далее пределов округа; в билетах означать время, на которое дозволена отлучка, если эта отлучка по уважительным причинам разрешена будет за черту волости, в которой находится участок земли»...

Что касается правил надзора за сосланными декабристами, то они были, конечно, очень стеснительны, и в этом отношении государственные преступники, происходившие из невлиятельных и несостоятельных семей, почти всецело зависели от усмотрения местной администрации. Чем ниже рангом был чин, которому вверена была участь государственного преступника, тем шире и грубее был произвол, допускавшийся им при опеке над бывшим заговорщиком.

Впрочем, усердие не по разуму проявляли не только захолустные администраторы. Столичные аристократы из числа царских министров старались не отставать от них. Так, например, царь не хотел, чтобы декабристы пересылали свои портреты в Россию, ибо этим вызывалось сочувствие к осужденным преступникам. А чтобы быть уверенным в соблюдении этого запрета, Николай приказал: «воспретить поселенцам из государственных и политических преступников на будущее время снимать с себя портреты и отправлять оные к родственникам их или к кому бы то ни было».

Начальник III Отделения граф А. Ф. Орлов расширил рамки запрета и предложил генерал-губернатору: «... приказать немедленно отобрать от поселенцев из государственных преступников и полити-

ческих ссыльных все их портреты, какие у них найдутся... Что же касается до государственных преступников и политических ссыльных, исключенных по особой монаршей милости из состава поселенцев и находящихся на государственной службе в пределах Сибири, и до которых последовавшая высочайшая воля прямого отношения не имеет», то граф Орлов просил князя П. Д. Горчакова внушить этим преступникам, «что было бы лучше, если бы и они не снимали с себя портретов и не пересылали их к своим родственникам, для собственной их пользы, дабы портретами своими они не обращали на себя неуместного внимания».

И хотя произведенными у государственных преступников по всей Сибири «обысками никаких портретов найдено не было», но известно, что портреты декабристов были широко распространены в Европейской России. Большим успехом пользовались копии портретов по рисункам декабриста Н. А. Бестужева, который был отличным рисовальщиком и оставил довольно верные изображения большинства заговорщиков.

Не только портреты декабристов были предметом беспокойства правительства, не только в них видел Николай причину шаткости своего трона. Портреты их жен и матерей также беспокоили царя. В тридцатых годах один из шпиков жандармского управления доносил правительству, что на ряду с портретами сосланных декабристов предметом поклонения и поводам к возбуждению недовольства в московском обществе служит портрет матери декабристов Е. Ф. Муравьевой. Портрет ее, по словам ревнителя существующего строя, почитается во многих домах наравне с иконами святых и благочестивые люди молятся на Муравьеву, которая заведомо для всей Москвы является главным материальным оплотом не только своих сыновей, но и большинства осужденных заговорщиков.

И переписка декабристов вызывала опасение правительства не только своим содержанием. Усердные слуги Николая I отличались глупостью. Так, генерал-губернатор Западной Сибири кн. П. Д. Горчаков велел об'явить «государственным преступникам, находящимся в пределах Западной Сибири на поселении, на службе и на жительстве, чтобы они, при отправлении каждого письма, означали на конверте свое звание и фамилию, предварив преступников, что за посылку писем, хотя бы и через почтовую контору, но без требуемой надписи на конверте они будут подвергнуты строжайшему взысканию». На основании этого требования, многие письма стали отправляться в Россию с надписями на конвертах: «от государственного преступника» с обозначением имени и фамилии.

Эту глупость князя Горчакова заметил даже недостаточно умный граф Орлов, который понял, что такими надписями еще больше привлекается внимание к письмам декабристов и что это еще больше делает их письма предметом пропаганды «неприличных и недозволенных» мыслей. Орлов запретил делать на конвертах надписи «от госу-

дарственного преступника». Конечно, отметка о звании отправителя письма требовалась для облегчения шпионского досмотра переписки декабристов, которые официально носили звание «государственных преступников». Это звание значилось даже в дипломах сыновей декабристов об окончании гимназии. Но декабристы умудрялись вести переписку помимо внимания жандармского начальства, пользуясь для этого всяким случаем: их письма пересылались вместе с корреспонденцией сибирских купцов или на имя прислуги декабристов, которые сами и получали эти письма на почтамте по доверенности прислуги.

Что касается содержания переписки государственных преступников по существу, то в этом отношении правительство было особенно настороже. Сильно взволновали жандармов и их царя письма жен декабристов из Петровской каторжной тюрьмы (в 1830 году) о плохом устройстве последней. Но вследствие именно этих жалоб жен декабристов на отсутствие в Петровской тюрьме окон и на тесноту помещений для скученных там каторжан-декабристов Николай велел прорубить окна.

Итак, сосланные на каторгу декабристы естественно пользовались еще большим вниманием правительства Николая I, чем сосланные на поселение. Отправляли их в Сибирь закованными в ножные кандалы под строгим надзором жандармов и фельд'егерей. Не позволяли в пути видеться с родственниками, что, конечно, обходилось всеми мерами и способами, не всегда, однако, успешно. Так, например, было возбуждено дело по поводу домогательств Е. С. Уваровой видеться в Ярославле с проезжавшим в Сибирь братом ее, декабристом М. С. Луниным; велась переписка по поводу других подобных случаев и по поводу поддержки, оказываемой родственниками состоятельных декабристов их бедным товарищам по ссылке. Беспокоилось правительство по поводу встреч, которые устраивались проезжавшим в Сибирь заговорщикам населением попутных городов, даже местными представителями власти. Были случаи, что губернаторы и полицеймейстеры снимали с декабристов кандалы, давали возможность осужденным видеться с товарищами, нарочно задерживая для этого в пути отдельные группы и собирая их у себя. Таких представителей власти правительство «вразумляло» всеми мерами, вплоть до предания суду.

Что касается фельд'егерей, под надзором которых перевозились декабристы в Сибирь, то в большинстве случаев это были грубые люди, желавшие выслужиться перед начальством и потому обращавшиеся с бывшими заговорщиками очень грубо. Кроме того они старались заработать на кормовых и суточных, отпускавшихся для осужденных, и потому спешили сверх всякой возможности. Быстрота передвижения особенно тягостно отражалась на здоровье декабристов и часто приводила к катастрофам, едва не стоившим им жизни.

Из осужденных в каторжные работы были отправлены в Сибирь в первую очередь С. Трубецкой, С. Волконский, Е. Оболенский, А. и П. Борисовы, В. Давыдов, А. Якубович, Арт. Муравьев. Иркутский губернатор Горлов, не имея прямых указаний о том, куда поместить прибывших, распределил их на Усольский соляной и Николаевский и Александровский винокуренные заводы.

Вот как описывает Е. П. Оболенский условия жизни декабристов в Усольском каторжном заводе (в 60 верстах от Иркутска): «По прибытии в завод, нас приняли в заводской конторе, отобрали деньги, бывшие при нас, и отвели квартиру у вдовы, у которой мы поселились в единственной ее горнице; сама же она жила в избе.

Скоро прибыл давно ожидаемый горный начальник Крюков, который должен был окончательно распорядиться о назначении нас на заводскую работу.

Невольно иногда тревожила нас мысль, что нас могут употребить в ту же работу, которую несли простые ссыльно-каторжные; я видел сам, как они возвращались с работы покрытые с головы до ног соляными кристаллами, которые высыхали в волосах, на одежде, на бороде—они работали без рубашек—и каждая пара работников должна была вылить из соляного источника в соляную варницу известное число ушатов соленой влаги. На другой день после свидания с начальником урядник Скуратов приносит нам два казенные топора и об'являет, что мы назначены в дровосеки и что нам будет отведено место, где мы должны рубить дрова—в количестве, назначенном для каждого работника по заводскому положению; это было сказано вслух, шопотом же он об'явил, что мы можем ходить туда для прогулки и что наш урок будет исполнен без нашего содействия. В тот же день нам указали назначенное нам место для рубки дров, вблизи от завода, и мы возвратились домой, довольные прогулкой и назначением.

Дни наши в заводе текли однообразно. Каждый день утром мы шли с Якубовичем на обычную работу, и я, наконец, достиг в рубке дров того навыка, что мог уже нарубать четверть сажени в день; в третьем часу мы возвращались домой, обедали сытно, хотя не роскошно, а вечер проводили или в беседе друг с другом, или играли в шахматы. Сравнительно с тем, чего я ожидал, мы были так покойны, что я решительно не верил, чтобы наше положение не изменилось к худшему; мой товарищ был мнения противного и находился в твердом убеждении, что вместе с коронацией, назначенной 22 августа, последует манифест о нашем возвращении».

Но недолго пробыли декабристы на этих заводах. Уже в октябре 1826 года их, по приказанию из Петербурга, перевели в Благодатский рудник, принадлежавший к Нерчинским каторжным заводам. Прибывшие за ними государственные преступники уже прямо посылались на рудники Нерчинского округа.

Начальство рудников содержало попавших в его распоряжение декабристов очень строго, предписывало низшим чиновникам обращаться с бывшими заговорщиками, как со всеми уголовными каторжниками, грозило осужденным применить телесные наказания, если они проявят ослушание или строптивость. И все-таки условия жизни декабристов на каторге были мягче условий жизни уголовных каторжан. Но, конечно, сами осужденные заговорщики не могли ценить этих относительных удобств, так как для них переход от прежнего образа жизни к новому был неизмеримо тяжелее того же перехода для уголовных каторжан.

Здесь им пришлось работать в подземных шахтах. По официальным источникам, «закованные в кандалы, арестанты работали в подземных шахтах, спускаясь в них в 5 час. утра и оставаясь до 11 дня. Норма выработки руды полагается три пуда на каждого». Эта работа, сравнительно облегченная, была установлена в ноябре 1826 года, по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, сообщенному Т. С. Бурашеву губернатором Цейдлером, который писал: «нынешний порядок об употреблении в работу признаю нужным переменить, и потому распорядиться, чтобы они были употреблены в работу одну смену в сутки, посылать их без изнурения и с обыкновенными льготными днями, но надзор за ними усугубить»...

В это время к декабристам стали с'езжаться их жены. Первыми прибыли М. Н. Волконская, Е. И. Трубецкая, А. Г. Муравьева. М. Н. Волконская так описывает жизнь сосланных заговорщиков в Благодатском: «На следующий день я прибыла в Большой Нерчинский завод—местопребывание начальника над рудниками. После того, как был выполнен целый ряд несносных формальностей, начальник рудников, Бурнашев, представил мне для подписи бумагу, по которой я соглашаюсь видеться с мужем лишь два раза в неделю в присутствии офицера и унтер-офицера, никогда не приносить ему ни вина, ни пива, не покидать деревни без разрешения на то заведующего тюрьмою и еще какие-то другие условия. Государственные преступники должны выносить всю суровость закона, как простые каторжники, но не могут наслаждаться семейной жизнью, даруемой величайшим преступникам и злодеям. Наши мужья были заперты и закованы в цепи со дня их прибытия. Благодатский рудник состоял лишь из одной улицы, окруженной горами, более или менее изрытыми раскопками, которые производились для добывания свинца, содержащего серебряную руду. Тюрьма стояла у подошвы высокой горы; то была покинутая казарма, мало поместительная, грязная, отвратительная. Она из двух комнат, разделенных большими холодными сенями. Одна из них была занята уже раз бежавшими преступниками. Вскоре пойманные, они содержались в кандалах. Другая предназначалась для государственных преступников (декабристов). Вход в эту комнату занимали солдаты с унтер-офицером, курившие отврати-

тельный табак и ни мало не заботившиеся о чистоте помещения. Вдоль стен комнаты помещалось нечто вроде досчатых конур или каморок, отведенных арестованным; чтобы войти в них, надо было подняться на две ступеньки. Та, в которой помещался Сергей, имела лишь три аршина в длину и два в ширину, она была настолько низка, что в ней трудно было стоять. Он занимал ее вместе с Трубецким и Оболенским. Оболенский, не имея места для своей постели, велел прибить доски к стене над кроватью Трубецкого. Эти отделения были маленькими тюрьмами в стенах тюрьмы.

Бурнашев предложил мне войти. Было так темно, что в первую минуту я ничего не увидела; открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне: лязг его цепей поразил мнея. Я не знала, что он был в кандалах. Суровость, с которой он содержался, дала мне понятие о страданиях, переносимых им. Вид его кандалов так взволновал и растрогал меня, что я опустилась перед ним на колени и поцеловала сперва цепи, а затем его. Бурнашев, стоявший на пороге, так как из-за недостатка места не мог войти, остолбенел от удивления при виде моего восторга и уважения к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обращался, как с каторжником.

Когда свидание окончилось, я пошла устроиться в той же крестьянской избе, где жила Каташа. Изба эта была столь тесна, что, когда я улеглась на полу на своем матраце, голова моя касалась стены, а ноги—дверей. Печь дымила, и ее невозможно было топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стекол, их заменяла слюда. По тюремным правилам на работу ходили ежедневно, кроме воскресенья, от 5 часов утра до 11: урочная работа была в три пуда руды на каждого.

На другой день по приезде в Благодатск я встала с рассветом и пошла по деревне, спрашивая о месте, где работает муж. Я увидела дверь, ведущую как бы в подвал для спуска под землю и рядом с нею вооруженного сторожа. Мне сказали, что отсюда спускаются наши в рудник: я просила, можно ли их видеть на работе; этот добрый малый поспешил дать мне свечу, нечто вроде факела, и я, в сопровождении другого, старшего, решилась спуститься в этот темный лабиринт. Там было довольно тепло, но спертый воздух давил грудь; я шла быстро и услышала за собой голос, громко кричавший мне, чтобы я остановилась.

Я потушила факел и пустилась бежать вперед, так как видела в отдалении блестящие точки: это были они, работающие на небольшом возвышении. Они опустили мне лестницу, и я взлезла по ней, ее втащили, и таким образом я могла повидать товарищей моего мужа, сообщить им известия из России и передать привезенные мною письма.

Жизнь декабристов в Благодатском разнообразилась случаями, грозившими очень тяжелыми последствиями и вытекавшими исклю-

чительно из точного понимания низшим рудничным начальством петербургских указаний.

Вот еще любопытное описание жизни декабристов и их жен в Благодатском, составленное по донесениям-дневникам тюремного начальства: «1 февраля 1827 года: Сергей Трубецкой и Сергей Волконский, с приездом жен, сделались приметно веселыми. 1 апреля 1827 года: с 22 марта Сергей Волконский был нездоров простудной горячкой. Март 1827 года: Сергей Трубецкой и Сергей Волконский навыкают к роду нынешней жизни, больше бывают спокойны, но Волконский, по слабости здоровья, чаще задумчив». 1 апреля 1827 года против имени Арт. Муравьева: «С получением им письма (27 марта) от его жены душевно страдает. 28 февраля: Сергей Волконский для свидания с женою в работу посылаем не был. Сергей Трубецкой и Сергей Волконский 14 числа сего марта для свидания с женами в работу не посылались. 17 и 20 числа марта Трубецкой и Волконский с женами их имели свидания. 23, 26 и 29 числа марта Трубецкой и Волконский с их женами имели свидания». Против имени А. Якубовича: «Часто жалуется на боль в голове (от раны в черепе, полученной на Кавказе) и груди, но в работу ходит без ропота, уныл, иногда бывает и весел, но с большим принуждением». В марте месяце: «Сергей Волконский и другие работали в горе в Крещенском провале прилежно и старались быть веселыми, работали с великим терпением».

С расширением сибирской колонии декабристов правительство Николая Павловича решило собрать их в одном месте, чтобы удобнее иметь надзор за ними. Генерал-губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский предлагал построить специальную казарму для декабристов в Александровском сереброплавильном заводе, а до постройки этой казармы государственных преступников перевели в Читу, небольшую деревушку Забайкалья. Доставили их сюда из всех каторжных тюрем и рудников к осени 1827 года и поселили в этапной тюрьме для уголовных каторжан.

Обстоятельное описание условий пребывания декабристов в Чите оставил А. Е. Розен в своих воспоминаниях: «Читинский острог — бывший этап или место ночлега для проходящих партий ссыльных в каторгу, в небольшом селении. Теснота нашего помещения не позволяла содержать наши каморки в совершенной опрятности; спали и сидели мы на нарах, подкладывали под себя войлок или шубу; под нарами лежали чемоданы и сапоги. Ночью при затворенных дверях и окнах спирался воздух. К осени 1827 года был достроен большой острог с пятью отделениями. В сентябре 1827 года всех нас, кроме М. С. Лунина, остававшегося в отдельной избушке, переместили из временных острогов на новоселье—во вновь устроенный общий острог. Вместо нар заказаны были на собственные деньги кровати, не для того, чтобы спокойно спать, но чтобы держать комнаты в большей опрятности; под кроватями можно было мыть

и мести пол. Стол был у нас общий, обедали по своим комнатам, накрывали столы сами по очереди, по дежурству, сами ставили самовары. Пища была у нас простая и здоровая; часто удивлялся я умеренности и довольству тех товарищей, которые привыкли всю жизнь свою иметь лучших поваров и никогда без шампанского и вина не обедали, а теперь, без сожаления о прошлом, довольствовались щами, кашею, запивали квасом или водою.

Общие работы наши продолжались по-прежнему: от мая до сентября, когда можно было рыться в земле, мы засыпали чортову могилу, исправляли почтовую дорогу, сажали, поливали и пололи в огороде, который доставлял нам овощи и картофель на целый год. От сентября до мая водили нас ежедневно по два раза в особенную просторную избу, в коей устроены были ручные мельницы с жерновами; каждому приходилось молоть по два пуда ржи на урок. Сначала работа эта была трудная, пока рука не привыкла. Здоровые товарищи доканчивали уроки больных или слабосильных».

В Чите было положено начало той академии, которая впоследствии, в Петровском заводе, послужила рассадником науки среди рядовых декабристов, понесших свои знания в массу сибирского населения.

Пока декабристы жили в Чите (их там собралось уже около 100 человек), продолжалось обсуждение вопроса о постоянной тюрьме для них, при чем отвергнута была первоначальная мысль о постройке ее в Александровском заводе. Тем временем Николай Павлович назначил главным начальником над собранными в Чите государственными преступниками ген. С. Р. Лепарского, которого он хорошо знал с давних пор, как строго исполнительного служаку и преданного человека. Еще при Екатерине второй Лепарский, поляк по рождению, показал свою преданность русскому царскому престолу тем, что строго расправлялся с поляками, восставшими против русской захватнической политики. Но под старость Лепарский, естественно, умерил свой верноподданнический пыл, и в должности коменданта тюрьмы декабристов заслужил их признательность за беспристрастие и сердечное отношение к исполнению своих обязанностей.

Впрочем, эта сердечность не помешала Лепарскому проявить чисто николаевскую жестокость, когда еще в читинский период жизни декабристов один из сосланных в каторгу заговорщиков, ближайший помощник С. И. Муравьева-Апостола по руководству восстанием Черниговского полка, поручик И. И. Сухинов, задумал устроить бунт уголовных каторжан. Сухинов хотел с помощью организованных им в Зерентуе уголовных обезоружить постепенно все воинские команды на Нерчинских каторжных рудниках, собрать большой повстанческий отряд, освободить читинских декабристов и уже с ними обсудить план дальнейших революционных действий. Замысел этот не осуществился вследствие доноса одного из уголов-

ных, и осужденный к смертной казни Сухинов повесился накануне расстрела, которому подверглись некоторые его соучастники. Приводя в исполнение приговор над товарищами Сухинова из уголовных каторжан, Лепарский проявил жестокость настоящего царского палача.

Это был единственный случай жестокости старого коменданта в эпоху его совместной жизни с декабристами. В остальном он был всегда выдержан, благожелателен к декабристам и постоянно защищал их права от бездушных правил Николаевской тюремной политики.

В первое время после комедии суда декабристы надеялись, что их скоро освободят из тюрьмы, что все наказание сведется к переводу в армию или к посылке на Кавказ—сражаться с горцами. По отношению к солдатам, замешанным в восстаниях 1825 года, кроме подвергнутых смертной казни под видом прогнания сквозь строй, так и было поступлено. Но когда заговорщиков-офицеров послали в Сибирь, они поняли, что дело принимает серьезный оборот, что на милость Николая рассчитывать не приходится. В некоторых горячих головах зародилась мысль о побеге, но, по настоянию других товарищей, эту мысль оставили, так как не хотели брать на себя ответственность за новые испытания и за усиленный надзор для остальных товарищей по всей Сибири.

Наконец, Лепарский предложил устроить тюрьму для бывших заговорщиков в Петровском каторжном заводе, близ Иркутска. Николай согласился, сам утвердил план тюрьмы, и к осени 1830 года декабристы были переведены в Петровское.

Перевод этот был совершен с особенной торжественностью, наподобие перехода евреев из Египта в землю Ханаанскую. Переход совершался пешком, табором, как у кочевых народов, и длился шесть недель (7 августа—23 сентября). Он оставил у декабристов хорошие воспоминания, и они весело вошли во двор Петровской тюрьмы. Но, как ни весело вошли декабристы в свою Бастилию, тюрьма встретила их невесело. Штейнгель описывает ее так: «Совершенно темные номера, железные запоры, четырехсаженный тын, не допускающий ничего видеть, кроме неба, должны были ужаснуть каждого». Более подробное описание ада, к которому должны были привыкнуть декабристы, дают их жены в своих письмах к родным, посланных немедленно по прибытии в Петровск и вследствие которых Николай велел прорубить в тюрьме окна.

Для женатых декабристов были отведены особые комнатки, которые А. Г. Муравьева так описывает: «одна маленькая комнатка, сырая и темная и такая холодная, что мы все мерзнем в теплых сапогах, в ватных капотах и в колпаках». Были такие письма и от жен других декабристов. Что касается прибывших в Сибирь жен декабристов, то им разрешили быть в тюрьме вместе с мужьями, но без детей, и они все от этого сильно страдали.

Начался новый период жизни декабристов, в первое время очень тяжелый и неприятный. Точное описание петровской жизни декабристов оставил в своих записках Н. В. Басаргин: «Петровский завод—большое заселение с двумя тысячами жителей, с казенными зданиями по выработке чугуна, с плавильною, большим прудом и плотиною, деревянною церковью и двумя или тремя стами изб, показалось нам, после немноголюдной Читы, чем-то огромным. Входя в него, мы уже могли видеть приготовленный для нас тюремный замок, обширное четвероугольное здание, выкрашенное желтой краской и занимавшее, вместе с идущим от боков его тыном, большое пространство.

По прибытии в завод, нас некоторое время не водили на работы, а дали отдохнуть от похода и устроиться в новом нашем жилище. Мужьям позволили прожить несколько дней с женами в их домах. Говорю,—в их домах, потому, что каждая из дам, живши еще в Чите, или построила себе, или купила и отделала свой собственный домик в Петровском заводе. Это исполнили они не сами, а поручили, с согласия коменданта, кому-то из знакомых им чиновников, так что, по прибытии их туда, дома для всех уже были готовы.

Быт наш в Петровском заводе, или, лучше сказать, в тюремном замке, с устройством артели и принятыми мерами, чтоб обеспечить по возможности на первое время от'езжающих на поселение, материально гораздо улучшился.

И всем этим, по справедливости говоря, мы обязаны были приезду наших дам. Они точно и во всем смысле выполняли обет и назначение свое. Это были ангелы, посланные небом, чтобы поддержать, утешить и укрепить не только мужей своих, но и всех нас на трудовом и исполненном терния пути».

В Петровском декабристы были на положении каторжан и совсем не имели права переписки с родными, оставшимися в Европейской России. Выручили государственных преступников жены некоторых их товарищей: Е. И. Трубецкая, М. Н. Волконская, А. В. Розен, М. К. Юшневская и другие. Якушкин с благодарностью вспоминал эту роль добровольных изгнанниц: «Каждая дама имела несколько человек в каземате, за которых она постоянно писала, и переданное ей от кого-нибудь черновое письмо она переписывала, как будто от себя, прибавив только: «такой-то просит меня сообщить вам то-то». Труд наших дам по нашей переписке был немаловажен». Но вскоре декабристы нашли способ сноситься с родными, помимо III Отделения, пересылая свои письма через сибирских купцов, через приезжавших из России или от'езжавших из Сибири чиновников.

Еще в Чите декабристы положили начало той системе пополнения своего образования, которая одних спасла от умственного одичания, а другим дала возможность пополнить пробел в области знакомства с науками. Среди собранных на каторге государственных пре-

ступников были люди различного и разностороннего образования, порою весьма глубокого. Были хорошие математики, историки, словесники, языковеды, естественники. Специалисты в той или иной отрасли наук об'явили курсы, на которые записывались желающие, и занятия велись систематически. Образовалась так-называемая академия, которая принесла много пользы сосланным заговорщикам, преимущественно членам Общества Соединенных Славян, в числе которых было много офицеров из мелко-помещичьей и разночинной среды.

Что касается положения государственных преступников в качестве каторжан, то оно в общем сходно было с положением их в Чите, при чем с годами применение труда декабристов на принудительных работах постепенно сокращалось. Но в отношении полицейского надзора их положение все время сибирского изгнания оставалось тяжелым.

Хорошо характеризует политику Николая I в этом отношении Н. В. Басаргин:

«Действия правительства в отношении нас,—пишет он в своих воспоминаниях,—были двоякого рода. С одной стороны, оно не хотело показаться к нам особенно жестоким, не имея на то никакой причины; с другой—ему не хотелось, чтобы мы приобрели какое-нибудь значение, не хотелось ослабить в общем мнении важность нашей вины против него и показать, что оно само предает ее забвению. Одним словом, ему хотелось, чтобы мы служили постоянно угрожающим примером для тех, кто вздумает восстать против правительства или ему противодействовать. Имея в виду обе эти цели, оно согласовало с ними свои меры в отношении нас, и потому меры эти никогда не были определены. В них высказывалось желание как можно ниже поставить нас в общественном мнении, лишить нас всяких средств иметь влияние на общество и вместе с тем не обнаружить своего к нам неравнодушия, не показать ясно, что оно поступает для этого вопреки существующих узаконений.

Во всех своих действиях относительно нас правительство впродолжение нашего долговременного пребывания в Сибири руководствовалось одним произволом, без всяких положительных правил. Мы не знали сами, что в праве были делать и чего не могли. Иногда самый пустой поступок влек за собою неприятные розыски и меры правительства; а в другое время и важнее что-нибудь не имело никаких последствий».

Когда декабристы-каторжане стали выходить на поселение, некоторым из них разрешалось поступать на службу (были и такие, которые прямо сосланы были на службу, даже без лишения чинов), но и здесь за ними был надзор, как за государственными преступниками. Конечно, движение по службе допускалось крайне медленное, а просьбы о переводе в Россию не удовлетворялись. Так как чиновники из декабристов были по своим знаниям и способностям не-

измеримо выше рядовых чиновников, служивших в сибирском управлении, то государственные преступники имели большое влияние на высшую местную администрацию. Это являлось поводом для доносов и соответствующих окриков со стороны центральной власти, требовавшей сужения рамок деятельности чиновников-декабристов.

В заботах об искоренении из памяти русского общества заговора и восстания декабристов, правительство Николая Павловича придумало уничтожить самые фамилии государственных преступников. В 1840 году оно предложило декабристам отправить родившихся у них в Сибири детей в российские правительственные учебные заведении с тем, чтобы эти дети назывались не по фамилиям своих отцов, а по их именам, т.-е. чтобы дети Трубецкого звались Сергеевыми, дети Муравьева—Никитиными и т. д. Все декабристы отвергли это предложение, только один В. Л. Давыдов согласился назвать своих детей Васильевыми.

Еще в самом начале тридцатых годов некоторые декабристы, сосланные прямо на поселение, получили разрешение отправиться в действующую Кавказскую армию для участия в войне с горцами. В конце 30-х годов, с выходом всех государственных преступников на поселение, эта льгота распространена была на многих из второстепенных участников заговора. Но главарям тайных обществ было отказано в этой царской милости, благодаря которой некоторые из воспользовавшихся ею погибли в сражениях. Лишь очень немногие выслужили ранами и отвагой разрешение вернуться в Россию, где они жили в захолустьях под надзором полиции.

Второстепенные участники заговора понемногу раз'езжались из Сибири, многие заселяли, по образному выражению И. И. Пущина, сибирские кладбища. Только главарям движения не разрешалось уехать из места ссылки. Наконец, Николай I умер, и в 1856 г. Александр II издал манифест о восстановлении в правах всех бывших заговорщиков 1825 года и о возвращении их в Россию. Осталось их очень немного, при чем почти все они тяготели к Москве и Петербургу. Однако в самых столичных городах декабристам запрещено было селиться, и они вообще находились под явным или тайным надзором полиции.

С. Я. Штрайх.

Сибирское общество и декабристы.

I.

С тяжелым чувством под'езжали к Уралу ссылаемые в Сибирь декабристы. Страна, где им суждено было коротать свои дни в условиях каторги и ссылки, представлялась декабристам, как и современному им обществу, чем-то в роде последнего круга Дантовского ада, обителью нечеловеческих страданий, границей обитаемого мира *).

При одной мысли, что вся жизнь их должна пройти в этом отдаленном и мрачном краю, некоторые декабристы приходили в отчаяние и переставали даже считать себя жильцами этого мира. Сибирь рисовалась им предназначенной в удел лишь «полуоттаявшему человечеству», да диким непросвещенным племенам, «мрачным гробом для ссыльных», страною пыток и мучений.

Когда же декабристы, перевалив за Урал, проезжали сибирские села и города, когда они столкнулись с широкими кругами сибирского населения, все их прежние представления о «незнаемой стране» рассеялись.

«Чем далее мы продвигались в глубь Сибири, тем более она выигрывала в глазах моих... Простой народ казался мне гораздо свободнее, смышленее, даже образованнее наших русских крестьян, и в особенности помещичьих. Он более понимал достоинство человека, более дорожил правами своими» **), делится своими впечатлениями Н. Басаргин.

«Мы не могли довольно налюбоваться этим молодым, славным поколением,—говорит о сибиряках Оболенский,—они удивляют нас и разнообразными познаниями и развитием умственным, которое трудно было ожидать в таком далеком краю, о котором весьма редко носились слухи, и то, как о месте диком, где люди и природа

---

*) М. О. Гершензон, Декабрист Кривцов и его братья, М. 1914, стр. 203.

**) Записки Н. В. Басаргина, изд. «Огни», 1917 г., стр. 74.

находились в первоначальной своей грубости. Здесь мы увидели совершенно противное» *).

«Невольные гости в стране чужбины» были поражены прежде всего тем радушием, с которым их, «изгнанников земли родной», встречали все слои сибирского общества.

«Повсеместно, от Тобольска до Читинского острога, принимали нас отлично и усердно навязывали булки на сани, укутывали нас, чем могли, и провожали с благословениями»,—пишет Розен **). Но это не только его наблюдение.

Когда за Ангарой по Московскому тракту показалась вереница быстро мчавшихся повозок, иркутяне легко угадали, кого везут к ним, и «множество народа» высыпало навстречу, поджидая декабристов «при самой Ангаре», и с интересом рассматривало их, когда перебравшиеся через Ангару на плашкоуте повозки с первой группой декабристов следовали мимо них.

Пришлый элемент—сектанты—не отставал от коренного населения. Духоборы, например, в высшей степени участливо относились к декабристам, они помогали Оболенскому вести переписку с Трубецкой, по приезде ее в Иркутск, доставляя его письма Екатерине Ивановне.

Не менее радушно, чем народные низы, встречали декабристов и другие общественные слои — купечество, граждане, либеральное чиновничество, — представители нарождавшейся сибирской интеллигенции.

В Тобольске Розена с товарищами поместили в доме полицеймейстера Алексеева, где им отвели лучшие комнаты, дали два дня отдыха и, конечно, по-сибирски угостили.

В Таре декабристы, особенно первые партии, пользовались отменным гостеприимством городничего Степанова, кавказского офицера времен Ермолова. На квартире «он предлагал им не только отдых, хлеб-соль, но предлагал бумажник свой».

Чем дальше к востоку, тем отношение к декабристам проявлялось свободнее и ярче. Рядовых членов бр. Беляевых встретил на почтовой станции Красноярска советник губ. правления Коновалов и проявил большую любезность и много внимания. Басаргина, Фонвизина и их спутников сам губернатор Степанов угощал с искренним радушием, а другим, как Анненкову и Юшневскому, посылал свой привет через их родных.

Не менее радушный прием встретили декабристы и со стороны либерального чиновничества в Восточной Сибири.

---

*) Общественное движение в России в первую половину XIX в. т. I, составили В. Богучарский, В. И. Семевский и П. Е. Щеголев, СПБ., 1905 г., стр. 276.

**) А. Розен, В ссылку, («Записки декабриста»), М. 1900, стр. 109.

В Иркутске, например, прибывших декабристов Давыдова, Оболенского, Трубецкого и др. поместили не в общей камере, где содержатся ссыльные, а отвели им, по распоряжению председателя губернского правления Горлова, отдельную комнату, занимаемую частным приставом, сняли с них кандалы, дали трехдневный отдых. В эти дни иркутское чиновничество, купечество—посещало декабристов, ведя с ними оживленные беседы. Некоторые из чиновников, как П. Здор, вручили декабристам деньги, жена отсутствовавшего губернатора Цейдлера «принесла им белье и другую одежду».

Размещенные на заводах Иркутской губернии Оболенский, Якубович, Муравьев, Давыдов, Трубецкой, Волконский и Борисовы встретили со стороны заводской администрации полное сочувствие. В день их прибытия винокур Смирнов устроил пикник. Сойдясь с декабристами, заводская администрация оказывала им нравственную поддержку. От нее зависело многое, особенно характер самой работы каторжан. Ссыльные декабристы были назначены подкурками, дровосеками и на другие сравнительно легкие работы.

Характерна встреча декабристов с начальником заводов Крюковым.

«На другое утро, после его прибытия, нас позвали к нему,—пишет Оболенский.—Заводская полиция отдалила от его дома всех посторонних, и к нему во время этого свидания никого не впускали. Он нас принял не только ласково, но с таким вниманием, которое глубоко нас тронуло.

«После первых обычных приветствий, разговор наш принял то направление, полуоткровенное и не стеснительное для нас, которое ему умел дать образованный хозяин; вскоре затем вошла в гостиную его дочь с подносом в руке, на котором мы увидели кофе, приготовленный ее собственными руками. Хозяин отрекомендовал нас дочери, и мы с удовольствием выпили приготовленный ею прекрасный кофе—впоследствии мы узнали, что даже прислуга была выслана из дома, чтобы никто из посторонних не мог донести о внимании, которое нам оказал начальник завода. Отпуская нас, полковник об'явил, что назначит нам работу только для формы, что мы можем быть спокойными и никакого притеснения опасаться не должны. Мы возвратились домой, довольные и покойные за счет будущности, нас ожидающей; невольно иногда тревожила нас мысль, что нас могут употребить в ту же работу, которую несли простые ссыльно-каторжные; я видел сам, как они возвращались с работы, покрытые с головы до ног соляными кристаллами, которые высыхали на волосах, на одежде, на бороде—они работали без рубашек и каждая пара работников должна была вылить из соляного источника в соляную варницу известное число ушатов соляной влаги.

«На другой день после свидания с начальником, урядник Скуратов приносит нам два казенные топора и об'являет, что мы назначены рубить дрова—в количестве, назначенном для каждого работника

по заводскому положению: это было сказано вслух, шопотом же он об'явил, что мы можем ходить туда для прогулки и что наш урок будет исполнен без нашего содействия» *).

От администрации не отставало купечество. Видная фигура в жизни Иркутска 20-х—30-х г.г., золотопромышленник Е. А. Кузнецов, приютил у себя приехавшую вслед за мужем Е. И. Трубецкую, оказывал ей всестороннее содействие. Забайкальский купец Кандинский радушно принял у себя в с. Бианкино Трубецкого, Волконского и др., которых закованными в кандалах везли в октябре 1826 г. из Иркутской губернии в Нерчинскую каторгу.

Подобное, больше чем участливое, отношение всех слоев сибирского общества к декабристам нельзя об'яснить только одной «чувствительностью» сибиряков, исторически укоренившимся в них сознанием необходимости помочь «несчастным», гонимым в Сибирь властью и законом.

Для историка общественного движения в Сибири те формы, в которых проявилось сочувствие к декабристам, являются непосредственным следствием настроения всех общественных группировок, настроения, сложившегося в первые десятилетия XIX века. Это отношение об'ясняется не столько сочувствием к людям, сколько к тому делу, за которое пострадали декабристы.

II.

В первые десятилетия XIX века в Сибири не было ни одной более или менее значительной группы населения, которая довольствовалась бы своим положением и не предпринимала реальных попыток путем восстания или протеста изменить политико-экономический уклад страны.

Попытки восстания каторжан, поселенцев, инородцев подавлялись железною рукою власти, возбужденное настроение крестьянства, горожан, купечества и духовенства, по обстоятельствам и месту, усмирялось административным воздействием, террором. Идея противодействия произволу и насилию власти, в связи с надеждой на лучшее будущее, не угасала все же в народе.

Особенно сильно сказывалось в указанный период нерасположение общества к правительству и его ставленникам. При полнейшем отсутствии гласности в Сибири, единственным средством выразить протест были «подметные письма»,—«пасквили».... Анонимные лица грозили в них «учинить бунт», убить генерал-губернатора и расправиться с другими.

Недовольство существующим порядком со стороны всех групп населения все чаще и чаще давало себя чувствовать целым рядом фактов. Достаточно сказать, что наблюдательный генерал-губерна-

---

*) «Общественное движение», стр. 261—262.

тор Восточной Сибири Броневский, в первый же год своего пребывания в Иркутске, счел нужным написать губернатору: «С самого прибытия моего в Иркутск составилась противная партия некоторых лиц, которым вообще не нравится новый порядок вещей. Эта партия продолжала деятельно свои собрания и суждения о способе управления и о проч., громко излагает свои сентенции, и всякий чрезвычайный случай, просто по стечению обстоятельств происшедший, нимало не зависящий от действия власти, приписывается прямо управлению. Это скопище недовольных распространило далеко свои корни» *).

Эта «партия» или «скопище недовольных», как ее называет Броневский, создалась, конечно, не с момента прибытия Броневского в Восточную Сибирь,—она существовала еще до него. Ее составляла небольшая группа сибирской интеллигенции, имевшая определенный круг суждений, и крически относившаяся к водворяемым в Сибири порядкам.

Такие группировки имелись не только в Иркутске, но и в других городах Сибири, напр., в Тобольске, Красноярске и, при всяком удобном случае, так или иначе, обнаруживали свое настроение, явно враждебное режиму Александровской поры.

Подобное настроение замечаем не только в горожанах,—им заражено было крестьянство и другие слои населения.

Достаточно сказать, что накануне декабрьского восстания—с 1822 г. по 1825 год, по селам и станкам Енисейской губернии упорно распространялись слухи о том, что Павел I не убит, а проживает в разных селах Сибири... Народ обсуждал свое тяжелое положение, мечтал, что живущий в его краях царь облегчит горемычную жизнь крестьян, поселенцев...

Последователи Павла I писали о нем Аракчееву, писали и самому Александру I, в наивной надежде восстановить на престоле Павла I и тем добиться улучшения условий жизни **).

Сибирское крестьянство жило не только своими интересами, стремилось улучшить не только свое положение. Оно не забывало и крепостного мужика за Уралом и, мечтая о лучших днях, имело в виду его раскрепощение.

О недовольстве крестьянства и всего народа по ту сторону Урала сибиряки знали. Молва о нем распространялась в первой четверти XIX века повсеместно в Сибири.

Смерть Павла I, Александра I, междуцарствие 1825 года, восстание декабристов, их казнь и ссылка слились в народной памяти в красочную картину, на первом плане которой выступают Волконский, Трубецкой, Рылеев, Чернышев и др.

---

*) Центральный Архив Восточной Сибири (в дальнейшем ссылка на него будет обозначаться Ц. А. В. С.), связка 30, опись № 12, л. 2.

**) Ц. А. В. С., св. I, оп. № 4; Б. Кубалов, Сибирь и самозванцы,—«Сибирские огни», № 3, 1924 года, стр. 166—168.

Среди крестьянских поселений по Якутскому тракту живы воспоминания, почти легенды, о сосланных в этот край «генералах, отказавшихся присягать Николаю I». В далекой Олекме, в месте скопческих поселений, сохранилось предание, что Павел I был убит генералом Рылеевым. Целый ряд таких легенд мне приходилось слышать во многих деревнях и селах В. Сибири *).

В лице побежденных декабристов крестьянство—народные низы—увидело прежде всего «печальников народных», «свободников», поднявших оружие за «вольготство» народное. Радушно встречая декабристов, оно проявляло не сострадание к ним, как к «несчастным», а воздавало должное, как протестующему элементу.

Если низы сибирского общества еще до прибытия декабристов знали о самом движении, об его участниках, то высшие слои, горожане, и подавно могли знать обо всем в большем масштабе.

Существование тайных обществ, поставивших целью своею изменение политико-экономического уклада страны, не было секретом для горожан.

В 20-х—30-х г.г. усилился приток в Сибирь на службу образованных людей, имевших к тому же крупные связи в высших слоях столичного общества. Представители краевой власти, как Лавинский, так и Вельяминов, были в родственных связях с семьями декабристов—Одоевского, Бобрищевых-Пушкиных... Вдохновитель Южного Общества Пестель был сыном генерал-губернатора В. Сибири. Генерал-губернатор Зап. Сибири князь Голицын, губернатор Повало-Швейковский, Бантыш-Каменский, Якутский областной начальник Мягков и др. имели связи в столицах и были в курсе настроения правящих кругов и нараставшей оппозиции молодого поколения, черпавшего силы в тайных обществах.

Некоторые из высших представителей чиновного мира Сибири были членами масонских лож. Здесь же, в Сибири, подолгу работали и служили, принимая живейшее участие в ее судьбах, декабристы—Батеньков, работавший при Сперанском, Штейнгель, уроженец Сибири, знаток ее. Некоторые декабристы, как, напр., Завалишин, еще до восстания 1825 года бывали проездом в Сибири. В беседах с сибиряками они знакомили их с последними общественными течениями не только России, но, возможно, и Запада.

Как только стало известно, что декабристов должны отправить в Сибирь, как их родственники вступают в переписку с жившими в Сибири знакомыми, прося принять посильное участие в судьбе ссылаемых.

Все это заставляет притти к выводу, что верхний слой сибирского общества, если и не был причастен тому движению, которым было,

---

*) Б. Кубалов, Крестьяне Восточной Сибири и декабристы,—«Сибирь и декабристы», статья, неиздан. материалы, изд. Иркут. Комисс. по подготовке юбилея декабрьского восстания, 1925 г., Иркутск, стр. 5.

охвачено современное ему русское общество, то, во всяком случае, был хорошо осведомлен о нем и, не имея сил своими средствами добиться лучших дней, сочувствовал ему.

Итак, радушная встреча декабристов сибирским обществом носит не случайный характер, об'ясняется не мотивами морального порядка—сочувствием горю лиц, сосланных в каторгу, а вытекает из его оппозиционного настроения, из предварительного знакомства населения с сущностью движения, знакомства с именами участников его, с их идеями, является, по существу, демонстративным подчеркиванием общества политической солидарности его с ссылаемыми в Сибирь участниками неудавшегося переворота.

III.

Как краевая власть, так и Николай I знали о недовольстве сибирского общества системой правительственной эксплоатации Сибири, эксплоатации ее населения, знали о попытках сибиряков изменить жизнь к лучшему и принимали все меры к тому, чтобы подавить это недовольство. В лице декабристов краевая власть увидела опасный элемент, могущий дурно влиять на сибирское общество и тем усложнять управление отдаленным и большим краем. Власть боялась призрака восстания, боялась, «как бы потушенный умысел бунта не вспыхнул вновь и не заразил сердца развратные и мечтательность дерзновенную».

Страх краевой власти был не безоснователен.

С первых же дней появления декабристов в пределах как Восточной, так и Западной Сибири, стали поступать доносы о том, что декабристы намерены образовать тайное общество, поднять мятеж и т. п.

Боязнь волнений, мятежа в пределах Сибири, с поселением там декабристов и одновременно поляков-повстанцев, заставила правительство обратить серьезное внимание на Сибирь. Один за другим командируются за Урал жандармы, Маслов, Кельчевский, Алексеев, Лубенцов и др. Они посещают те города, села и деревни, где были водворены декабристы—будь то Якутск, Кяхта, Нерчинск, Тобольск, Ялуторовск.

Опасаясь влияния декабристов на сибирское общество, краевая власть в лице генерал-губернатора издавала особые правила, инструкции, согласуя их предварительно с шефом жандармов, часть таких мер вводилась с ведома Николая I, продолжавшего до мелочей интересоваться жизнью декабристов в Сибири.

Генерал-губернатор Лавинский, еще будучи в Москве в 1826 году, подал докладную записку барону Дибичу, в которой поднимал вопрос о женах декабристов и о возможном их влиянии на общество.

«Судя по состоянию жены сии могут иметь большие деньги. Могущественная сила оных в краю бедном, населенном людьми буйными

и развратными, может иметь вредное влияние», и потому он рекомендует определить максимум той суммы, которую могли бы брать с собою отправляющиеся за своими мужьями в ссылку жены декабристов *).

Вот почему пособия, получаемые декабристами и их женами от родных, были ограничены определенной суммой, а если некоторые из декабристов, занимая места канцелярских служителей и иные, могли получать и большие суммы, то это нисколько не освобождало начальство «от обязанности иметь постоянное и самое бдительное наблюдение за употреблением», которое такие декабристы могут делать из получаемых ими денег **).

Поощряя декабристов к земледелию, боялись в то же время сосредоточения в их руках крупных земельных участков. Николай I «соизволил найти неудобным дозволить г-же Розен купить землю в 10.000 рублей, ибо по ценам, существующим в России, она может приобрести на сию сумму обширное пространство земли, для обрабатывания которой необходимо должна будет нанимать посторонних людей, а сие даст ей некоторый вид помещицы и, поставив в необходимость входить в сношения разного рода, по положению ее неприличные, было бы несообразно цели существующих правил о государственных преступниках и женах их».

Конечно, ссылка на правила—только затушевка главной мысли, вытекавшей из факта найма посторонних людей и влияния на них «помещицы».

Всех запретительных мер, ставящих целью обезвредить общество от влияния на него декабристов, не перечесть. Достаточно упомянуть: запрещение селить декабристов не только в крупных городах, как Иркутск, но и в таких пунктах, которые близки к торговому тракту, а если и разрешалось селить декабристов, то не более двух человек в одном месте.

Когда Загорецкий просил Цейдлера о переводе его из Витима в другое место, «где бы мог он пользоваться медицинскою помощью от зоба», Цейдлер предлагал перевести его в Киренск, где из декабристов жил лишь Веденяпин Ап., Бенкендорф на его предположение ответил: «Так как сей город находится на большом сибирском тракте, то я, имея в виду высочайшую волю, дабы впредь в таковых местах не селить государственных преступников, просил назначить другое место ***).

---

*) Ц. А. В. С., св. I, оп. № 15, л. 28: «Дело о государственных преступниках».

**) А. Дмитриев-Мамонов, стр. 107.

***) Ц. А. В. С., св. 7, оп. 138. Загорецкий был переселен в Буреть, в 20 верстах от Александровского завода, где жил доктор, помощью которого мог пользоваться больной декабрист.

Когда до сведения Руперта, бывшего в Енисейской губернии в 1842 году, дошло, что находящиеся в Красноярске государственные преступники приняты в обществе и даже посещают многочисленные публичные собрания, он нашел, что «подобные посещения не только не свойственны званию их, но и противны высочайшим постановлениям», в силу чего декабристам было воспрещено появляться в общественных собраниях.

То же мы наблюдаем в Иркутске.

Приезды декабристов в Иркутск, повидимому, кое-кому казались чем-то ужасным и недопустимым. Эти люди, надо думать, и довели до сведения Руперта, что государственные и политические преступники, поселенные в Иркутской губернии, приезжая в Иркутск, подолгу остаются здесь, заводят знакомства со служащими, чиновниками и обывателями, бывают у них и даже «присутствуют в домашних собраниях», особливо у граждан. Руперт, не доверяя слухам, все же, во избежание, как он говорит, «нареканий», просит губернатора со своей стороны принять надежные меры к прекращению самопроизвольных приездов в г. Иркутск государственных и политических преступников, а также к проживанию их здесь без дела для одних знакомств и препровождения времени в обществе чиновников и граждан, что ни тем, ни другим неприлично и несоответственно намерениям правительства». «Наконец, — продолжает Руперт,—мне весьма приятно было бы, если вы впредь им разрешали приезд в город, смотря по существенным их надобностям, а не по прихотям, ибо они преимущественно обязаны заниматься хозяйством, а не искать развлечения в обществе» *).

Характерен в данном случае приказ Лавинского, данный в мае 1827 г., когда был доставлен в Иркутск декабрист В. Толстой. Лавинский, только что прибывший из Петербурга, предписывает городничему «принять Толстого немедленно в свое ведомство и содержать в квартире под строгим наблюдением, недопуская никого к сообщению с ним и донося мне каждое утро, кто домогался у него быть, и как он себя ведет. Словом, поступать во всем так, как требует того истинная обязанность службы и важность осуждения сего государственного преступника, не вовлекаясь отнюдь в послабления и оплошности, подобные тем, какие явным образом были допущены во время приезда сюда важнейших государственных преступников в прошлом году». Лавинский косвенно указывал этим на поступок Горлова с Трубецким и др. и на участливое отношение к ним общества.

Толстого назначают в Тунку, «в место, совершенно надежное, отстоящие в значительном расстоянии от границы, обитаемом по

*) Ц. А. В. С., св. 17, оп. № 453: «О принятии мер к прекращению самопроизвольных приездов в Иркутск гос. преступников и проживания здесь без дела».

большей части бурятами и окруженном казаками, пограничную стражу содержащими» *).

Боязнь доходит до того, что декабристам не разрешено было иметь огнестрельное оружие и охотничьи припасы. Ружья у декабристов были отобраны, а о найденном у Лунина пистолете и дроби велось целое следствие.

Однако, какие бы меры правительство ни предпринимало, дабы предохранить сибирское общество от «тлетворного» влияния на него декабристов, добиться положительных результатов ему не удалось.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу, мало исследованному историками.

IV.

Влияние декабристов на сибирское общество составило целую эпоху в жизни и воспитании сибирского общества. Проследить его во всех сферах и представить в наглядных фактах является делом далеко не легким, но для истории культурного и экономического развития сибирского общества первой половины XIX в. необходимым.

Трудность заключается прежде всего в характере материала, которым приходится пользоваться историку, его отрывочностью, неполнотой. Записки, воспоминания самих декабристов, как и современников их, составленные в массе своей в позднейшее время,—говорят лишь о следствии влияния, к тому же в основе своей они суб'ективны; в письмах декабристов, проходивших цензуру, авторы о многом умалчивают, архивные документы еще мало использованы, ближайшее к декабристам поколение сошло со сцены, а потомки сохранили в памяти лишь общую точку зрения их отцов на декабристов, не лишенную покрова излишней идеализации.

Трудно осветить в полной мере вопрос и потому, что склад ума, взгляды, привычки и настроения сибирского общества в первую половину XIX в. формировались под целым рядом скрещивающихся влияний разных факторов—экономических, природных, бытовых...

Рядом с влиянием декабристов на сибирское общество шло воздействие на него и со стороны сосланных в большом числе поляков-повстанцев. Не надо забывать, что влияние декабристов продолжалось в течение тридцати лет, ему подвержено было два поколения сибирского общества, что в этот промежуток влияние их не было одинаково сильным.

Действуя то в том, то в ином направлении, оно зависело в свою очередь и от того, как краевая власть относилась к самим декабристам и к их деятельности.

Влияние декабристов проникало в общественное сознание изо дня в день, сказывалось зачастую в мелочах повседневной жизни, незаметных как для самих декабристов, так и для той среды, в которой

*) Ц. А. В. С., св. 30, оп. № 26.

они жили и работали. Лишенные прав состояния, поставленные вне общества, декабристы в таком положении открыто влиять на общество не могли, тем более, что само правительство, опасаясь влияния, стремилось ослабить его целым рядом фактов, заставляя декабристов обходить запрещения, прибегать к замаскированным, скрытым формам воздействия на те или иные круги населения. К тому же декабристов было не так много в Сибири, около 100 человек, водворенных на большом расстоянии один от другого.

Вот почему, говоря о влиянии их на сибирское общество, приходится иметь дело также и с личностью почти каждого из декабристов, группировать степень влияния их или в отдельной местности, как центре их пребывания, или учитывать влияние их на отдельную среду, крестьянство, купечество, чиновничество и т. п.

Не претендуя, в рамках журнальной статьи, на всестороннее освещение затронутого вопроса, я попытаюсь сгруппировать более или менее известный материал, наметив лишь общие вехи, по которым, на наш посильный взгляд, должна итти разработка намеченной темы.

В условиях каторги и поселения декабристам отрезаны были в первое время все средства воздействия на общество в смысле пропаганды тех идей, попытка осуществить которые привела их в ссылку. Вот почему в сибирской деятельности декабристов на первое место выступают не политические принципы, исповедуемые ими, а их общекультурные идеалы, во имя которых «они принимаются за дело поднятия общей культурности сибирской жизни, и утверждения, одинаково как для себя, так и для окружающих, прав человеческой личности, к какому общественному слою эта личность ни принадлежала бы».

Общекультурное влияние их было подмечено уже в общих чертах современниками декабристов. О нем говорит Максимов, посетивший Сибирь в 50-х годах и беседовавший там с Бестужевым, Завалишиным, Горбачевским. О нем говорит и Е. П. Ковалевский:

«Мы узнали декабристов уже в то время, когда они жили на поселении, распространяя добро между окрестными жителями: или своими знаниями, особенно в техническом отношении, или теми ограниченными средствами, которые иные из них имели—уважаемые и пользовавшиеся доверием и свободой»*).

«Общение с ними тогдашней сибирской молодежи приносило величайшую пользу в просветительном отношении»**).

Пребывание декабристов в Сибири имело очень широкое образовательное влияние... через полвека вспоминаем о них (женах декабристов), как о живых примерах всего доброго, чистого и прекрасного

*) Цитирую по Максимову, Сибирь и каторга, СПБ 1891, стр. 267.
**) «Истор. Вестник», 1908 XI, стр. 537; Перщин-Караксарский.

и храним глубокую благодарную память к этим добровольным изгнанницам» *).

«Декабристы—своим влиянием разбудили во мне живую душу и приобщили ее к тем благам цивилизации, которые скрасили всю мою последующую жизнь» **), говорит воспитанник декабристов, доктор Белоголовый.

Все эти отзывы (их можно привести большое число) являются общим выводом, результатом сказавшегося в половине XIX в. влияния декабристов на общество. Но во всех них нет указаний, каким путем проникало это влияние, как крепла и развивалась завязь, давшая прекрасные ростки.

Характерно, что и сами декабристы, оглянувшись на пройденный в Сибири жизненный путь, учли свое значение в жизни сибирского общества и определенно формулировали его. Приведу на выдержку несколько таких мнений.

«В памяти жителей эпоха нашего пребывания в Чите сохранилась, как особенное благословение божие»,—говорит Завалишин, Д. И.***).

«Можно положительно сказать, что наше долговременное пребывание в разных местах Сибири доставило в отношении нравственного образования сибирских жителей некоторую пользу и ввело в общественные отношения несколько новых и полезных идей» ****).

«Провидение, быть может, назначило многих из моих соузников и многих поляков-ссыльных быть основателями и устроителями лучшей будущности Сибири, которая, кроме золота и холодного металла и камня, кроме богатства вещественного, представит со временем драгоценнейшие сокровища для благоустройства гражданственности *****).

В массе своей цвет образованного русского общества, декабристы прежде всего должны были пустить в обиход принявшей их среды достижения ума, мысли, техники. В глухую тайгу, рудники, заводы они принесли светильник знания и, к чести своей, держали его высоко.

Они поняли, что темному народу, неустанно стремившемуся к лучшей жизни, нужна прежде всего школа, что она—лучший проводник новых идей и, приспособляясь к условиям каторги, дали ее народу.

Если в Петровском заводе, Чите они устроили первый «Сибирский университет», где менее образованные товарищи слушали лекции специалистов по математике, истории, языкам, литературе, то рядом с высшей школой была создана школа первой ступени.

---

*) Ефимов, Заметки на воспоминания Львова,—«Русск. Арх.», 1885, XII, 563.

**) Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, изд. 4-е, стр. 30.

***) Завалишин, Записки декабриста, 1906 г., стр. 288.

****) Басаргин, стр. 215.

*****) Розен, Записки декабриста, СПБ. 1907 г., стр. 213.

Такая школа явилась следствием желания коменданта составить хор певчих для заводской церкви. Свистунов и Крюков стали учить детей пению, но успех занятий задерживался неграмотностью детей, тогда разрешено было обучить их грамоте. Первыми учителями были бр. Бестужевы и Оболенский. Этим было положено основание школы. При совершенном отсутствии на заводе средств к подготовке детей чиновников для поступления в школы высшего типа, комендант Нерчинских рудников вынужден был уступить просьбам родителей и разрешил их детям учиться в каземате. Для малообеспеченных родителей это имело большое значение еще и потому, что учащихся здесь кормили и одевали бесплатно. Школа открыла доступ влиянию декабристов на детвору.

Когда был представлен в первый раз в одно из высших заведений Петербурга воспитанник казематской школы, то он так удивил экзаменаторов и об'емом и отчетливостью своего знания, что экзаменаторы полюбопытствовали узнать, где и кем он мог быть так приготовлен. Присутствовавший на экзамене начальник, который сам бывал в Петровском заводе, и сам знал секрет, остановил любопытствующих: «наше дело оценить его знания, а не допытываться, откуда он их получил».

Имена своих учителей Петровского каземата с благоговением произносили питомцы.

В 1861 году Горбачевский писал из Петровского завода Е. Оболенскому: «Вероятно, тебе любопытно знать о детях, о которых ты заботился, бывши сам в тюрьме, которых ты учил, кормил, одевал; все они здравствуют и все помнят и твое имя произносят с желанием тебе счастья и здоровья...» *).

После того, как последние декабристы оставили каземат в 1839 г., школьно-просветительная работа в Петровском заводе не остановилась. Ее продолжал вести Горбачевский. «Я все еще держусь, креплюсь,—пишет он своему другу,—чего-то надеюсь, все еще люблю детей, делюсь с ними последним, желаю им добра и всего лучшего».

Будучи водворены на поселении по всей Сибири, декабристы несли знания в толщу народную, влияя прежде всего на подрастающее поколение.

Декабрист в глазах сибирского общества, главным образом, крестьянина, был прежде всего народным учителем.

В Чите—Завалишин, в Олонках—Раевский, в Ялуторовске—Якушкин, в далеком Вилюйске—Муравьев, М. И., в Минусинске—Беляевы, в М. Разводной—Юшневский, Борисов устраивают школы, учат ребят. В школах они ведут преподавание в духе времени, придерживаясь новейшей английской системы Ланкастера.

---

*) Горбачевский, Записки декабриста, с прим. и вступ. статьей Б. Сыроечковского, М. 1916, стр. 248.

В Сибири еще живы две старушки, учившиеся в этих школах. В Олонках жива Н. Ружицкая, знавшая школу Раевского, в Мариинске—О. Н. Балакшина, учившаяся в Ялуторовске у Якушкина; они утверждают, что школа декабристов была смешанного типа. Мальчики и девочки учились вместе, в школу приезжали из ближайших деревень. Принцип демократизма был проведен полностью. Грамотность в Ялуторовске, благодаря школьной работе декабристов, быстро поднялась. Из Ялуторовской школы вышло до 1.600 учеников *).

Пройти мимо влияния декабристов на умы молодежи, непосредственно вытекавшего из самого факта обучения детей, краевая власть, при ее подозрительном отношении к государственным преступникам, не могла и должна была так или иначе реагировать.

«Генерал-губернатор Восточной Сибири из переписки государственных преступников усмотрел, что некоторые из них обучали крестьянских детей российской грамоте, а потому, находя это занятие государственных преступников противным прямому смыслу существующих узаконений, и желая отвратить вредное влияние таковых учителей на умы учеников», предписал губернаторам, «обратить на это особенное внимание и положить предел этому злу, допущенному местными властями, очевидно, по одной недальновидности и недоразумению, подтвердив им, что дальнейшее с их стороны поощрение этому злоупотреблению вовлечет их в неминуемую ответственность» **).

Конечно, этот запрет остался мертвой буквой. Он не в силах был остановить веления жизни, не мог быть преградой на пути сибирского общества к тому источнику знания, каким обладали декабристы. Из этого источника почерпывала силы нарождавшаяся сибирская интеллигенция...

Если школьная работа декабристов давала сибирскому обществу грамотных, развитых людей, умевших ценить преимущества науки и просвещения, то внешкольная работа декабристов, столкнувшихся со всеми слоями общества, оказывала непосредственное влияние на психику, расширяя умственный горизонт его членов и способствуя в них росту высших запросов духа.

---

*) Балакшин, Воспоминания о декабристах в Сибири,—«Сиб. Огни», 1924 г., № 3, стр. 179; Ф. Кудрявцев, Декабрист В. Раевский в Олонках,—«Власть Труда», 1924 г., № 255.

В записке № 5 с выявленными архивными материалами о декабристах по данным Енисейского губ. архивного бюро (рукопись), приведено донесение сотника Сапожникова губернатору 1 апр. 1827 г.: «Находящийся в Туруханске... Ф. Шаховской... принял на себя обязанность обучать грамоте малолетних детей здешних жителей за что отцы их к нему, Шаховскому, расположены с большою благодарностью и почтением», стр. 4.

**) «Сибирский Архив», 1914 г., № 10, стр. 432.

Внешкольная работа декабристов протекала, главным образом, среди крестьянства.

Декабристы, водворенные в селах, глубоко пустив корни в крестьянской среде, бесспорно имели много средств и возможностей влиять на крестьянина. В непринужденных беседах крестьянство знакомилось с естествознанием, законами физики, с тем, что близко касалось хозяйственного уклада селян.

С большим интересом относились крестьяне к научным занятиям хотя бы Фаленберга—по определению в поселениях Минусинского округа полуденной линии и установлению там солнечных часов *); не менее интересовали их, а также и якутов, астрономические работы декабристов, напр., Бестужева...

Бр. Борисовы, занимавшиеся изучением флоры Сибири и собиранием насекомых, втягивали в круг своих научных занятий крестьян, особенно детвору, те отлично помнят Борисовские коллекции и рисунки. «Снимали карточки»,—говорит об их рисунках знавший Борисовых старик Пятидесятников.

Успехи внешкольной просветительной работы были на-лицо.

В 1845 г. Пущин приходит к выводу, что наступило время дать крестьянину газету: «Ваша газета,—пишет он Энгельгардту,—получается только в духовном правлении; нужно, чтобы кто-нибудь из крестьян в нее заглядывал, они еще не считают нужным читать, но очень заботятся, чтобы новое поколение было грамотнее, и это распространяется повсеместно в Сибири» **).

Об'ясняя крестьянину значение науки в жизни человека, декабристы и то же время внушали ему и уважение к труду.

Своим примером, работая в поле, на мельнице, за станком, не пренебрегая никаким трудом, они вернее всего действовали на общество, облагораживая в его глазах труд, на который в крепостной России смотрели лишь, как на тяжелую и часто безотрадную ношу. Уважение к труду возникло у самих декабристов в связи с идеями века.

«Уже во время нашего воспитания,—говорит Завалишин,—были очень в ходу идеи о необходимости каждому образованному человеку знать какое-нибудь ремесло или мастерство. Впоследствии идеи эти усиливались еще и по политическим причинам. Образованные люди, стремившиеся к преобразованию государства, сознавая, что труд есть исключительное благосостояние массы, обязаны были личным примером доказать свое уважение к труду, изучать ремесла не для того только, чтобы иметь себе обеспечение на случай превратности судьбы, но еще более для того, чтобы возвысить в глазах народа значение труда, и, облагородив его, доказать, что он не только со-

---

*) Ц. А. В. С., св. 14 оп. № 358, л. 31.

**) Декабрист И. И. Пущин, Записки о Пушкине и письма из Сибири. Редакция и библиографический очерк С. Я. Штрайха, М. 1925, стр. 207.

вмещается с высшим образованием, но что одно в другом может находить поддержку и почерпать силу» *).

Своею жизнью в Чите, в Петровском заводе, декабристы, будучи искусными портными, слесарями, сапожниками, огородниками и т. п., доказали, что у них слова не расходятся с делом, что проповедуемая ими идея труда получила в их жизни полное приложение.

Мы имеем ценное свидетельство тому, что пропаганда идеи труда упала на плодородную почву и дала прекрасные ростки.

Много десятков лет спустя после того, как с от'ездом последних декабристов из Петровского завода прекратилось существование школы в каземате, один из рабочих, получивших и ремесленное и грамотное образование в каземате, узнав из газет о пребывании Д. И. Завалишина в Москве, писал к нему в Москву и благодарил его за то уважение, которое вселили ему к труду. Он говорил, что вот он уже давно женат, имеет детей, что бог благословил его достатком, так что он в состоянии не только давать образование детям, но и выписывать книги и даже газеты и журналы, но что при всем этом он не покидает однако же своего тяжелого (кузнечного) ремесла и старается внушить и детям такое же уважение к труду, какое умели внушить ему в каземате **).

Таким образом мы видим, что представитель одного поколения, воспитанного декабристами, дав своим детям образование, прививает им идею необходимости труда.

Живя на поселении, декабристы могли свободнее пропагандировать идею необходимости труда; особенного успеха в этом отношении достигли бр. Бестужевы, не без их влияния в половине XIX в. стали заметно распространяться ремесла как среди бурят, так и русского населения Забайкалья ***).

В глуши сибирских деревень декабристы не жили замкнутым миром, не чурались сибирского крестьянина, но умело подошли к нему, подошли, главным образом, со стороны его жизненных интересов, что открывало широкую возможность незаметно, изо дня в день, влиять не только на психику крестьян, но и на весь их жизненный уклад.

В лице декабристов крестьяне увидели прежде всего людей, которые вместе с народом-пахарем поднимали новь в суровом краю, делили с новоселом его редкие радости и зачастую мыкали с ним горе неудач и разочарований, щедро преподносившихся ему капризною природой.

Спиридов под Красноярском (С. Дрокино), напр., «обработал несколько десятин дикой, запущенной, можно сказать брошенной

---

*) Завалишин, стр. 269—270.

**) Максимов, Сибирь и каторга, СПБ. 1891, стр. 269.

***) Першин-Караксарский, стр. 549; Воспоминания бр. Бестужевых, стр. 290.

земли, такой земли, что «иные крестьяне,—пишет он генерал-губернатору,—дивились моей смелости, другие утверждали, что мой труд, старания, издержки, хлопоты будут напрасны, что такая земля без особой разработки не может ничего произвесть, что посеянные семена или не взойдут, или при всходах будут задавлены сорными травами. Но, вопреки всем этим заключениям, все посеянное взошло, выспело и в свое время собрано» *).

М. Кюхельбекер, живя в Баргузине, употреблял все присылаемые ему от родных деньги на устройство хозяйства и хлебопашества. Своими руками он расчистил и обработал 11 десятин земли, кроме отведенных ему казенных.

А. Вегелин, близко сошедшийся с крестьянами Сретенска, создал образцовое хозяйство, от которого многое позаимствовали крестьяне.

Добрый пример подавал населению северной части Сибири М. И. Муравьев-Апостол. Живя в Вилюйске, он принимается за огородничество, садит картофель. Опыт его увенчался блестящим успехом. Иначе у него обстояло дело с посевом проса; быстрый рост его порадовал предприимчивого хозяина, но наступившие нежданно заморозки зло подшутили над его затеей: всходы погибли.

Муравьев этими опытами показал населению, чти при известной энергии и настойчивости культура хлебов может быть подвинута далеко к северу.

Если в 20-х годах Врангель, посетивший берега р. Олекмы, застал там последние следы садовничества и земледелия, то уже в 30-х годах XIX в. по Олекме площадь засеваемых полей стала значительней, земледелие, хотя и медленно, с большим трудом, но продвигалось к Якутску.

С большой энергией отдавался агрономии Волконский, охотно делясь с крестьянством запасами своих больших знаний.

В каком бы углу Сибири ни выступал тот или иной декабрист в качестве земледельца, он творил великое общественное дело. Являясь первыми культуртрегерами Сибири, указывая способы усиления продуктивности крестьянского труда, декабристы тем самым помогали поднятию экономической мощи крестьянства, со всеми вытекавшими отсюда последствиями **).

«В числе экономических вопросов значительное место занимали у Торсона машины, облегчающие и упрощающие тяжелый земледельческий труд. Он сделал чертеж четырехконной молотилки-ве-

---

*) Ц. А. В. С., св. 19, оп. № 534, л. 16.

**) Записка Енисейского губархбюро, стр. 2: «Шаховской от жителей как туруханских, равно от живущих от Туруханска вверх по Енисею приобрел особенное расположение... обещанием улучшить состояние их через разведение картофеля и прочих огородных овощей (чего прежде в Туруханске не было), предвозвещая им дешевизну хлеба и прочих вещей, в крестьянском быту необходимых».

ялки-сортировки Дембалея; но так как эта машина имела пропасть чугунных колес, так что в Сибири устройство подобной машины было немыслимо, то Константин Петрович (Торсон) придумал все эти колеса заменить деревянными кругами с ремнями, а так как ремни требовались толстые, постромочные, то за недостатком этого он придумал к механизму простые веревки» *).

Торсон работал в Забайкалье, своими достижениями он делился с друзьями и посылал им чертежи машин. По ним сделали такую машину жившие в Минусинске бр. Беляевы. Проба машины происходила в присутствии многих горожан. Цель была достигнута, перед населением были демонстрированы преимущества машины в хозяйстве крестьянина.

Такая же пропаганда шла, конечно, и в самом Селенгинске, где жил Торсон.

«По просьбе земледельцев,—говорит Торсон,—я решился устроить молотильную машину. По недостатку в мастеровых... работа подвигались до конца октября, машина была поставлена на берегу реки для удобнейшего подвоза хлеба. После нескольких проб, когда жители увидели в полной мере ее пользу... начали молотить хлеб, то люди, незнакомые в обращении с машинами, не замедлили ее сломать».

В другом конце Сибири (под Красноярском), в деле улучшения и усовершенствования орудий труда на помощь крестьянам приходит Спиридов. Он не только усовершенствует земледельческие орудия, принятые в Енисейской губернии, но приготовляет новые, «здесь неупотребительные, но необходимые для разрыхления и углаживания пашен».

Андреев, поселенный в далекой Олекме, со всем рвением отдается служению крестьянскому люду. Он первый строит мукомольную мельницу и в поисках за жерновыми камнями, вместе с Чижовым, ходит по берегам Лены **).

Бестужевы пытаются улучшить орошение песчаного Забайкалья; они усовершенствовали приемное колесо с черпаками, которое приводилось в движение течением реки, посредством черпаков вода поднималась на высоту 2—3 саженей в желоба, по которым сбегала на поля, огороды, сады.

Этими примерами сибирский крестьянин учился на опыте ценить преимущества технических знаний.

Одно перечисление всего того, что сделали декабристы для усиления производительности труда, поднятия экономического благосостояния края, заняло бы много места.

---

*) А. П. Беляев, Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном, СПБ. 1882, стр. 311.

**) Ц. А. В. С., св. 5, оп. № 104, стр 16.

Еще в Чите и в Петровском заводе декабристы, ведя артельное хозяйстве, большое внимание уделяли разведению овощей. Среди них были прекрасные огородники. Знание и опыт нескольких лет они принесли в села и деревни Сибири и поделились ими с крестьянами.

Декабристы выписывали огородные семена через своих родных и друзей из-за Урала, привезли их и из Петровского завода; «собранные с тюремных кустов» семена дали прекрасные овощи.

Урик, Усть-Куда, Хомутово, Разводные, Олонки с прибытием туда декабристов покрылись прекрасными огородами, на которых росли всякие «дива», прежде неведомые селянам.

«До приезда декабристов больших огородов в помине не было»,— говорят крестьяне Усть-Куды.

Декабристы познакомили крестьян и с парниками, столь распространенными ныне во многих подгородных деревнях, особенно Восточной Сибири.

«Окошки поднимали над овощью... когда тепло... солнце...»,—так говорил о парниках помнивший декабристов старик Елизар.

Близость к Иркутску давала возможность крестьянину выгодно сбывать продукты своего труда и ценить в деле разведения овощей полезные советы декабристов.

Энергичный, предприимчивый Бечасный—первый устроил в Смоленщине (в 8-ми верстах от Иркутска) маслобойку. «Коноплю до него лет 300 (?) начали садить, только из семян масло жать он научил»,—так говорил мне старик Яровенко, помнивший Бечасного. «Под семя и деньги давал кому нужно. Все свозили к нему конопляное семя. Бывало и так, неурожай или что, семян кто не привезет, он не утеснял *).

Декабристы шли дальше и втягивали крестьян в занятие новыми для них промыслами.

Крестьяне отлично учитывали значение в их хозяйстве подсобных промыслов и, видя в лице декабристов людей широкой инициативы, пытались работать с ними сообща. Крестьянин под влиянием декабристов начал отчетливо сознавать, что экономическое благосостояние его скорее может быть достигнуто в работе общими силами.

Так крестьяне с. Оёка, желая поставлять известь на постройку Иркутской семинарии, дают Вадковскому доверенность на ведение дела. По их следам идут крестьяне с. Олонок.

«По просьбе крестьян,— говорит Раевский в письме к сестре,— я взял небольшой подряд на перевозку вина из винокуренного завода по одобрительному свидетельству и поручительству крестьян».

---

*) Б. Кубалов, Бечасный в Смоленщине,—«Власть Труда», № 243, 1924 г.

«Хорошо тогда заработали Олонские крестьяне на этом подряде»,— вспоминает племянница В. Раевского, П. Н. Ружицкая *).

Когда занятие земледелием в Иркутской губернии, в связи с таксировкой хлеба, не окупало труда крестьян, декабристы указали им выход из тяжелого положения. Отложив серп, крестьянин, по их совету, брался за молот, становился в ряды рабочего класса, формировавшегося в Сибири с развитием золотопромышленности. Декабрист Раевский, например, оставив хлебопашество, взял на себя наем рабочих людей на бирюсинские золотые промысла.

«С ноября месяца по март ездил он по округам и деревням, заключал контракты, выдавал билеты, останавливался на квартирах в деревнях, рассчитывал каждого особо и лично. На золотые промысла он вербовал до 2.000 человек... Золотопромышленностью увлекся и А. Поджио, «вместе с крестьянами он забивал шурф».

Попытки декабристов обратить внимание крестьян на новые промыслы зачастую встречали противодействие власти. Укажу хотя бы на попытку Кюхельбекера и П. Беляева в 1833 г. «наняться по бедному их состоянию для занятий по улучшению овцеводства».

Опыты по разведению мериносов производились составившейся компанией в с. Бурети (Бодайской волости, Иркутского округа) и в Минусинске. Так как и в том и в другом месте не было еще человека, который был бы хорошо знаком с овцеводством, то председательствующий в совете главного управления Восточной Сибири просил генерал-губернатора Лавинского перевести М. Кюхельбекера из Баргузина в Буреть и разрешить как ему, так и Беляеву поступить на службу в компанию по разведению мериносов в Восточной Сибири. Лавинский посмотрел на дело с иной точки зрения. Он не нашел удобным допускать государственных преступников «к подобным занятиям, могущим открыть для них связи с многими лицами» и вдали от полицейского надзора, быть может, влиять на крестьян, заинтересовавшихся новым делом... **).

Живя в деревнях, декабристы не подчеркивали своего культурного превосходства над крестьянами. При таком настроении декабристы не пренебрегали стародавними обычаями, господствовавшими в той или иной деревне, но, принимая живейшее участие в жизни крестьян, внимательно изучали крестьянский быт, нравы и обычаи.

На семейных праздниках крестьян, на вечерках декабристы были рядовыми участниками: пели, играли, плясали.

Волконская, М. Н., не раз вела хороводы с девушками Усть-Куды и Урика. В далекой Олекме Андреев и Чижов, при негласном содействии бывшего на их стороне исправника, устраивали для населения разумные общественные гулянья.

---

*) Ф. Кудрявцев, Первый декабрист В. Раевский в с. Олонках.
**) Ц. А. В. С., св. 7, оп. № 133, л. 15.

Этими мерами они старались развить в крестьянах интерес к общественности. М. И. Муравьев-Апостол, видя, что прилегающее к селу (Вилюйску) кладбище не огорожено, что в нем бродят не только домашние животные, но и дикие звери, скрывающиеся в соседней тайге, предложил крестьянам общими силами построить прочную бревенчатую ограду.

Крестьянство увидело в лице декабристов не только изобретателей, давших ему молотилку, усовершенствованный плуг, не только носителей знания и опыта, которыми они бескорыстно делились с земледельцем, но и людей, ценивших в крестьянине прежде всего человека и считавших для себя незазорным не только сдружиться с пахарем, но и войти в его семью, породниться.

В последнем случае нельзя не отметить женитьбы декабристов на крестьянках, инородках, казачках. Бечасный, Фролов, Иванов, Крюковы А. и Н., Раевский, Кюхельбекеры, Фаленберг, Луцкий и др. соединяют свою судьбу с девушками-крестьянками.

Женитьбу декабристов на крестьянках, инородках, ссыльно-поселенках нельзя считать результатом неизбежной необходимости в лице жены-крестьянки иметь лишь «экономку», на плечи которой можно было бы взвалить ведение хозяйства. Правда, обзаведясь домами, увеличив распашку, декабристы нуждались в женском труде, в надежных помощницах-друзьях, но выбор последних диктовался не столько необходимостью и хозяйственными соображениями, сколько влечением сердца.

Женясь на крестьянках и др. лицах податного сословия, декабристы бросали вызов сословности, чопорному аристократизму, классовым предрассудкам, в вопросе брака не изжитым еще некоторыми декабристами. Входя тесно в семью крестьянина, декабрист подчеркивал в сознании приниженных социально элементов идею равенства. Если по старой привычке декабристов и называли кое-где «наши князья», то были и такие места, где крестьяне говорили «мы с Трубецким,—мы с Раевским» и т. п.

Если кровное родство декабристов с крестьянами было сравнительно мало распространено, то духовное их родство с селянами, открывшее возможность не меньшего влияния, было обычным явлением. Особенно глубоко оно пустило корни в Петровском заводе, где жившие вне каземата жены декабристов принимали близкое участие в жизни крестьян. Волконская М. Н. и др. были крестными матерями многих крестьянских детей. Перейдя на поселение, жены декабристов сближались с крестьянами, принимали участие в семейных празднествах и духовно роднились с ними.

Крестьянин села М. Разводной Пятидесятников говорил, что Юшневская М. К. «была его сестре Татьяне—крестной. После смерти мужа распродалась и уехала. Перед от'ездом подарила крестнице корову и, согласно народному обычаю, провела корову через шелковый пояс, который и подарила вместе с коровой».

Павел Абрамов, заброшенный в Акшинскую крепость, чувствуя дыхание смерти, составляет завещание: «крестнице Анне Фильшиной 50 рублей, крестнице Снуезовой 50 рублей, кумушке Ирине Дорофеевне 5 кусков рубахи накроенного полотна да золотой крестик, Васипаюшке вызолоченный столовый прибор *).

Помимо указанных фактов, был еще целый ряд условий, которые сближали декабристов с населением, открывая доступ влияния на них.

Ярче всего эта близость сказывалась в тяжелые моменты жизни тех и других, в моменты болезни.

Беспомощным было в деревне положение серьезно заболевших. Медицинская помощь совершенно отсутствовала. Из ближайшего, за несколько сот верст, города доктор не всегда имел возможность приехать к заболевшему крестьянину, да и не приезжал, конечно, а «к заболевшему государственному преступнику» мог приехать лишь с разрешения краевой власти. Зачастую помощь таких приехавших докторов оказывалась излишней,—больной, не дождавшись ее, умирал.

Вот что пишет сотенный командир села Акши Разгильдеев пограничному начальнику, прося прислать доктора к заболевшему декабристу Абрамову П.: «Медицинского пособия, по неимению здесь средств, никакого не делается и в необходимости осталось прибегнуть к помощи азиатских лам, но и они не помогают» **).

В деревнях, отстоящих вдали от монгольской границы, и этих «лекарей» не было. Чтобы как-нибудь выйти из такого положения, краевая власть, в лице генерал-губернатора Лавинского, енисейского губернатора Копылова и др., рекомендовала иногда и «заочное лечение» декабристов.

Если таково было отношение к больным декабристам, то о лечении крестьян никто и не думал.

В лице декабристов крестьянство встретило людей, готовых своим советом облегчить их страдания.

«Масса принимает за лекарей всех нас, и скорее к нам прибегает, чем к штатному доктору, который всегда или большею частью пьян, или даром не хочет шевелиться... Иногда одной магнезией вылечишь, и репутация сделана, так что потом насилу можешь отговориться, когда является что-нибудь серьезнее, где надобно действовать знанием дела, или по крайней мере ученым образом портить и морить» ***).

Е. И. Трубецкая, М. К. Юшневская, Муравьев, А. З., чем могли и как могли помогали больным крестьянам. «У Волконских свои лекарства, каково в аптеках... В Урик посылали за фелшером, когда кому было худо»,—говорят крестьяне. «Фелшер» этот был не кто

---

*) Ц. А. В. С., св. 13, оп. № 323.
**) Там же, л. 3.
***) «Декабрист И. И. Пущин», ред. Штрайха, стр. 204.

иной, как декабрист, штаб-лекарь Ф. Б. Вольф. То был талантливый, знающий свое дело врач, к которому обращались за помощью многие из иркутян, ставя Вольфа выше всех практиковавших в городе врачей.

В Баргузине «многие жители-крестьяне обращались к М. Кюхельбекеру за медицинской помощью, оказываемой всегда безвозмездно, разумеется, из собственного тощего кармана тратя на лекарство».

Такую же общественную деятельность вели и другие декабристы: Нарышкины, Шаховской, Фаленберг, Бобрищев-Пушкин, П. Хорошо знавший последнего, питомец декабристов Знаменский говорит, что приемная комната Бобрищева-Пушкина была всегда полна пациентами не только из города, но даже и ближайших к Тобольску деревень. «Всюду, и на полу, и на окне, и на рундуке, сидели крестьяне и крестьянки, питавшие большую веру в его маленькие медикаменты» *).

Врачебная помощь, оказываемая декабристами не только сельскому, но и городскому населению, открывала декабристам широкую возможность влияния не только на крестьянство, городское население, но даже на инородцев.

«М. Кюхельбекер пользовался любовью и уважением местных жителей, в особенности тунгусов и бурят, с которыми вел дружбу, был их даровым советником во всех житейских делах и, кроме того, доктором, разумеется, даровым» **).

Общественное служение декабристов в полной степени проявлялось и в их благотворительной деятельности. Где бы ни жили декабристы—в городах ли, селах, среди инородческих поселений,—они с большой готовностью отзываются на нужды населения, то внося, как Шаховской, за неимущих недоимки, то раздавая пищу, одежду, деньги. Все это встречало неодобрительный взгляд высшей краевой власти, усмотревшей в благотворительности декабристов нежелательное вмешательство лишенных прав элементов в общественную жизнь.

V.

Заметнее, чем в селах и деревнях, влияние декабристов сказывалось в сибирских городах.

Стоило лишь двум лицам (Чижову и Андрееву) с определенным кругом идей и умственных запросов прибыть, по воле судьбы, в далекое медвежье захолустье, как в самом городе, населенном всего

---

*) Знаменский. Тобольск в сороковых годах.—«Наш край», Тобольск, 1925 г., № 2—3, стр. 12; Енисейское губархбюро, стр. 7. Окружной начальник доносит: «Шаховской имеет достаточное сведение, как в медицине, так и в фармакопее, коих лекции слушал он у доктора Лозера. Опыты его искусства могут засвидетельствовать многие из жителей».

**) Першин-Караксарский, стр. 567.

тремя сотнями якутов да казаков, намечаются следы культурной жизни. Влияние декабристов сказалось очень скоро. Уже в 1827 г. Под'яков выписывает для себе «Московский Телеграф», ежемесячный журнал, подписывается на «Историю русского народа» Полевого и ведет оживленную переписку с книжной фирмой Глазунова, выписывая от нее книги. Конечно, книги выписывались им не для рынка, а для чтения в небольшом Олекминском кружке. Немалое наслаждение доставляло обществу чтение Чижовым своих стихов *).

В далеком Березове, с водворением в нем декабристов, выписываются газеты: «Сенатские» и «Московские Ведомости», «Северная Пчела». Декабристы читают их в кругу знакомых, друзей, обсуждают вопросы дня, интересуются Турецкой, Персидской войнами, внутренней жизнью не только России, но и Европы.

Если в Олекме культурному влиянию декабристов незаметно поддаются чины администрации, как исправник Федоров, то не избежал такого же влияния их друзей в Березове исправник Лебедев, который, по отзыву его недоброжелателей, «в разговорах желал блеснуть ученостью и показать сведения о политике и государственном правлении».

Особенный мир представлял собою Якутск в конце 20-х годов XIX века.

Родственные связи служащих в Якутске чиновников с тамошними купцами, мещанами, казаками и якутами накладывали свою печать на всю общественную жизнь. При отсутствии духовных запросов и необеспеченности на первом плане ставились интересы материального благополучия, для достижения которого пускались в ход все средства; поэтому интрига, ябедничество и зависть махровыми цветками распускались на сером фоне якутской общественности, способствуя раз'единению, а не сплочению составных групп населения.

При таких условиях могли создаваться и крепнуть лишь родственные группировки—как формы общественности, по местным условиям лучше гарантировавшие возможность обогащения и движения по службе.

Прочность таких группировок демонстрировалась в моменты семейных празднеств, столь чтимых в сибирских городах, когда родственники и друзья садились за стол и принимались за обильное угощение.

Попытки об'единить необ'единимое были сделаны якутским областным начальником Мягковым.

«В лице сосланных государственных преступников Краснокутского, Чернышева и Бестужева А. он видел образованных, талантливых и воспитанных людей, способных внести оживление в общество и придать ему особый блеск. Вот почему на все балы и торжествен-

*) Ц. А. В. С., св. 8, оп. № 108, стр. 31: «Дело о стихотв. госуд. прест. Чижова Н., напечатанном в «Московском Телеграфе».

ные обеды он приглашал и декабристов, и ссыльные гости были центром общего внимания. Вот как доносит об этом генерал-губернатору в довольно, правда, неуклюжих выражениях Слежановский: «На случающие у Мягкова балы, где быв они (декабристы) в полной мере г. Мягковым в виде знаменитых особ уважаемы, и, играя они недозволенную ролю, занимали первые места и танцовали с приглашенными на бал дамами», но, что ужаснее всего, «приглашал их в числе штаб- и обер-офицеров, и также почтеннейших граждан к обеденному столу в высокоторжественные дни».

Все это с точки зрения городничего являлось великим преступлением и никак не вязалось с его понятиями о службе. «Областной начальник,—продолжает развивать свою мысль Слежановский,—обязан был иметь за всяким таковым сообществом их с кем-либо из жителей якутских строжайший надзор и доводить о том до сведения начальства», а не самому, конечно, участвовать «в шайке дружества».

Купечество и «почетные лица области Якутской» считали своею обязанностью на семейные торжества приглашать заброшенных в Якутск декабристов, и они не отказывали хлебосольным хозяевам.

Вместе с якутянами можно было встретить декабристов и в кругу якутов, особенно во время национальных якутских празднеств, которые падали на май и ноябрь месяцы.

Небольшой кружок, живший высшими запросами духа, образовался в Сеже и в Якутске, несмотря на всю кратковременность пребывания там декабристов.

Управляющий откупом Колосов, затем Мягков, начальник солеваренных заводов, Злобина А. П. и др. Они запросто приглашали к себе декабристов, частенько посещали их квартиры, просиживая с декабристами за непринужденной дружеской беседой «немалое время». Журналы и новые книги были основной темой беседы.

Если некоторые исследователи утверждают, что «ссыльные декабристы не находили себе места в обществе», «что жизнь их была не из веселых», «скучная и томительная» *), то указанные факты доказывают их ошибочность.

Декабристы на Крайнем Севере, в Березове, Олекме, Якутске, не в обществе искали средства рассеять свою тоску, а сами стремились расшевелить полузамершее, сонное царство, стремились пробудить в людях интерес к науке, литературе, к самому краю, к его прошлому—в этом их крупная заслуга перед сибирским обществом.

Сильнее сказалось влияние декабристов на сибирское общество в пограничном с Монголией пункте—Кяхте, где декабристы, собственно говоря, и не жили, но это обстоятельство еще более должно говорить о силе их влияния в Забайкалье.

---

*) Н. Котляревский, Декабристы кн. Одоевский, Бестужев, СПБ. 1907 г., стр. 154.

Знакомство кяхтинцев с декабристами падает на 30-е годы. Уже в то время Боткин, Баснин, Игумнов и др. кяхтинские купцы присылали в Петровский завод чай, китайские материи, вина и пр. и сами приезжали знакомиться с декабристами. Более тесное сближение между декабристами и кяхтинским обществом произошло после 1839 года, когда Бестужев, Торсон поселились в Селенгинске, отстоявшем от Кяхты в 90 верстах.

«Декабристы пробудили в кяхтинцах интерес к политике и к общественным вопросам еще тогда, когда вся Россия была погружена в тяжелый сон»,—говорит И. И. Попов, близкий к тем кругам кяхтинцев, на которых сильно сказалось влияние Бестужевых, Горбачевского, Торсона и др. *).

«Нелегальная литература не скрывалась, а, напротив, каждая книжка журналов—нелегальных и легальных—служила материалом для собеседований, в которых принимали участие не только купцы и их служащие, но даже пограничный губернатор А. И. Деспот-Зенович, приезжавший к Кяхту для того, чтобы искоренить контрабанду.

В 50-х годах кяхтинское общество уже зачитывается «Полярной Звездой», позже «Колоколом».

После амнистии 1856 года—Бестужев М. А. наезжал в Кяхту. Во время одного из таких посещений в Кяхте получилось какое-то заграничное издание, обсуждавшееся на собрании у В. И. Сабашникова.

По поводу этого вечера М. А. Бестужев писал сестре: «День закончился quasi-литературным вечером у В. И. С. Мне впервые довелось слышать смелые суждения и жаркие споры».

Кяхтинцы не раз бывали в Москве, Петербурге по своим торговым делам и, исполняя поручения декабристов, посещали их родственников. Те дивились культурности сибирского купечества, его умственному развитию.

Если очаги культурного влияния могли образоваться в медвежьих углах, то гораздо легче им было возникнуть в таких городах, как Тобольск, Иркутск, Красноярск, Минусинск, Ялуторовск, где декабристы были поселены группами.

В Тобольске центром культурного влияния был дом Свистунова, Б. И. Получавший массу журналов как русских, так и иностранных и следивший за развитием литературы и политической жизни, Свистунов, с его восприимчивым умом, был не только приятным собеседником, но заметным деятелем, крупной культурной силой.

В Красноярске, в котором не было и 3.000 человек населения, декабристы также сумели об'единить общество. По воспоминаниям Смирновой, ее мать Зелинская Е. И. (ум. 1880 г.) была знакома с декабристами, из которых особенно часто упоминала в разговорах о Давыдовых и говорила, что под влиянием декабристов собира-

---

*) И. И. Попов, Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 л. Сибирь и эмиграция. Ленинград, «Колос», 1924 г., стр. 37, 40.

лись кружки для чтения книг и обсуждения литературных произведений и что вообще влияние их на Красноярск было велико и благотворно, что это были выдающиеся люди, воспитанные и умницы и не только мужчины, но и их жены. Такое же воспоминание осталось в Красноярске и у Пассек, Е. П. *).

Могли ли декабристы, влияя на культурное развитие общества, отказаться от проповеди тех идей, которые они ярко начертали в проектах неосуществленных конституций? Могли ли они молчать в пору Николаевского режима?

Ведь декабристы были убеждены, что «то здание», которое они воздвигали, «долженствовало простоять не один день, ибо его обломки противятся еще бурям, высятся над уровнем отечественных постановлений, на подобие пирамидам, для указания будущим поколениям стези на политическом поприще».

Декабристы в кругу своих друзей и ближайших знакомых, читая книгу, газету, обсуждали, о многом говорили откровенно, «рассуждали с дерзкою насмешкою о распоряжениях правительства»... То была, так сказать, пассивная критика распоряжений центральной власти, скрытая оппозиция. Открыто выражать суждения о государственных мероприятиях и тем создавать общественное мнение Сибирь в первой половине XIX века не могла. Не было печатного слова, не было прессы. Общественное мнение, как таковое, создавалось в кружках, в отдельных группировках и там к голосу декабристов прислушивались. Сибирское общество проходило под их негласным руководством основы политической грамоты.

Находились лица, которые извещали власть о деятельности декабристов. О Щепине-Ростовском доносили генерал-губернатору, что он «дозволяет себе иногда отзываться о правительстве неприличным образом». О Черкасове Горский доносил, что «этот человек только дышит республиканским духом и сколько бы ни благодетельны были законные действия монархического правления, за то только, что они не названы республиканскими, то по его чувствам и словам все варварские и тиранские. Но он, будучи хитр и имея способность вкрадываться в доверенность всякого сословия людей, подходя с слабой стороны каждого осторожно,—гораздо вернее действует. Он некоторых до такой степени ослепил, что они сделались совершенным отпечатком образа его мыслей».

В основе своей, надо думать, это сообщение не было фантазией доносителей. Вряд ли декабристы могли петь хвалебные гимны правительству, разбросавшему их по всей Сибири.

Такие беседы, если они имели место, могли происходить только в интимном кругу. Однако были среди декабристов и непримиримые, уверенные в необходимости и своевременности пропаганды тех идей,

---

*) В. Смирнов, Декабристы в Красноярске, — «Сиб. Огни», 1925 г., № 3.

которые повели их на место казни, в темницы и ссылку. К таким лицам относится М. С. Лунин.

«Последнее желание мое в пустынях сибирских, чтобы мысли мои, по мере истин, в них заключающихся, распространялись и развивались в умах соотечественников» *).

Средством пропаганды служили письма Лунина к сестре его Е. С. Уваровой. Для большей популярности их Лунин старался придать письмам форму политического памфлета.

«Голос знакомым из-за Байкала» был ясно и отчетливо слышен сибирским обществом. В Кяхте, Верхнеудинске, Бельске, Иркутске и других местах передавались из рук в руки тетради с письмами Лунина. Читались учителями, духовенством, докторами и др. представителями нарождавшейся сибирской интеллигенции 30—40 годов.

Лунин знал о широком распространении его писем и правильно оценил их, как политическое орудие в борьбе с той властью, которая, казалось, отняла у него все средства к борьбе.

«Гласность, которою пользуются мои письма через многочисленные списки, обращает их в политическое орудие, которым я должен пользоваться на защиту свободы» **).

Для Лунина было ясно, прежде всего, что крепостная Россия— страна бесправия и произвола. Права политические не существуют в ней, гражданские уничтожены произволом, а естественные нарушены рабством. В такой формулировке Лунина метко и всеобхватывающе очерчен уклад России Николаевской поры. И Лунин восстает против него, стрелы его негодования направлены прежде всего против основного зла—рабства. Он остается верным заветам тайного союза, поставившего целью своей деятельности «отстаивать порабощенных соотечественников всеми средствами, которыми мог располагать».

Не было ни одного более или менее существенного вопроса государственной жизни, которого в своих письмах не затронул бы Лунин.

Власть, пытаясь прекратить пропаганду, запретила Лунину переписку с сестрой.

Однако эта мера не оправдала возложенных на нее надежд. Если власть была уверена, что «голос из Сибири» не будет громить ее недостатков, указывать те язвы государственного строительства, которые ей не под силу излечить, то общество, а особливо сибирское, знало, что Лунин и после запрещения писать сестре будет делиться с ним своими смелыми мыслями. Лунин верил в народ, чувствовал, что ему необходимо бодрое слово и он сеял его, приобретая огромное влияние. Не только письма его к сестре в копиях ходили по рукам сибиряков, с большей жадностью они зачитывались небольшими, но смелыми статьями Лунина, в которых не менее ярко, чем

---

*) «Декабрист Лунин», стр. 29.
**) Там же, стр. 60.

в письмах, уриковский поселенец выступал защитником народной свободы, раскрепощения труда и сознательным врагом самодержавия.

Из таких статей необходимо отметить: «Розыск исторический», как статью общего характера, определяющую точку зрения Лунина на весь процесс русской истории, на основные ее моменты.

Из других статей огромное значение для сибирского общества имела «Взгляд на русское тайное общество».—Лунин шаг за шагом вскрывает необходимость осуществления тех реформ, которые были начертаны на знамени тайного общества.

Оставаясь верным своей политической платформе, Лунин и в этой статье не упускает случая нанести удар идее самодержавия и рассеять предрассудок о невозможности для России другого, кроме самодержавия, порядка. Он смело говорит о необходимости заменить раболепство перед лицами повиновением закону, правительству, основанному на законах разума и справедливости, ибо Россия выросла уже из того состояния, которым могла оправдываться наличность самодержавной власти.

Имя Лунина становилось популярным. «Он приобрел нравственное владычество над всеми почти жителями Урика» *),—пишет о нем Вадковский.

Через Бельск, где жил Громницкий, переписывавший статьи Лунина, через Иркутск, где они были в большом ходу, статьи достигали границ Забайкалья,—там жадно читали все, в чем «обнаруживался животворящий дух изгнанника».

Враги декабристов не дремали и о пропаганде Лунина донесли в столицу, представив туда в копии «Взгляд на тайное общество».

По указу Николая I Лунин был арестован и увезен в Акатуевский рудник.

Арест Лунина, а также Громницкого и других лиц, замешанных в распространении статей, произвел гнетущее впечатление на сибирское общество. Отыскивая виновников доноса, оно в то же время, чем могло, помогало заключенным, деньгами, вещами. На действия власти в отношении к декабристам общество умело реагировать.

Когда посланный в Якутскую область жандармский капитан Алексеев поднял гонение на тех, кто был близок к поселенным там декабристам, когда начал расследование о стихах Чижова, помещенных в «Московском Телеграфе», о кресте, поставленном на берегу реки и т. п., его действия не могли не возмутить тех слоев иркутского интеллигентного общества, все симпатии которого, со дня первого приезда в Иркутск декабристов, были на их стороне.

Выразителем общественного мнения, бывшего на стороне декабристов, явился доктор Крузе.

---

*) А. А. Сиверс, Декабрист Вадковский в его письмах к Е. П. Оболенскому,—«Декабристы», неизданные материалы и статьи, под редакцией Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, 1925 г., стр. 214.

Зайдя к Слежановскому, другу Алексеева, он задал ему несколько вопросов о капитане Алексееве, а затем, не удовлетворившись ответом, заявил Слежановскому, что «капитан Алексеев ничего особенного не сделал разыскиванием креста и бутылки, кроме вреда всем несчастным преступникам, чем всех против себя вооружил». Крузе неоднократно бывал в Олекминске, Якутске, лично знал сосланных туда декаористов и «всегда говорил в пользу этих преступников» *).

Влияние декабристов на население с течением времени приняло настолько реальные формы, что с лишенными прав людьми принуждены были считаться представители власти, особенно, когда декабристы становились на защиту попранных народных прав.

В первые десятилетия XIX века деспотизм чиновничества, с одной стороны, повальное взяточничество и лихоимство—с другой, создали такую общественную атмосферу, в которой не могли нормально развиваться ни самосознание сибирского общества, ни нравственные устои его. В это время приходилось говорить не о злоупотреблениях власти, а об установившейся системе, о таком порядке, который грозил катастрофой молодому краю.

И вот в этот-то момент государственные преступники, лишенные прав, подают голоса против нарушителей законов—подают голос в защиту забитых, обездоленных низов, укрепляя в них чувство человеческого достинства.

«Декабристы являются защитниками народа против злоупотреблений администрации двояким действием: или предстательством у высшей администрации, которая всегда могла смело положиться на добросовестное их указание, или обуздывая низшую администрацию нравственным своим влиянием, так как были примеры, что люди, самые закоренелые в злоупотреблениях, совестились перед ними, когда боялись, что действия их будут открыты. И вот по такому нравственному значению их, они, вне всякого официального звания или положения, были во многих местах настоящими мировыми посредниками и судьями, как бы официально признанными самим главным начальством и были во всяком случае лучшими советниками и покровителями народа и даже людей, стоящих выше его **).

Эта сила нравственного влияния была велика. С трудом поддается учету. Мы имеем целый ряд свидетельств стариков, помнящих декабристов, как защитников от произвола со стороны «людей насильства».

Бечасный вступался за крестьян пред начальством, «в обиду не давал, здешних отстаивал, кого нужно всегда просил за крестьян» ***).

---

*) Ц. А. В. С., св. 6, оп. № 108, л. 83.
**) Максимов, стр. 271.
***) Б. Кубалов, В. Бечасный в Смоленщине.

Постоянным ходатаем за крестьян пред местной властью был и Раевский. «Пока Владимир-то Федосеич жив был, эти заседателишки и сунуться к нам боялись. Ну, а уж, как умер, так и поприжали» *).

На защиту попранных прав населения становился и Волконский. К нему обратился М. А. Бестужев с такою просьбою: «Вам, может быть, известно, что за низкая креатура наш городничий, назначенный к нам в градоначальники из жалкого сословия иркутских квартальных... Он дал торжественное обещание нам и всем гражданам нашего города жить миролюбиво, но снова начал низкое поприще кляуз... Мы теперь так стеснены, что не имеем права перестроить бани или поставить новый курятник без разрешения иркутской строительной комиссии, мы, которые живем вне всякого гражданского мира, в степи, в притыке неприступных гор... Если вы будете иметь возможность представить все это на вид г. губернатору, то я свидетельствую о благодарности всех наших сограждан, ежели избавите город от этой язвы, отравляющей нашу атмосферу». На письмо это последовало ответ: «Сделано распоряжение к освобождению Селенгинска от городничего, что и будет сделано в течение не более двух недель, чрез что город может быть спокоен» **).

Этот факт, до известной степени, говорит уже о том влиянии, которое декабристы, поставленные вне общества и лишенные прав, силою своего нравственного авторитета, оказывают на местную власть. Отсюда один шаг к влиянию их на дела управления краем.

Путь такому влиянию открывала служба декабристов в разных правительственных учреждениях.

Занимая скромные должности, декабристы, бесспорно, своими знаниями, образованием, широким кругозором резко выделялись среди чиновного мира старой Сибири.

Изучая решительно все стороны жизни нового края, знакомясь с бытом населения, они отлично понимали, что Сибири недостает «внутренней хорошей администрации, правильного ограждения собственных и личных прав, скорого и строгого исполнения правосудия, как в общественных делах, так и в нарушении личной безопасности: капиталов, путей сообщения, полезных мер и учреждений в отношении просвещения и нравственности жителей; специальных людей по тем отраслям промышленности, которые могут быть с успехом развиты в ней, наконец, достаточного народонаселения» ***).

К таким лицам и власти не зазорно было обращаться за советом в трудные моменты и пользоваться их знаниями и опытом.

Когда в 1848 году начались волнения крестьян в Пермской губернии (так называемые картофельные бунты), вызвавшие беспокой-

---

*) Азадовский, Страничка из краеведческой деятельности декабристов в Сибири,—сборник «Сибирь и декабристы», Иркутск 1925 г. (корректура).

**) Максимов, стр. 264—265.

***) Бестужев, стр. 182.

ство и брожение умов в соседней Тобольской губернии, то губернатор Ладыженский просил Штейнгеля написать воззвание к народу с целью предостеречь его. Воззвание это внесло успокоение в народ.

Чтобы лишить влияния Штейнгеля на ход дел губернии, генерал-губернатор Горчаков решил перевести его на жительство в Тару.

Сообщая об этом Бенкендорфу, Горчаков поясняет, что мотивами к такому переводу послужили «неоднократно доходившие до него слухи о допущении тобольским губернатором Ладыженским, тайным образом, Штейнгеля к составлению служебных бумаг, отчего Штейнгель не чужд влияния на дела управления, из-под его пера под фирмой губернатора выходят иногда пространные резолюции и проекты» *).

Советами декабристов в делах управления краем пользовались и высшие чины в других губерниях. Так, председатель енисейского губернск. правления Турчанинов принимал у себя декабристов, беседовал с ними о важнейших делах. Это обстоятельство дало повод подполковнику корпуса жандармов Чуйкову донести о «дружбе Турчанинова с декабристами», о том, что он под их влиянием забывал все приличия.

«Весьма часто случается,—пишет он,—что пришедший к Турчанинову чиновник по делам службы, в ожидании его, как начальника, распоряжения, стоит, когда государственные преступники фамильярно почти лежат с ним на диване,—такого рода обращение столь высокого чиновника в губернии производит вредное влияние не только на чиновников, но и на все сословие людей как в Красноярске, так и во всей губернии» **).

Историк Забайкалья не пройдет молчанием роли Д. И. Завалишина в устройстве области казачьего быта. Когда Чита была назначена городом, Д. Завалишин приложил немало забот к ее устройству. К его голосу прислушивались губернатор Запольский, начальник штаба Б. Кукель и другие лица.

Как знаток края, он не разделял планов Муравьева-Амурского. В связи с его политикой на Дальнем Востоке он открыто выступил против него.

С течением времени декабристы стали занимать в Сибири более ответственные места. А. Н. Муравьева, например, мы видим в роли председателя губ. правления и временно в должности тобольского губернатора.

Как чиновники, декабристы дали Сибири людей независимых, стойких и честных убеждений... Они не поступались ни пред мнением своих сослуживцев, ни пред незаконными распоряжениями высших властей.

---

*) Цитирую по Дмитриеву-Мамонову, стр. 177—178.
**) Ц. А. В. С., св. 19, № 585, л. 7.

Борьбу с администрацией ведет Штейнгель в Западной Сибири, а в Восточной—Завалишин, Д., Панов *).

Общество с живым интересом следит за неравной борьбой, борьбой силы и права.

Намечая главнейшие вехи влияния декабристов на сибирское общество, необходимо указать и на большую общественную работу декабристов по изучению края, по участию их в целом ряде экспедиций— Эрмана, Дуэ, Миддендорфа и других. Результатом работ они делились с обществом, знакомя его с той страной, о которой оно имело самое превратное представление **).

Рядом с этим необходимо вскрыть и отношение декабристов к инородческому миру Сибири: к бурятам, тунгусам (Кюхельбекера, Бестужевых, М. и Н.), к якутам (Бестужева, А. и Муравьева-Апостола), к инородцам Енисея и Нижней Тунгуски (Лисовского, Абрамова, Шаховского) и к остякам Оби и Иртыша (Ентальцевой) ***).

Итак, тридцатилетнее пребывание декабристов «в краю чужбины» не прошло бесследно для культурного и общественного развития Сибири. В сферу их влияния вовлекались все слои населения, начиная от инородцев и кончая верхним слоем горожан.

Заложив фундамент культурного влияния на сибирское общество политической ссылки, они тем самым указали грядущей им на смену фаланге политических изгнанников тот путь, которым должна направляться их деятельность в Сибири, дабы приблизить час торжества тех идей, что были, во имя лучших дней человечества, начертаны на знамени декабризма и восприняты новым поколением.

Б. Г. Кубалов.

---

*) Ц. А. В. С., св. 33, оп. № 144: «Дело по жалобе гос. преступн. Панова на начальника Иркутской губернии — за оскорбление».

**) Подробности об этом в цитированной статье М. Азадовского.

***) Ленинградский отдел Центрархива. Политсекция 1-й Отд. «Дело по письму жены гос. прест. Ентальцева о бедственном положении остяков», 30—394.

Поэты-декабристы.

Среди писателей-декабристов были писатели так сказать профессиональные, для которых литература была призванием и влечение к художественному слову органическим, были и любители-дилетанты, написавшие иногда одно, иногда несколько стихотворений, главным образом, в пору тюрьмы и ссылки. В. Ф. Раевский, Батеньков, Лорер, П. Бобрищев-Пушкин 2-й, Муравьев-Апостол и еще три-четыре имени принадлежат ко второй группе. Из них наиболее интересны Раевский и Батеньков. Ни тот, ни другой техникой стиха не владели, но зато их поэтические признания проникнуты напряженностью чувства и глубиной переживаний. В их стихах—скорбь отторженных от мира людей, задаром потративших свои силы в сибирских пустынях и в казематах *). Особенно скорбным тоном проникнуто стихотворение Батенькова «Одичалый», написанное в Финляндской крепости Швартгольм в 1827 г., незадолго перед тем, как узника перевели в Петропавловскую крепость, где он в одиночном заключении провел, как известно, около двадцати лет.

К числу подлинных поэтов, для которых писательство было определяющей, главной стихией, принадлежат четыре имени декабристов—Рылеев, кн. А. И. Одоевский, Кюхельбекер и А. А. Бестужев-Марлинский. То, что ими создано, как писателями, вошло в историю русской литературы органически. Если бы эти имена отсутствовали в списке русских поэтов, в книге о судьбах нашей литературы тем самым отсутствовала бы очень важная глава.

Об'единенные общей, хоть и не для всех одинаковой жизненной судьбой, эти поэты не были об'единены общностью их творческих устремлений. Кое в чем сходствуя друг с другом, они, однако, не могут быть зачислены в одну поэтическую группу в смысле

---

*) Стихотворения В. Раевского опубликованы в «Русской Старине», 1890, № 5, и 1873, № 7. В извлечении перепечатаны в «Собр. стихотворений декабристов», изд. И. И. Фомина, М. 1907, т. II, стр. 117—137. Стихотв. Батенькова «Одичалый»—в «Русской Старине», 1889, № 8. Перепечатано в указ. изд. И. Фомина, т. I, стр. 283—290.

принадлежности к какой-либо общей школе. Каждый шел своими путями, и у каждого были свои литературные традиции и вкусы. Самая идея гражданского подвига, понудившая их к участию в декабрьском восстании, не была одинаково для всех той движущей силой, которая определила содержание творчества поэтов-декабристов. Пламенным борцом и горячим исповедником революционной идеи и в жизни и в творчестве был лишь один Рылеев. Остальные же принадлежали к тому многочисленному кругу русской дворянской молодежи, который, будучи настроен в общем либерально, не склонен был политическим устремлениям приносить в жертву других своих жизненных интересов. Кара, выпавшая на их долю, не соответствовала ни фактическому, ни моральному их участию в событиях. И самое содержание их творчества направлялось иными возбуждениями и иными идейными и психологическими интересами, чем те, что двигали событиями 14 декабря.

I.

В своем отношении к окружающей действительности Рылеев (1795—1826) стоял на этической точке зрения. Рыцарем и мучеником правды он был всегда, когда сталкивался с жизнью, независимо от того, где он наблюдал ее проявление—в быту или в политике... Горячая голова, пылкий ум, воспитанный на знакомстве с героическим прошлым Греции и Рима, он решительно предпочитал конституционной монархии республику, потому что, по его мысли, в монархии не может быть ни великих характеров, ни истинных добродетелей.

Ранние литературные опыты Рылеева шли в той традиционной колее, которая была типична для нашей поэзии начала XIX века. Сначала патриотические стихи, связанные с нашествием Наполеона на Россию, сатирические картинки из быта 1-го кадетского корпуса, в котором Рылеев учился, затем любовные пьески в стиле легкой французской поэзии XVIII века, внушенные музой Анакреона и Парни и их русских последователей—Батюшкова и Пушкина. Игривая тема страсти и наслаждения в об'ятиях Дорид, Делий и Аглай — в этих стихах преобладает *). Однако с переездом из Острогожска в Петербург эротическая лирика Рылеева заметно идет на убыль. Под влиянием общего возбуждения умов, Рылеев

---

*) Ранние литературные опыты Рылеева изданы в приложении к книге В. И. Маслова, «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева», Киев 1912 г., являющейся вообще наиболее обстоятельным исследованием о Рылееве, как писателе. Лучшими изданиями соч. Рылеева, но отнюдь не полными, являются изд. под ред. П. Ефремова (изд. 2-е, Пб. 1874) и Г. Балицкого (2 т.т., Москва 1906—1907). Впрочем, последнее изобилует неточностями и ошибками.

почти целиком отдается гражданской поэзии. Пафос гражданина берет у него перевес над всеми другими чувствами и пристрастиями:

... Любовь никак не идет на ум:
Увы! моя отчизна страждет:
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

В 1820 году на страницах «Невского Зрителя» он выступает с первым боевым гражданским произведением. То была сатира «К временщику», направленная против Аракчеева. Образцом для нее послужила сатира Персия «К Рубеллию» в переводе М. Милонова. По силе негодования и по энергичности брошенного вызова эта сатира Рылеева была, несомненно, самым резким произведением, попавшим на страницы современной печати.

Свободолюбивые мотивы произведений Рылеева рождались не только обстановкой русской жизни. Так, когда вспыхнула война за независимость Греции, поэт пишет несколько стихотворений, в которых выражает живое участие делу освобождения греческого народа и призывает русское войско на помощь восставшим. Прошел какой-нибудь год со времени окончательного водворения Рылеева в Петербурге, и он уже весь во власти идеи общественного блага и общественного служения. В 1821 году в послании к А. Бестужеву он пишет:

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу.
Мой друг, не даром в юноше кипит
Любовь к общественному благу.

Так оно действительно и было. Поэт своего обещания не нарушил.

С 1822 года Рылеев стал печатать свои «Думы». Это был совершенно особый род стихотворений, не имевший в русской литературе прецедентов. С украинскими думами думы Рылеева связаны лишь по имени и разве еще тем, что и в тех и в других речь идет об историческом прошлом. Больше связи тут у Рылеева с Польшей, где подобного рода полуисторические, полуэлегические думы были в обиходе в самом начале XIX столетия. Удачнее всего в этом жанре подвизался Немцевич, «Исторические песни» которого послужили для Рылеева ближайшим образцом при создании «Дум». Однако лишь образцом. О непосредственном влиянии Немцевича говорить не приходится. К тому же по своему поэтическому достоинству рылеевские «Думы» выше «Песен» Немцевича.

Задачей поэта было показать на исторических образцах примеры гражданской и нравственной доблести. Персонажи «Дум»—выдающиеся имена русской истории—Святополк, Дмитрий Донской, Богдан Хмельницкий, Ермак, Иван Сусанин, Петр Великий, Державин,

Наталья Долгорукова и др. Общее количество «Дум» 29, считая 4 дошедших до нас лишь в отрывках. Будучи по форме совершенно оригинальными, «Думы» по своему содержанию соприкасаются с традицией XVIII века. Для этой традиции частью классической, частью сентиментальной, характерно было такое обращение с историческим материалом, при котором историческая верность отступала на второй план в угоду философскому или морально-политическому исповеданию автора. То же мы наблюдаем и у Рылеева. Ряд героев его «Дум» являются носителями тех нравственных и общественных идеалов, которые дороги были самому поэту. Сами «Думы» трактуют тему, о свободе, борьбе с рабством, угнетением и вероломством. Идеальный государь и вельможа тот, кто стоит прежде всего за правду, и торжество правды и права ставит выше ратных подвигов. Ольга при могиле Игоря дает такое наставление своему сыну Святополку:

Отец будь подданным своим
И боле князь, чем воин,
Будь друг своих, гроза чужим —
И жить в веках достоин.

Устами Волынского так определяется «отчизны верный сын». Это тот,

...Кто сильными в борьбе
За край родной, иль за свободу
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу.
Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден.
Повсюду честный человек,
Повсюду верный сын отчизны,
Он проживет и кончит век,
Как друг добра, без укоризны.
Ковать ли станет на граждан
Пришлец иноплеменной цепи—
Он на него, как хищный враг,
Как вихрь губительный из степи...
«И пусть падет!—Но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он, и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной.
Славна кончина за народ.
Певцы, герою в воздеянье,
Из века в век, из рода в род
Передадут его деянья...».

Державин высоко расценивается Рылеевым прежде всего потому, что он был, по его взгляду, поэт-гражданин:

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил,
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.

Таков общий характер рылеевских «Дум». Их нельзя поставить очень высоко в литературном отношении. Они сильнее своей гражданской патетикой, чем чисто художественными качествами.

Но при всем том «Думы» сохраняют свою литературную ценность. Не вполне оправдывая себя, как цикл эпических произведений, они характерны и значительны, как личная лирическая исповедь поэта. В пору Рылеева гражданская лирика количественно не была богата; во всяком случае, в творчестве отдельных поэтов она представляла исключение. «Думы» же представляют собой, так сказать, целую систему поэтических высказываний Рылеева на гражданские темы... В этих высказываниях есть свой не общий стиль, свои образные средства и свой поэтический канон. Историческая наивность автора придает «Думам» своеобразный художественный стиль, который способен заинтересовать современного читателя—и как раз потому, что этот читатель, пользующийся другими стилевыми средствами, воспринимает рылеевскую лирику, в частности—лирику «Дум», как словесную археологию хорошего качества. Она помогает нам воскресить дух эпохи и подойти ближе к тем людям, которые ее творили.

Лучшее и наиболее зрелое, что написал Рылеев—его поэма «Войнаровский», повествующая о судьбе племянника Мазепы, сосланного в Сибирь за участие в заговоре своего дяди. Поэма появилась в печати в 1825 году. Отразив на себе влияние Байрона (гл. обр., его «Гяура») в обрисовке характера героя и в ряде ситуаций, а также Пушкина—в стиле и манере письма, поэма эта все же является безотносительно талантливым произведением. В ней на-лицо та же гражданская стихия, которая присуща и «Думам», но тенденция произведения умело затушевана, она не развита непропорционально содержанию вещи и органически с ней слита. Достижения поэта в области техники стиха здесь также значительны. Рылеев вполне овладел четырехстопным ямбом, каким «Войнаровский» написан, и поэма, благодаря этому, читается с тем ощущением легкости, какое испытывается при чтении Пушкина. В общей эволюции байронической поэмы на русской почве «Войнаровскому» принадлежит очень видное место.

Незадолго до смерти Рылеев задумал еще три поэмы все из той же украинской жизни—«Наливайко», «Мазепа», «Богдан Хмельницкий». Но поэт успел написать лишь отрывки, свидетельствующие, впрочем, о том, что они могли вырасти в целое, по своему художественному значению не уступающее «Войнаровскому». Как бы провиденциаль-

ной явилась «Исповедь Наливайки», заканчивающаяся следующими строками, как будто предугадывающими судьбу самого Рылеева:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

Пребывание на свободе Рылеев заключил самым энергичным своим стихотворением: «Гражданин», в котором пафос гражданского чувства сказался еще ярче, чем в предшествовавших его произведениях:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в об'ятьях сладострастья,
В постылой праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века,
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в об'ятьях праздной неги,—
И в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не выйдет ни Брута, ни Риэги.

II.

Фигура А. И. Одоевского (1803—1839)—одна и симпатичнейших фигур нашего поэтического прошлого. Те, кто его знал и с ним общался, любили его и как человека, и как поэта. Декабрист А. П. Беляев считал Одоевского выдающимся поэтом и утверждал, что «если б собраны были и явлены свету его многие тысячи стихов, то литература наша отвела бы ему место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и другими первоклассными поэтами» *). Тут, разумеется, явное преувеличение, но с таким преувеличенным пристрастием относился к Одоевскому не один лишь Беляев. И другие современники

*) «Русская Старина», 1881 г., № 4, стр. 800.

поэта видели в нем восходящую звезду, готовую притти на смену Пушкину.

Сохранившееся литературное наследство Одоевского заставляет нас умерить эти чрезмерные восторги по адресу поэта, однако с оговоркой. Мы знаем далеко не все, что создано было Одоевским. Он, расценивая поэзию слишком высоко, а свой талант слишком скромно, сам заносил на бумагу лишь значительное меньшинство из того, что он творил. Ряд его стихотворений представлял собой устную импровизацию, которая иногда записывалась друзьями и слушателями, иногда, видимо, бесследно пропадала, но и записанное далеко не все дошло до нас; так, например, погибла тетрадь А. З. Муравьева, в которой собраны были многочисленные экспромты поэта *).

Но все же мы обладаем подлинными автографами Одоевского. Некоторые из них, находящиеся в тетради Пушкинского Дома при Академии Наук и в тетради коллекции В. Е. Якушкина из рукописного отделения Академии Наук, недавно опубликованы И. А. Кубасовым **). В обеих тетрадях 23 стихотворения, из которых 8 в печати появляются впервые. Вместе с известными и опубликованными ранее текстами литературное наследство Одоевского составляет, приблизительно, 50 пьес, в том числе большая поэма «Василько» ***).

Большинство стихотворений, написанных Одоевским, относится к тому периоду его жизни, который протек в ссылке. Духовная организация поэта была такова, что она его предрасполагала к мечтательности и философскому и религиозному раздумью. Как многие его сверстники, Одоевский, оторванный судьбою от всех радостей, какие могла дать ему жизнь, находил утешение в том, что углублял и развивал эти природные задатки. Чтобы не пасть окончательно духом, он взбадривал себя верой в конечное торжество правды, если не теперь, здесь, на земле, то в потустороннем мире, в реальность которого он верил. Мечта помогала изгнаннику жить воспоминаниями, которые заслоняли собой неприглядность суровой действительности, и потому он так ею дорожил. Потому-то так дорога ему была и поэзия, в которой мечта находила себе простор. Обращаясь к поэзии, он говорил:

Поэзия! Слети и мне повей
Опять твоим божественным дыханьем!
Мой верный друг! Когда одним страданьем
Я мерил дни, считал часы ночей—

---

*) Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. Собрал А. Е. Розен, Пб. 1883, стр. 209.

**) «Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения», Труды Пушкинского Дома при Рос. Академии Наук, Петербург 1922.

***) Первое «Полное собрание стихотворений» Одоевского, редактированное А. Е. Розеном, вышло в Петербурге в 1883 г. В 1893 г. в изд. журнала «Север» это издание повторено с небольшими изменениями.

Бывало, кто приникнет к изголовью
И шепчет мне, целит меня любовью
И сладостью возвышенных речей?
Слетала ты, мой ангел утешитель!

Поэт-романтик, Одоевский благословлял жизнь во всех ее проявлениях. Его поэзия проникнута любовью к людям и большим к ним благожелательством. Поддерживаемый непрестанной работой духа, он был оптимистом, и оптимизм стал у него итти на убыль лишь к концу жизни, как бы в предчувствии близкого конца. Светлое настроение поддерживалось у поэта его любовью к природе, которую он живо чувствовал и талантливо зачертил в ряде своих стихотворений.

Однако романтическая настроенность и отвлеченный идеализм, во власти которого был Одоевский, не помешали ему быть граждански настроенным и это настроение воплощать в своем творчестве. Более того, он мыслил себя «народным певцом», которому суждено своей песнью потрясать сердца народные:

Таится звук в безмолвной лире,
Как искра в темных облаках,
И песнь, незнаемую в мире,
Я вылью в огненных словах.
В темнице есть певец народный;
Он не поет для суеты:
Скрывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы;
Но похвалой не обольщенный,
Не ищет раннего венца —
Почтите сон его священный,
Как пред борьбою сон борца.

Поэт был настроен патриотически. Ему дорога была слава России и ее могущество. Киевская и новгородская старина, московская и петровская Русь, двенадцатый год,—все это будит в душе Одоевского горячий отзыв. Он, упреждая славянофилов, мечтает о соединении всех славянских народов под главенством России. Но в большинстве таких пьес Одоевский недвусмысленно заявляет свои свободолюбивые симпатии. Вновь опубликованные И. А. Кубасовым его стихотворения—лучшие тому доказательства. В них идет речь о прошлом русской земли, о жестокостях и неправдах, которые на ней творились, о былой вольности Пскова и Новгорода и о гибели свободы.

Уже в поэме «Василько» певец Баян шлет укоризну обидчикам и притеснителям народа:

Видел я мира сильных князей,
Видел царей пированья;
Но на пиру, но в сонме гостей
Братий Христовых не видел.

Слезы убогих искрами бьют
В чашах шипучего меда.
Гости смеются, весело пьют
Слезы родного народа.

Гражданское чувство выявляет Одоевский и в стихотворениях «Дева 1610 г.», «Осада Смоленска», «Кутья», «Неведомая страница», «Зосима», «Новгородская Летопись», «Из Мура». В ст. «Дева 1610 г.» читаем следующие строки:

Моголец пал; но рабские уставы
Народ почел святою стариной.
У ног князей, своей не помня славы,
Забыл он даже образ мой.

Обращаясь далее к русскому народу, Дева-Свобода восклицает:

Что медлишь ты? Из Западного мира,
Где я дышу, где царствую одна,
И где давно кровавая порфира
С богов неправды сорвана,
Где рабства нет, но братья, но граждане
Боготворят божественность мою
И тысячи, как волны в океане,
Слились в единую семью,—
Из стран моих, и вольных, и счастливых,
К тебе, на твой я прилетала зов
Узреть чело тиранов горделивых
И внять стенаниям рабов.

Одоевскому приписывается также известное стихотворение «Струн вещих пламенные звуки», являющееся ответом на послание Пушкина к декабристам «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье». Нет оснований сомневаться в принадлежности этого стихотворения Одоевскому, точно так же, как и в принадлежности ему стихотворения «При известии о польской революции», в котором автор сочувственно откликается на восстание поляков. Нет данных для того, чтобы заподозревать достоверность традиции, усваивающей обе эти пьесы нашему поэту.

Общий смысл творчества Одоевского удачно сформулирован Н. А. Котляревским: «В истории русской лирики двадцатых и тридцатых годов поэзия Одоевского может занять свое место в ряду тех непринужденно-искренних, пережитых и прочувственных, сильных своей простотой и почти совсем неэффектных лирических стихотворений, которые подписывались в те годы Пушкиным и его друзьями. Песня Одоевского той же высокой пробы, что и лирика этой плеяды. В ней поражает та же тщательная отделка стиха, редкое гармоническое сочетание формы с содержанием при отсутствии в этой форме излишне узорного или недосказанного, неяс-

одинаково просто выражать весьма разнообразные настроения и чувства»*).

III.

Редко в истории нашего прошлого встречаются личности с таким напряженно-приподнятым душевным строем, какой был типичен для Кюхельбекера (1797—1846). Романтик-энтузиаст, всегда духовно-наполненный, он в течение всей своей жизни волновался и горел. Тот внутренний пламень, каким он был зажжен в юности, не потухал в нем до самой смерти. Он был весь во власти тех иллюзий и возвышающих обманов, какими наполнял до избытка свою внешне безрадостную и горестную жизнь. Это был подлинный Дон-Кихот русской литературы, во многом доходивший до крайности и создавший поэтому себе репутацию чудака и оригинала, над которым посмеивался всякий, кто хотел. А между тем, у Кюхельбекера были все данные, необходимые для подлинного поэта—прежде всего тот священный огонь, который бывает лишь у призванных и отмеченных. Была и упорная работа мысли, обогащенной солидной начитанностью в философии и в европейских литературах, был и подлинный темперамент. Если бы не крайности, доходившие у него порой до фанатизма, вроде сугубого пристрастия к самобытно-национальной стихии в поэзии, из него выработался бы оригинальный и недюжинный поэт. Во всяком случае, это был человек незаурядный, и это понимали и его современники, умевшие заглядывать дальше чисто внешних несуразностей, которыми изобиловала натура этого эксцентрического поэта и философа. О нем Боратынский в письме к Путяте писал: «Он человек замечательный по многим отношениям и рано или поздно вроде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей, и, порою, та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести в жертву; человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы), и для несчастья» **).

Несчастье, действительно, пришло, вместо же славы на долю поэта в потомстве выпало бесславье. Мы знаем, что в Кюхельбекере было смешного, но не знаем, чем заслужил он право на внимание к нему и на литературную память. А он, несомненно, это право заслужил, как всякий настоящий поэт. Кюхельбекер был настоящим поэтом в том смысле, что он владел богатым хоть и сырым материалом, который ему часто не удавалось оформить как следует. Обилие

---

*) Декабристы, стр. 4.

**) Соч. Е. А. Боратынского, Казань 1884, стр. 519.

поэтических мыслей и эмоций, художественных видений и предчувствий подавляло его, и он не был в состоянии с ними справиться. Если бы он был менее насыщен, он, быть может, был бы удачливее в своей творческой работе.

Сочинения Кюхельбекера не только не собраны сколько-нибудь сносно, но полностью и не приведены в известность *). Литературную деятельность Кюхельбекер начал очень рано, еще в бытность воспитанником Царскосельского лицея. Ранние литературные опыты его довольно многочисленны. Тут и трагедия «Аргивяне», отмеченная свободолюбивыми идеями, тут и поэмы и баллады на сюжеты из древне-русской жизни, затем переводы, критические и даже публицистические статьи. В ссылке он работает также кипуче и плодовито—пишет стихи, поэмы, драматические произведения, ведет дневник.

Стихи Кюхельбекера изобилуют той мистической религиозностью, в которой он нашел для себя поддержку, когда катастрофа разразилась над его жизнью. На-ряду с кое-какими угловатостями, тут находим и яркие образы и своеобразие поэтического стиля. Даже архаизмы (которые, кстати сказать, не так уж многочисленны и неуместны, как об этом принято думать)—даже они не всегда портят впечатление от стиха. Однако лучшими пьесами Кюхельбекера являются те, в которых он лирически повествует или о собственной жизни, или о жизни близких к нему людей. Таковы «Брату», «Моей матери», «В день рождения», «Они моих страданий не поймут», «Аргунь», «К Виктору Гюго», «Лицейские годовщины» 1836 и 1837 г.г. Два последние стихотворения, отделенные один от другого промежутком всего в два года, сильно разнятся по настроению. Первое оканчивается почти бравурно:

О друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело,
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? Обманы наш удел,
Но в эту грудь вонзилось много страха:
Терпел я много, обливался кровью,
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

---

*) Ряд произведений К. появился еще при жизни автора: «Смерть Байрона» (1824), «Шекспировы духи» (1825), «Ижорский» (1835), мелкие стихотворения в различных журналах. Другие напечатаны были после его смерти, гл. образом, в «Русской Старине». Там же напечатаны и дневник К. (за 1875, 83, 84, 91 г.г.), избранные стихотворения—в собр. стихотв. декабристов», Лейпциг, 1880. Мистерия «Ижорский» перепечатана во 2-й книге «Библиотеки декабристов», М. 1908 г. Вышедшее в том же издании и в том же году «Полное собрание стихотворений В. Кюхельбекера»—ниже всякой критики. Наиболее обстоятельное исследование о поэтической деятельности К. принадлежит Н. Котляревскому—«Русское Богатство», 1894 г., №№ 3 и 4. См. также С. С. Розанов, В. К. Кюхельбекер, М. 1912.

Второе стихотворение написано тогда, когда Пушкина, «последнего родимого поэта», уже не было в живых. Эта утрата сильно поразила Кюхельбекера, и он пал духом. Конец этой пьесы прямо противоположен концу первой:

Теперь пора! Не пламень, не Перун
Меня убил; нет! вяну средь болота;
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн!
Мне ангел песней рай в темнице душной
Когда-то созидал из снов златых;
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов столь же хладных и немых?

Гражданские мотивы в стихотворениях Кюхельбекера отсутствуют. Исключение—«Тень Рылеева», написанная в 1827 г. в Шлиссельбургской крепости. Тень казненного поэта говорит поэту-узнику:

Несу товарищу привет
Из той страны, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью...
И ты, я знаю, пламенел
К отчизне чистою любовью.
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь, не жертвовал ты снам:
Надеждам будет исполненье!

В годы ссылки Кюхельбекер написал и два своих излюбленных произведения—мистерию «Ижорский» в 2-х частях, напечатанную в 1835 г., и поэму «Вечный Жид».

«Ижорский», который задуман был поэтом еще в 20-х годах, на свободе, занимал Кюхельбекера и в 40-е годы, но так и не был закончен. Весь смысл мистерии должен был раскрыться именно в 3-й, не увидевшей света, части. То, что написано и напечатано, представляет собой историю грешной, демонической души, над которой до поры до времени властвуют темные силы. Путь Ижорского—путь освобождения от этих сил в процессе постепенного перерождения его порочной, но сильной и страстной натуры. Действие пьесы обставлено мифологическим антуражем, из области русских и иностранных поверий. Несомненно влияние Фауста и Манфреда. Сумбурная в целом эта мистерия имеет немало любопытных частностей и, во всяком случае, далеко не безынтересна в эволюции романтической драмы на русской почве.

Вслед за «Ижорским» Кюхельбекер создает «Вечного Жида», которого он склонен был считать лучшим своим произведением. Это глубоко-пессимистическая поэма. Философская концепция автора далеко не утешительна. Былая вера в прогресс человечества потерпела у него крушение. «Вечный Жид» должен был как бы свидетельствовать о том, что человеческая жизнь—и сплошное страдание, и сплошная нелепость. Подвиг Христа для судеб человечества оказался бесполезным.

Этот глубоко скорбный философский итог—свидетельство того, как подорваны были всей обстановкой жизни кипучие и неуемные силы Кюхельбекера.

IV.

А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837) принадлежал к числу наиболее ярких фигур своего времени. Живой, подвижной, с неиссякаемой энергией и очень жизнеупорный, он в то же время импонировал даровитостью своей натуры. Он был не только беллетристом и поэтом, но и видным литературным критиком. Все же славу Марлинскому принесли лишь его романы, которыми долго зачитывались. В своей славе романиста Марлинский имел соперника разве в лице одного только Пушкина. Его повести, исторические, этнографические и бытовые, написаны в повышенно-романтическом стиле, в манере Виктора Гюго, которого Марлинский очень ценил, частью Вальтер-Скотта. В большинстве эти повести заключают в себе много афектации, бурной динамики. Герои их патетичны и порою чрезмерно страстны. Это касается, главным образом, ранних повестей Марлинского. В позднейших он все более и более становится изобразителем реальной жизни и быта. Среда светская и военная в нем нашла своего чуткого и порой очень проницательного наблюдателя. В эволюции русской прозы роль Марлинского весьма значительна и недостаточно еще выяснена и оценена *). В пору засилья стихотворной поэзии и младенческого прозябания прозы он был тем, кто прозу культивировал и поставил ее на рельсы. Марлинский был новатором, при том талантливым, и его продолжителям труд был значительно облегчен как раз тем, что пути прозы были уже проложены. Была намечена и линия ее развития. Пушкин и Лермонтов в известной мере испытали на себе влияние Марлинского.

Что касается стихотворства, то оно у Марлинского стояло на втором плане и было для него кратковременной прихотью. Так,

*) Марлинскому, как писателю, посвящена указанная работа Н. Котляревского «Декабристы» и одна из глав в книге Замятина «Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20—30-х годов XIX столетия», СПБ. 1907, стр. 162—268. Ценные библиографические замечания о М. см. в брошюре М. П. Алексеева «Поэты-декабристы», Одесса 1921, стр. 34—37. Сочинения М. издавались несколько раз. См. изд. 4-е, 12 частей в 4 т.т., СПБ. 1847.

в Финляндии, в крепости, он написал повесть в стихах «Андрей, князь Переяславский», о которой сам отозвался так: «Лица в моем сочинении были замысловаты не по своему веку, речи пылки не по людям, одним словом,—я обул в русские лапти немецкую философию». Повесть попала в печать благодаря стараниям друзей, на которых поэт был за это очень недоволен. Она отражает свободолюбивые настроения автора. В уста своего героя Марлинский вкладывает такую, напр., речь:

Я не исчез в бездонной мгле,
Но сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея!
И, прокатясь ключом с горы,
Под сенью славы безымянной,
Столь отдаленной и желанной,
Достигну радостной поры,
Когда, познав закон природы,
Заветный плод, во мгле времян
Людьми посеянных семян,
Пожнут счастливые народы!
Когда на землю снидут вновь
Покой и братская любовь,
И свяжет радуга завета
В один народ весь смертный род,
И вера все пределы света
Волной живительной сольет,
Как море благости и света!
В надежде сей, Роман, познай
Мою сладчайшую отраду,
Мою мечту, мою награду,
Мое бессмертие и рай.

В первые годы пребывания в Сибири Марлинский написал еще несколько стихотворений. Некоторые из них внушены сибирской природой и местной легендой («Шебутуй», «Саатырь»), другие представляют собой лирические признанья и раздумья. Есть несколько переводов из Гете и Гафиза. В стихах Марлинского есть та же образная насыщенность, что и в его прозе. Порой в них радует упругость ритма и уменье найти свой стиль.

Ему приписываются еще два стихотворения, которые числились в списке запретных. Это, во-первых, песня: «Что не ветер шумит во сыром бору—Муравьев идет на кровавый пир», описывающая битву под Белой Церковью 2 января 1826 года, в которую под начальством С. И. Муравьева-Апостола вступил восставший батальон Черниговского полка; во-вторых, дума «Прокаженный», где выступает страстотерпец за народное горе. Оба стихотворения, особенно второе, художественно незаурядны. Однако в настоящее время установлено, что первое из них написано не А. А. Бестужевым-

Марлинским, а Мих. Алекс. Бестужевым *). «Прокаженного» же мог написать лишь поэт, хорошо владеющий стихом, и при том из числа декабристов, на что указывает текст. Нет поэтому оснований подвергать сомнению традицию, приписывающую это стихотворение Бестужеву-Марлинскому **).

Сраженный черкесской пулей, Марлинский ушел из жизни в расцвете сил и дарованья, много свершив на своем литературном пути, но все же не успевши до конца обнаружить те богатые возможности, какие заложены были в его поэтической природе. Как и его товарищи по судьбе, о которых шла здесь речь, он—образец душевной крепости той горсти людей, которая, испытав тяжелую катастрофу, не только не была ею сломлена духовно, но в испытаниях и лишениях закалила и приумножила те дары и способности, какими наделила их природа.

Н. Гудзий.

---

*) См. «Былое», 1907 г., № 8.

**) Оба стихотворения напечатаны в «Собрании стихотворений декабристов», М. 1906, т. I, стр. 267—270.

Декабристы в русской художественной литературе.

Еще не названные декабристами, до 14 декабря 1825 г., участники декабрьского движения нашли поэтическое выражение своим стремлениям, получили достойное художественное оформление: Чацкий с его гневным отрицанием рабьей жизни, кипучий, говорливый, с серьезными запросами, с горячей верой в лучшее будущее, чуть подернутой дымкой скептицизма, Чацкий был первым литературным персонажем, в котором ярко были схвачены типичные настроения молодежи 20-х годов, накануне ее гибели в холодный декабрьский день 1825 года.

Это значение Чацкого давно стало признанным: литературный критик Аполлон Григорьев, гениальный публицист А. Герцен в 60-х годах прошлого века печатно высказали эту мысль, поддержанную позже великим романистом и первоклассным историком. Достоевский и Ключевский, каждый по своему, видели в герое «Горя от ума» не кого иного, как декабриста. «Декабрист послужил оригиналом, с которого списан Чацкий»—в этой краткой формуле московского историка лежит об'яснение, почему и до и после декабрьского восстания фигура Чацкого скрывалась в подпольной литературе, не включалась с патетикой всех монологов в цензурные издания пьесы вплоть до 60-х годов минувшего столетия—слишком обжигали они николаевскую челядь жгучей памятью о тех, кто разбросан был по Сибири и Кавказу, кто пытался с оружием в руках перевернуть ненавистные странички истории царистской России.

Социальный эгоизм дворянской массы тотчас после 14 декабря дал несколько откликов на мятежное выступление: еще томились в крепости, еще не был произнесен приговор верховного суда над декабристами,—в журнальных книжках 1826 года раздалось бряцанье верноподданных бардов, радостно приветствовавших «царя-отца»:

Возшел на трон... и в прах мятежны,
И адский умысл открыт—

посылавших проклятья по адресу тех, кто хотел нарушить привычный покой холопов самодержавия:

Тот не Росс, кто аду внемлет:
Мятежным пламенем горит...
Его душевна казнь об'емлет;
Ему громами в слух гремит
Проклятие из рода в роды;
Он—ужас Неба! срам Природы!!
Страшилище Вселенной всей! *).

Среди врагов восстания разнообразная толпа поэтов: тут и Федор Глинка, Федоров Борис **), П. Шаликов; сатирик А. Е. Измайлов, в своих «стихах на священнейшее коронование е. в. государя императора Николая Павловича» воспевший того, кто «невинность спас от притесненья и своевольство обуздал»:

Его избрало провиденье
Спасти от бед полночный край.
Лишь скипетр он принял в десницу,
Геройство, мудрость нам явил:
Он спас от гибели столицу...

В той же группе встречаем слепца-поэта Козлова, в посвящении к переводу «Абидосской невесты» признавшего день кровавой расправы с мятежниками «спасеньем алтарей, России и державы», днем, когда Николай I «с братом доблестным пример величья дал, какого мир земной не зрел и не слыхал»... ***). Титулованное барство в лице графа Ростопчина презрительно-недоуменно встретило известие об офицерском заговоре:

В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует,—понятное дело.
У нас революцию сделала знать.
В сапожники что-ль захотела?

Большинство дворянства скоро вошло в колею обыденных интересов и забыло о кровавом событии: «вообразите, что 14-е уже и не в помине»,—писал Вяземский из Москвы А. Тургеневу 29 сентября 1826 года,—«нет народа легкомысленнее и бесчеловечнее нашего». Кое-кто, подобно Н. Языкову, «неявному либералу», еще в феврале того же года обнаружил это легкомыслие, смотря «на житейскую дорогу гораздо веселей», привыкнув к «заразительной моде присягу рабства исполнять» ****).

Долгие годы нельзя было напомнить об участниках восстания; цензурные очи ревниво оберегали благополучие «мертвых душ» и

*) Новости литературы, изд. А. Воейковым. СПБ. 1826, кн. XVI, февраль, стр. 99—100 (Степан Висковатов).

**) Там же, майская книжка, «Повесть» и «Величание» Ф. Г. (линки), стр. 105—106; стих. Б. Федорова «На смерть гр. М. А. Милорадовича» в «Календаре Муз на 1826 год».

***) Ср. «Архив братьев Тургеневых», 1921, стр. 50.

****) Стих. «Вторая присяга».

искали намеки на 14-е декабря там, где их, быть может, не было по замыслу писателя: так, когда появилось в альманахе «Денница» в 1830 г. стихотворение Серафимы Тепловой к ***:

Слезами горькими, тоскою
Твоя погибель почтена,
О, верь, о, верь, что над тобою
Стон скорби слышала волна!
О, верь, что над тобой почило
Прощенье, мир, а не укор,—
Что не страшна твоя могила,
И не постыден твой позор!..

власти, по доносу Булгарина, заподозрили, что в этой элегии оплакивается один из тех, кто содержался в Петропавловском каземате по делу 14 декабря (именно Рылеев), и посадили на гауптвахту цензора С. Н. Глинку. Лишь рукописные листки разносили память о казненных и ссыльных декабристах среди образованного меньшинства, жадно искавшего литературных применений недавнему событию: в басне Крылова «Конь и всадник», в издании 1825 г., находили отклик на жгучую современность, забыв, что басня появилась еще в 1816 году; 14-м декабря помечали пьесу «Андре Шенье», написанную Пушкиным до декабрьского восстания. С именем Пушкина вообще связываются в 20-х годах самые многочисленные намеки и ясные указания на погибших: ему приписывается эпиграмма на Николая I:

Едва царем он стал,
То разом начудесил:
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь послал,
Да пятерых повесил.

В его стихотворении 1827 г. «Арион» видят отклик на декабрьскую трагедию и взаимоотношения поэта с декабристами. В том же году Пушкин, считавший ужасной «каторгу 120-ти друзей, братьев, товарищей», не раз чертивший роковую виселицу с пятью повешенными, вспомнил в день лицейской годовщины томившихся в «мрачных пропастях земли» («19 октября 1827»), отправил с А. Г. Муравьевой, ехавшей в мужу-декабристу, знаменитое «Послание в Сибирь», увидевшее свет в русской печати только в 1874 г. *). Поэт верил, что «скорбный труд и дум высокое стремленье» его сибирских друзей не пропадет, что «придет желанная пора»—

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

---

*) С той же А. Г. Муравьевой Пушкин переслал стихотворение И. И. Пущину, своему «первому, бесценному другу».

Поэт призывал «во глубине сибирских руд» хранить «гордое терпенье»—и получил известный ответ, приписываемый А. И. Одоевскому:

... будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей,
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей,—
И радостно вздохнут народы *).

Пушкин, живой участник революционных бесед со многими, вписавшими свое имя в историю декабрьского движения, друг и почитатель Рылеева, некогда воспевший Пестеля:

Снесем, иль нет главу свою —
Из полновесного стакана
Твое здоровье, Пестель, пью,
И рвусь и злюся на тирана **).

Пушкин имел намерение развернуть широкую панораму общественной жизни своего времени, включив в роман «Евгений Онегин» декабрьское восстание, сделав героя этого романа членом тайного общества. Отрывки из этой хроники он читал, между прочим, П. Вяземскому, но, напуганный возможными неприятными последствиями, сжег 19 октября 1830 г. десятую главу романа и записал условным шрифтом только несколько отрывков, говорящих об изменении Пушкина к тем, к тому недавно обращался в «каторжные норы» с высокой оценкой их стремлений.

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки.

---

*) Отмечу здесь же известные мне стихотворения, вышедшие из среды самих декабристов и посвященные отдельным участникам движения: 1) Кюхельбекер «Тень Рылеева»; 2) В. Раевский «К друзьям»; 3) М. Бестужев «Что ни ветр шумит во сыром бору» (о С. И. Муравьеве-Апостоле и поднятом им восстании Черниговского полка); 4) Рылеев «Послание к А. А. Бестужеву», «Е. П. Оболенскому» и «Войнаровский» с посвящением А. Бестужеву; 5) А. И. Одоевский «Эпиграмма на декабриста А. З. Муравьева», «Стихи на переход наш из Ч. (иты) в П. (етровский завод)», «Был край, слезам и скорби посвященный», «Экспормт»; 6) А. Бестужев «Тост».

**) Приписывается А. С. Пушкину.

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты *),
У осторожного Ильи **).

Все это были зоговоры
Между лафитом и клико,
Куплеты, дружеские споры
И не (входила) глубоко
В сердца мятежная наука.
(Все это было только) скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин предлагал
Свои решительные меры,
И вдохновенно бормотал,
Читал свои ноэли Пушкин ***).
— — — — — Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев ****) им внимал
И, слово рабский ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.
Так было над Невою льдистой.
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,—
Дела (иные уж) пошли...
Там Пестель доставал кинжал
И рать — набирал
Холоднокровный генерал
И Муравьев, его склоняя,
Исполнен дерзости и сил,
Минуты—торопил...

---

*) Н. Муравьев.
**) И. Долгорукий.
***) Намек на стихотворение 1818 г. «Noël» (сказки), едко бичевавшее Александра I.
****) Николай Иванович.

В рукописной XXXVIII строфе (гл. VI) того же романа Пушкин снова вспомнил про виселицу декабристов, предвидя возможную судьбу Ленского—он мог погибнуть в ссылке, как Наполеон,

Иль быть повешен, как Рылеев *).

«Сибири хладная пустыня» с воспоминаниями о читинской узнице, М. Волконской, стояла перед Пушкиным, когда он писал «Полтаву» (1828); замысел «Медного Всадника» (1832) стоял в связи с декабрьским восстанием; в заключительных словах дополнительного отрывка к XIII главе «Капитанской дочки» вновь слышался отзвук 14 декабря; Пушкин не переставал думать о декабристах незадолго до смерти, включив в программу «Русского Пелама» (1835)—«общество умных (Илья Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc.)».

В один год с пушкинским «Посланием в Сибирь», трепетно встреченным и в «мрачном подземельи», и всей оппозиционно настроенной читающей массой, в Мюнхене откликнулся на день 14 декабря Тютчев стихотворением, полным укоров, неприязни к участникам декабрьского заговора. В глазах философа-поэта декабристы—«жертвы мысли безрассудной»:

Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить **).
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов:
Зима железная дохнула,
И не осталось и следов.

Получив известие, что в декабристов при проезде через Ярославль народ кидал мерзлой грязью, и не зная множества фактов иного отношения к сибирским поселенцам, поэт безоговорочно решил, в полном согласии с официальными сферами, но против подлинных чувств русского общества:

Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена,
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена.

Уже ближайшее поколение,—та молодежь, которая впоследствии будет представительствовать в битвах жизни от имени второго «распятого поколения», резко перечеркнуло неверное пророчество

---

*) Припомним, что в Ленском обрисованы многие черты В. Кюхельбекера.

**) Ср. ответ Тютчеву Э. Германа в стих. «Растопленный полюс» (1919).

Тютчева, признав свою идейную связь с декабристами в желании сбросить оковы самовластья. Вскоре после 14 декабря среди студентов Харьковского университета получило распространение произведение Розалиона-Сошальского «Рылеев в темнице»,—в котором автор, «восчувствовавший высокую красоту намерений Рылеева», приветствовал героя, достойного быть «в жилище вечной свободы» рядом с Брутом, Катоном и Риего, рисовал его на суде «пред врагом общественного блага» гордым и смелым, карающим «нового самодержца России» и верящим, что из его праха «восстанет яростная тень, позовет на суд самовластителей и... затрепещут!».

Но не эти риторические упражнения (у студента Розалиона-Сошальского еще была небольшая пьеса по поводу декабрьского восстания) выражали подлинную думу подрастающего потомства. Поэтом молодой России, воспевшим живых и мертвых декабристов, отдавшим лучшие стихи памяти участников 14 декабря, был Н. П. Огарев—его лирические песнопенья—это голос всех тех, кто, будучи подростком, почувствовал под звон кремлевских колоколов, приветствовавших коронованного убийцу, что «картечь и победы, тюрьмы и цепи» идут из вражеского стана, кто в день казни Пестеля и его товарищей дал клятву бороться с тиранией, кто, вступив в мужающие годы жизни, навсегда сохранил память о кровавом декабре 1825 года. Поколение 30—40-х г.г. в лице Огарева возложило самый душистый поэтический венок на казненных и заточенных, всех, связанных с памятью 14 декабря. Благодарный поэтессе (Е. Ростопчиной), давшей ему в дни юности «тетрадь заветную стихов», где она «слезой почтила жертвы самовластья, их прах казненный, но святой», Огарев признается, что в нем и его сверстниках, когда они еще были детьми, в годы «горячих первых упований, начальной жажды дел и знаний» весть о пяти повешенных произвела глубокую душевную смуту, из которой они вышли, определив свой жизненный путь, зная, с кем и против кого надо бороться:

Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...
Вот пять повешенных людей...
В нас молча сердце содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась —
И путь означен жизни всей *).

То же признание звучит в воспоминании о ранней молодости героя «Исповеди лишнего человека» (1858—59):

И двигала меня еще живая память
О пятерых повешенных.

*) «Памяти Рылеева» (1860).

По их следам слагалась жизнь моя,
Я призван был работать для свободы
И победить иль величаво пасть.

Рисуя в той же поэме автобиографическую сценку свидания в 30-х годах с Герценом и В. Пассеком, Огарев прямо говорит:

... Мы — дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона —
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью.

Для поколения Огарева декабрьское движение было мощным потоком, пригнавшим к другому берегу, оторвавшим от патриархального быта, привычных мнений, близких большинству. Определяя в неизданном «обращении к Герцену» значение главных трех факторов, имевших на его развитие наиболее действенное влияние— Шиллер, Руссо и 14 декабря, Огарев заявляет, что «эти три влияния разом произвели то, что первый шаг наш в области мышления был не исканием абсолютного, а был столкновением с действительностью, обществом и породил жажду анализа и критики». Пристав к тому берегу, где были декабристы, Огарев считал, что мотивы его песен окрашены скорбной памятью

По людям, убиенным за родину,
За любовь к воле человеческой,
По мученикам, по праведным,
Святой вольности угодникам *).

В его стихотворениях нередко встречаются то лирические обращения к отдельным участникам 14 декабря, то картины драматических эпизодов самого восстания. Из всех декабристов Огарев выделяет двух—Рылеева и А. И. Одоевского:

Рылеев был мне первым светом...
Отец, по духу мне родной.
Твое названье в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой.

«Образ смерти благородный», «страдальческая тень», «свободный подвиг» Рылеева, по убеждению поэта, будет.

Святыней в памяти народной
На все грядущие года!

*) «С того берега»,—«Колокол», 1858, 1 мая, лист 14.

Встреча на Кавказе летом 1838 г. с группой декабристов и братское сближение с А. И. Одоевским вызвали в Огареве такое горячее умиление, такую жажду восхищения и преклонения перед героями его юношеских мечтаний, какие остаются в потрясенной душе незабываемыми «до сгорблой старости, венчанной сединою»:

С восторгом юноши я вспомню и тогда
Те дни, где разом все явилось предо мною,
О чем мне грезилось в безмолвии труда...
И лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первенцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.
С благоговением взирали мы на них,
Пришельцев с каторги, несокрушимых духом
Их серую шинель — одежду рядовых...
С благоговением внимали жадным слухом
Рассказам про Сибирь, про узников святых,
И преданность их жен, про светлые мгновенья,
Под скорбный звук цепей под гнетом заточенья...

Из этих «узников святых» с особой симпатией выделяет Огарев поэта-декабриста А. И. Одоевского:

И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок,—
В свои об'ятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье *).

В поэме «Радаев», написанной в 50-х годах, Огарев воспроизводит молодого декабриста из «Южного Общества», отражение декабрьского дела в провинциальных слухах и роковые последствия его в одной семье. Радаев, отдавшись воспоминаниям детских лет, рисует сцену, как однажды он застал свою мать в слезах:

Отец его, веселый малый,
На этот раз, как полинялый,
Стоял с газетою в руках.
Они тревожно разговоры
Вели все шопотом, как воры.
Речь шла — как с месяц уж тому
Горячкой умер царь в Крыму,
А в Петербурге в день присяги
Был бунт, исполненный отваги.
Полк вышел чуть не на заре,
И стал на площади в каре,
Готов на смерть и жаждет воли,

*) «Кавказские воды»,—«Полярная Звезда» на 1861 г., кн. VI.

Не надо больше рабской доли!
Ребята! Стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Царь пушки выдвинул. Солдату
Казалось грех стрелять по брату;
Но дан приказ, свистит картечь,
Телам на снег пришлося лечь.
Сомкнись! Каре, привычный к строю,
Сомкнулся суженной стеною.
Ребята! Стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Залп, залп — и сила одолела,
Шатнулися, погибло дело.
Мать плакала, отец умолк.
Ребенок, сам не понимая,
Шептал: помянет Русь святая!..
Потом — что день, то больше толк
Ходил в народе боязливо;
Жандармов шлют без перерыва;
Тот в крепости, тот ночью взят;
Вот матери любимый брат
Захвачен был в Украйне дальней —
И дома день со дня печальней;
Ребенок ужасом об'ят.
С ума нейдет все этот дядя;
Он к ним недавно приезжал
В мундире, с саблей; тихо гладя
По голове, его ласкал:
«Будь, милый мальчик, друг народа,
А там уж что ни суждено —
Погибнешь, нет ли — все равно;
Благослови тебя свобода!»
А при гостях он так кричал,
Так как-то резко выражался,
Старик с звездой его боялся
И, втайне злясь, при нем молчал.
Потом прошло еще с полгода,
Увяла зеленая природа,
И было лето, и дитя
В саду резвилося шутя;
Вдруг весть достигла дальним слухом:
Окончен суд — и пятерых
Повесили, всех сильных духом,
Повесили тихонько их,
Так, знаете, чуть рассветало,
Чтоб говора не возбуждало.
Других в цепях в Сибирь везут,
И дядя с ними тоже тут.
Ребенка обдал тайный трепет,
Кругом он слышал робкий лепет:
Повесили... Сибирь... в цепях...
Везут... и дядя в рудниках.
А сердце женское изныло;
И мать не вынесла беду,
Она слегла, звала в бреду,
Свое дитя и говорила:

«Мой сын, мой сын, храни, храни,
Храни завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных,
Сыны отечества они...
Дитя мое, храни, храни»...
Смолк голос, сила упадала,
В десятый день ее не стало...

Для Радаева «святая связь» с декабристами порваться не может; как бы жизнь ни трепала и ни била по заветным далям, как бы ни одолевали «сон и гнет», завет «страдальцев чистых» неизменно был «живым, чистым преданьем».

Огарев, подобно своему литературному герою, всегда чувствовал эту кровную связь с «праотцами»-декабристами; незадолго до смерти, слушая «торжественные звуки» героической симфонии Бетховена, вспоминал «людей доблестных, погибших среди муки за дело вольное народа и страны», посвятив стихотворение А. И. Одоевскому:

Я вспомнил петлей пять голов казненных
И их спокойное, умершее чело,
И их друзей, на каторге сраженных,
Умерших твердо и светло *)...

и обращаясь «К декабристам» вообще, пророчески восклицал:

... Вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет,
Чего желали вы так страстно,
Все, все исполнится, придет.
Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род,
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.
В победный день, в день славной тризны
Свершится роковая месть...
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко ваша честь.

Почти все стихотворные отклики Огарева, посвященные декабристам, появились в зарубежных изданиях и были известны или в рукописных списках, или читались в том ограниченном кругу, куда долетали издания лондонского и лейпцигского печатных станков. Образы декабристов не попадали на страницы, разрешенные николаевской цензурой, и только однажды, в 1839 г., появилось стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского», в котором читатель мог узнать о человеке, познавшем «тоску изгнания», «погиб-

---

*) Эти четыре стиха отсутствуют в издании стихотворений Огарева под ред. М. О. Гершензона (т. I, стр. 354) и приводятся здесь по автографу.

шем далеко от друзей». Лермонтов, близко сошедшийся с Одоевским на Кавказе, оставил, по признанию Огарева, верный портрет поэта-декабриста:

В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурный глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную —

но в то же время, подобно Огареву, подчеркнувшему в Одоевском начало «кроткое», «христоподобное», т.-е. те настроения, которыми насыщен был по преимуществу сам автор «Христианина» в 1838—39 г., Лермонтов, выдвигая в друге-декабристе «таинственную думу на челе», отторженность от света и людей, где «тернии пустых клевет», приписал ему собственные переживания, вложив в элегию 1839 г. многие строки из стихотворных произведений 1832 и 1836 г. г. (ср. «Он был рожден для счастья» и «Сашка»).

Не появляясь в цензурованных страницах, декабристы продолжали громко говорить молодой России; воспоминания о их судьбе разжигали ненависть к Зимнему дворцу. В перечне зол и бедствий, причиненных стране петербургским деспотом, день казни пятерых стоял, как призывный клич к разрушению «преступного града, где оковы, кровь и смрад». В 1833 году молодой ученый В. С. Печерин в поэме «Торжество смерти» нарисовал символический образ «пяти померкших звезд»—пяти казненных декабристов. Среди хаоса наводнения, в котором должен погибнуть Петербург, *хор звезд* восклицал:

Чистой доблести светила,
Мы взошли на небеса,
И с надеждой обратило
К нам отечество глаза...
Но кровавою рекою
Залил неба свод тиран,
И с померкшею главою
Пали звезды южных стран.
О, святая Немезида!
Да отмстится нам обида!

Декабрьское восстание вспомнил Лермонтов, когда представлял себе последний час русской монархии—в стихотворении «И день настал, и истощилось долготерпение судьбы».

В середине 30-х годов по рукам читателей ходила об'емистая рукопись—роман В. С. Миклашевич «Село Михайловское или помещик XVIII века», полностью напечатанный в 1865 г. *). Здесь автор, знакомый со многими декабристами, пытался изобразить Рылеева и А И. Одоевского. По словам А. А. Жандра, друга Грибоедова, Рылеева, Одоевского, три центральных персонажа романа Ильменев,

*) С изменениями переиздан в 1908 г.

Заринский (декабристы) и молодой Рузин (Грибоедов), особенно два последних, совершенно сходны с оригиналами в описании характера, речи, даже наружности. Если б не это литературное предание, мы с трудом распознали бы в Ильменеве Рылеева, в Заринском А. Одоевского. В романе с чрезвычайно запутанной интригой, с характерными «радклифовскими» деталями, вплоть до воскрешения из гроба одной из героинь, среди множества эпизодических лиц разного пола и возраста, класса и темперамента, в обстановке барства екатерининской эпохи, проходят оба героя-масоны, переживающие сложные любовные истории, попадающие в самые невероятные положения (см., напр., сцену спасения Ильменевым княжны Эмировой), но всегда благородны, друзья народа, закрепощенной массы, борющиеся с властьимущими.

Так как В. С. Миклашевич хорошо знала А. И. Одоевского, можно думать, что описание наружности молодого декабриста фотографически точно: «молодой человек (Заринский) был самого большого роста и необыкновенно приятной наружности. Бел, нежен, выступающий на щеках его румянец, обнаруживая сильные чувства, часто, нескромностью своею, изменял его тайнам. Нос у него был довольно правильный; брови и ресницы почти черные; большие синие глаза, всегда несколько прищуренные *), что придавало им очаровательную прелесть; улыбка на розовых устах, открывая прекрасные белые зубы, выражала презрение ко всему низкому». По словам его завзятого врага, помещика-крепостника Пенина, Заринский «опасный человек—спит с книгой, Вольтера знает наизусть... всех презирает и разными занимается сочинениями». Герой романа любит рассуждать о «пользе общей» («О, с какой радостью я пожертвовал бы собою для этой святой пользы... Больше родной земли моей я ничего любить не обязан; она одна не отречется от меня; я по себе это чувствую... у меня есть отечество, для которого я готов на всякое самоотвержение; сердце мое бьется для него одного, без всякого исключения!»—восклицает он в лесу на охоте), едва сдерживает «крупные слезы», увидев «неиз'яснимое убожество и угнетение крестьянской жизни, говорит старику, хозяину «холодного хлева», что он приехал в деревню, чтоб «облегчить, сколько может, участь (крепостных), хотя бы это стоило ему жизни». Те же черты проступают в его приятеле, Ильменеве: этот литературный снимок с Рылеева «считает себе наградой, если успеет облегчить участь нескольких страждущих»; помогает спасти из тюрьмы дворового, содержавшегося там за побег от помещика, для чего участвует вместе с Рузиным в поджоге тюрьмы. Автор подчеркивает «благородное лицо» своего героя, его «бледный румянец», необычайную впечатлительность, способность доходить до

---

*) В другом месте автор указывает на близорукость Заринского, носившего лорнет.

самозабвения и, между прочим, отмечает страстную любовь Ильменева к птицам (соловей, канарейки, снигири и проч. наполняли его комнату). В романе нет ни одного точного биографического факта: Рылеев и А. Одоевский густо завуалированы беллетристическим вымыслом и, ярко раскрашенные, вскрывают типичное отношение к себе людей 20—30-х годов. Это поколение в условиях полицейского режима, задыхавшееся под прессом европейского жандарма, благоговейно лелеяло предание о бунтарях-декабристах, сливало их в единый целостный облик борцов за свободу, пожертвовавших жизнью за идею народного блага. Романтическая идеализация скрепляет все отмеченные выше отклики на 14 декабря, все поэтические изображения декабрьского восстания (за вычетом Тютчева и некоторых др.). Тот же культ перед декабристами сохранялся в радикальной интеллигенции 50—60-х годов, несмотря на иную социологическую формацию деятелей, близких к «Современнику» и «Русскому Слову», сравнительно с дворянской оппозицией «отцов». Подвиг декабристов рассматривается ею, как пример, достойный подражания, как путь, на который должна стать революционная молодежь, идущая «в народ» для возбуждения ненависти и мести к поработителям. Среди радикальной демократии 60—70-х годов было в большом ходу стихотворение В. Курочкина «Долго нас помещики душили» *), кончавшееся призывом повторить 14-е декабря:

Кто слыхал о 25 годе
В крещеном народе?
Когда б мы тогда не глупы были,
Давно б не тужили.
Поднялись в то время на злодеев
Кондратий Рылеев
Да полковник Пестель, да иные
Вовсе честные.
Не сумели в те поры мы смело
Отстоять их дело
И сложили голову за братий
Пестель да Кондратий.
Не найдется что ль у нас инова
Друга Пугачева,
Чтоб крепкой грудью встал он смело
За святое дело! **).

В день юбилея 23 декабря 1856 года Я. Ростовцеву, когда-то участвовавшему в тайных собраниях у Рылеева и незадолго до 14 де-

*) В сборнике «Лютня» (7 изд., Лейпциг, стр. 94—95) приписано П. Холодковскому-Цыбульскому. По другим указаниям оно написано в 1864 г. студентом Казанского унив. Умновым.

**) Ср. вариант:

Или нет другого
Антона Петрова,
Чтобы встал он смело
За святое дело?!

кабря предавшему своих друзей, от неизвестного было прислано стихотворение, где вспоминались вольнолюбивые стихи Рылеева:

Когда деспот от власти отрекался,
Желая Русь, как жертву, усыпить,
Чтобы потом верней ее сгубить —
Свободы голос вдруг раздался
И Русь на громкий, братский зов
Могла б воспрянуть из оков...—

вспоминался сам поэт, готовый все грехи и преступления на душу принять—

Лишь только б русскому народу
Вновь возвратить его свободу —

и рисовались картины дружбы и предательства, как Ростовцев «позорно бежал от друга, от поэта» и «деспоту скрепил шатавшийся венец».

Ты указал ему на друга,
По пальцам жертвы сосчитал;
Деспот их всех арестовал
И пала русская свобода,
И друг твой, честь, краса народа,
Повис на петле роковой...
Скажи, ужель...
Ни разу ты не вспоминал,
Как друг твой в воздухе качался,
Как он весь корчился, дрожал,
И как мучительно скончался?..
Печальных две картины знаю я:

В одной ты сам, рука твоя
Рылееву сжимает руку.
В другой — Иуда, во уста
Лобзающий Христа.

И друг и ученик равно ведут на муку!..

Но нет! С Иудой не сравню
Я душу черствую твою.
В раскаяньи Иуда удавился,
А ты всегда своим предательством гордился.
И возвышал тебя деспот,
Как самовластия и подлости оплот.

Известно, как под влиянием обострявшихся социальных противоречий в годы ликвидации крепостных отношений усиливалось революционное настроение разночинной интеллигенции, как быстро стали возникать тайные кружки в столицах и провинции, бросавшие в общество резкие лозунги и прокламации вроде «Молодая Россия», «К рускому народу». Среди молодежи, близкой к П. Г. Зайчневскому,

ходило много революционных стихотворений; одно из них называлось «Декабристы»:

Каховский, Пестель, Муравьев,
Бестужев-Рюмин и Рылеев,
Вы рабства не снесли оков,
Вы смертью умерли злодеев;
Но вас потомство вознесет,
История на вас укажет,
. . . .
А вам во славе не откажет *).

При обыске у одного из участников студенческого кружка, будущего крупного деятеля революционной эмиграции, П. Н. Ткачева, была отобрана тетрадка со стихотворениями, его рукой написанными, с отметкой: «1862. Январь. Петра Ткачева». Среди ряда стихотворений обращает внимание довольно большое под заглавием «Дорожные грезы», помеченное 18 ноября 1862 г. В нем автор рисует различные картины, возникающие в его мозгу зимней ночью в кибитке, летящей «родными, снежными полями»:

То вижу площадь — тьма народу,
Родные слышатся слова:
«Умрем, умрем мы за свободу!
Долой тирана, прочь царя!»
И вся в смятении столица,
И все бурливее толпа,
И все грозней, суровей лица,
Все громче, громче голоса...
. . . .

Отвсюду, изо всех сторон,
За ратью рати появились,
Как будто вышли из земли,
Бьет барабан, гудит труба,
Отвсюду светятся штыки...
Затихла, замерла толпа...
Но это был один лишь миг.
— В штыки! Жандармы, разгоняй!
И вдруг раздался чей-то крик:
— Орудия вперед — стреляй!
И дымом все заволокло.
На братьев бросилися братья
С тупым усердием рабов.
Раздались стоны и проклятья;
Смятенье, шум, и кровь, и кровь...

Эта картина сменилась другой: зима... снежная равнина... кругом ни сел, ни деревень... вдруг шум оков... в санях, окруженных солдатами, узники:

Как бледны, как худы их лица.
В их потухающих глазах
Как много скорби и страданья!..

---

*) Эпиграфом прокламации «К молодому поколению» Шелгунов и М. Михайлов взяли стих. Рылеева «Гражданин».

— А ведь знакомы мне они,
Я помню их в главе восстанья,
Неустрашимые борцы,
Бойцы за русскую свободу,
За угнетенного раба,
Со словом пламенным к народу
Вы обращалися тогда;
Волшебно было это слово
И вы почти уж победили...
А вдруг теперь... оковы снова
На вас тираны наложили!
Опять в когтях! Опять в неволе!
Потух, померк ваш яркий взор...
И страшно мне за вашу долю...
Что ждет вас там?.. руды, позор,
Подчас тяжелые проклятья!
И ваши скорби, ваши слезы
Ни в ком не встретят там участья!..

Пред автором, в «больном воображеньи», реют виденья, одно другого безотрадней: «то вижу тюрьмы, то руды», где «вечные сыны несчастья, следы общественной тираньи», трудятся бесполезным трудом, побежденные «тупоумным, диким, злым мучителем»:

Все тихо, мрачно все в тюрьме,
Едва-едва огонь мерцает
В большом висячем фонаре
И лишь порою прерывает
Всеобщий, беспокойный сон,
Однообразный шум цепей,
Да чей-нибудь протяжный стон.
Стоят солдаты у дверей,
Висят тяжелые засовы,
Нависли низко, низко своды,
И я под ними вижу снова
Все вас, все вас, бойцы свободы.
На бледных лицах истощенье,
Опухли руки от работ...
Но вдруг сменилось сновиденье,
Опять я слышу шум, народ,
Все та же площадь пред дворцом,
Толпа... да это старый сон!
Не знаю, с прежним ли концом,
Не веселее ль будет он? *).

В разгоревшейся схватке между общественными группами в годы ломки крепостных отношений память о декабристах продолжала вызывать страх и злобу. В анекдоте Лескова, относящемся к этой поре («Смех и горе» 1870), повествующем, как студента исключили из университета за обладание книжкой стихов Рылеева и вторично нака-

*) Указанием на это стихотворение и разрешением воспользоваться им печатно я обязан Б. П. Козьмину, которому приношу глубокую признательность.

зали отдачей на военную службу за то, что его друзья называли его Филимоном, что в глазах жандармерии служило явным указанием на преступный образ мыслей молодого человека, которому придали это имя (его собственное имя было Орест) потому, что оно стояло в святцах под *14 декабря,*—в анекдотическом эпизоде метко было схвачено чувство страха правящей бюрократии накануне осуществления одного из принципов общественной идеологии декабристов. А когда один из декабристов, А. Н. Муравьев, будучи нижегородским губернатором, стал энергично отстаивать крестьянские интересы, крепостническая ненависть разразилась в массе памфлетов, сатирических выпадов против губернатора-декабриста, в котором «не выдохся и в старости якобинский дух». Дворяне-пииты считали, что Муравьев был «ядром, сердцевиною всех заговоров», что он «тайным у нас обществам начало положил», что

Врагом своей он нации
В пятнадцатом году
На родину из Франции
Вернулся на беду.
Уставы либеральные
Стал первый сочинять,
Чтоб в цепи социальные
Россию заковать...
Кто, что ни говори,
Тогда махнули б многие
Из мичманов в цари.

Ненависть к Муравьеву об'ясняется тем, что он «вопрос крестьянский в ход пустил»,

Всем мужикам потачку дал
Не работать и не платить,
Но все, что вздумают, творить.

Дворянская сатира, выпукло рисуя старого декабриста, мечтавшего о «кровавом бунте»:

Тайным действуя путем,
С молотком масона,
Ты хотел быть палачом
И дворян и трона.
Ты—хитрейший санкюлот,
Хуже всех французских,
Девяносто третий год
Готовил для русских.

выражает радость, что, с от'ездом из Нижнего вследствие назначения в сенат, Муравьев не в силах будет развивать там «якобинские мечты, социализм и коммунизм», но с грустью должна констатировать, что за тридцать лет с тех пор, как «наш Родэн» был ославлен изменником

С тех пор все изменилося:
За что он погибал,

За то теперь возвысился
В чести и в силе стал!!...

Живое предание донесло до В. Г. Короленко, когда он жил в Нижнем-Новгороде, образ декабриста-губернатора—Короленко нарисовал его колоритную фигуру в этюде «Легенда о царе и декабристе» (1911).

Возвращение декабристов в 1856 г. из сибирской ссылки вызвало к жизни новые темы, оживило и расширило интерес к пострадавшим тем более, что за границей и в русской печати с середины 50-х годов стала появляться обильная мемуарная литература о 14 декабря. В 1860 году незадолго перед тем вернувшийся из ссылки петрашевец Плещеев, в стих. «Старик» набросал портрет декабриста, «седого старика», в беседе с молодежью дающего отзыв на все, что так волнует, увлекает ее, всегда тревожную:

Хоть на челе его угрюмом
Лежит страданий долгий след,
Но взор его еще согрет
Живой, не старческою думой.
К ученью правды и добра
Не знает он вражды суровой!
Он знает сам, что жизни новой
Придет желанная пора.
Поражены его речами,
Любуясь старца сединой,
Твердили юноши: «Летами
Он только стар, но не душой!» **).

В 1867 г. Я. П. Полонский в «Признаниях Сергея Чалыгина» сделал попытку обрисовать день восстания в преломлении случайно попавшего на Сенатскую площадь мальчика, сквозь призму слухов, настроений толпы, «фризовых шинелей» и лиц, близких к участникам движения. Тут и лодочник Митрофан, кричавший «Констанция», и простой люд, бросавший в солдат поленьями, какой-то сумасшедший, восклицавший «Vive la charte», кто-то «в партикулярном платье, но в военной шинели», сунувший заряженный пистолет мальчику, пробормотавшему, что он стоит за Константина; тут и политические споры среди простонародья, ночь после ликвидации восстания с бивуаками солдат на улицах, с мрачной и тревожной тишиной, перепугом обывателей, беседа матери мальчика с Кремневым, когда-то связанным идейно узами с декабризмом, на другой день после 14 декабря выражающим довольство, что он, «так сказать, официально не был внесен ни в один список из тайного общества и что последнее время не был приглашен ими ни на одно из совещаний». Но хотя этот персонаж повести Полонского и скептически смотрит на возможность переворота, удивляясь, «на что они надеялись»,—тем не менее и он заражен идеями погибших, верит,

**) См. «Русская Мысль», 1913, январь, стр. 137.

что доживет «до многорадостного и утешительного—и до освобождения крестьян, и до иного устройства наших судов, и до большей свободы печати». В беседах с Кремневым о рабстве крестьян Сергей Чалыгин впервые почувствовал «всю силу и безнравственность будущих прав своих над людьми» *). Так, в беллетристическом памятнике 60-х годов вновь протянулась нить от декабризма к живой современности, дворянскому либерализму.

Если молодое поколение шестидесятников, типа Ткачева, извлекало из декабрьского дела действенный лозунг революционной борьбы, демократически настроенные «отцы» продолжали благоговеть перед участниками 14 декабря, питали тот же культ, каким полны были их предшественники. Некрасову пришлось стать певцом декабризма в 60-х годах; он нашел самые сильные, наиболее лиричные слова памяти декабристов, воспел вернувшихся, раскрыл красоту подвига их жен, бросивших богатство, семьи, чтоб разделить удел томившихся в Сибири. К 1869—70 г.г. относится его «Дедушка», к 1871—72 г.г.—«Русские Женщины» (I. Княгиня Трубецкая. II. Княгиня Волконская). В первой поэме—все тот же ярко идеализованный образ декабриста, пред которым склоняются ниц близкие и чужие, который живет лишь «общим», простив всем за все, что вытерпел в жизни. Самая наружность его обрисована каким-то не от мира сего почерком—«как-то апостольски-просто, ровно всегда говорит» этот «древний годами», но еще бодрый и красивый старик. Живет он в «келье»; если ж начинает петь, то оглашает свою комнату «тоской вавилонской», а когда улыбнется—

Радость его разделяя,
Прыгало сердце у всех.
То-то улыбка святая!
То-то пленительный смех!

Он любит толковать с крестьянами, говоря, что «скоро вам будет нетрудно, будете вольный народ»; скорбит, видя «вечного труженика» голодным; ожидает времени, когда в песне мужицкой «вместо уныния и мук» будет звучать радость; сменяет за плугом уставшего пахаря; резко бичует старину с ужасами барщины, солдатчины; всегда в работе иль с песней о «свободном народе и о народе-рабе», о Сибири, о Трубецкой и Волконской. Эти жены декабристов в поэме Некрасова стоят возвеличенными, героическими, в пламенном горении, в жажде подвига, и бросают лучистый свет на головы мужей своих, в исторической действительности не всегда бывших на высоте положения (особенно Трубецкой). В первой части поэмы есть изображение самого восстания, свиданья Трубецкой с мужем в каземате; там, где поэт пользовался записками М. Н. Волконской

*) Впрочем, и этот скептик, подобно другому персонажу повести Равинину, был арестован.

и другими источниками, он рассыпал много биографических подробностей из жизни Сергея Волконского, сообщающих поэме почти документальную точность. Известно, что̀ чувствовал Некрасов, как был он потрясен, слушая из уст сына Волконской ее записки, как он точно следовал мемуарному тексту, повторяя иногда его ошибки, как сдерживал поэтическую фантазию, редко допуская отклонения от действительных фактов *). Сцена свидания с Волконским в крепости, рассказ о спуске в рудники—наиболее значительные отрывки, рисующие декабристов—все это лишь художественная оправа подлинно бывшего со всеми мелкими деталями, поэтическая патетика, соответствовавшая романтическому пафосу современников Некрасова в их отношении к замученным той властью, чью плеть они сами все еще продолжали чувствовать. «Святое чувство», владевшее Волконской, когда она увидела оковы на своем муже, и заставившее ее «прежде, чем мужа обнять, оковы к губам приложить», разделялось и поэтом,—он горел созвучным настроением, когда воссоздавал эту картину:

И тихого ангела бог ниспослал
В подземные копи, — в мгновенье
И говор, и грохот работ замолчал,
И замерло словно движенье.
Чужие, свои — со слезами в глазах,
Взволнованы, бледны, суровы,
Стояли кругом. На недвижных ногах,
Не издали звука оковы,
И в воздухе поднятый молот застыл...
Все тихо — ни песни, ни речи...
Казалось, что каждый здесь с нами делил
И горечь, и счастие встречи!
Святая, святая была тишина!
Какой-то высокой печали,
Какой-то торжественной думы полна...

Некрасов завершает лирико-романтический период в литературной истории декабризма; он развернул новые трогательные эпизоды, но в тех же стилистических приемах, какими орудовали Огарев и другие поэты 14 декабря **). Один и тот же эпитет украшает их фразеологию—«святой», неизменно всплывая при изображении крупных и менее видных вождей и рядовых-декабристов. Этот, несколько иконописный лик, дорогой и либеральному обществу, и более ради-

---

*) А. Горнфельд. О русских писателях, т. I, глава «Русские женщины» Некрасова в новом освещении.—См. также «Некрасовский сборник», Ярославль 1922 г. (Чешихин-Ветринский. К изучению «Княгини Волконской» Н. А. Некрасова); «Книга и революция» 1921, № 2 (Новонайденные страницы Некрасова).

**) Ср., однако, в «Медвежьей охоте» (1867):

... глуп, речист
И стар, как возвращенный декабрист.

кально настроенным группам, уже в 60-х годах стал, было, заменяться иными чертами, но попытка спустить с романтических котурн на земную почву, представить декабристов в тонах житейской обыденности затормозилась, сорвалась, и лишь несколько глав подобного замысла появилось в 1884 г., когда тема о декабристах перестала быть лирической у ряда беллетристов, заменившись более спокойным, историческим созерцанием давно минувшего события. Я имею в виду роман Л. Н. Толстого «Декабристы», над которым автор трудился с 1863 г. и от которого остались небольшие отрывки. Толстой взял тот же образ, что и Некрасов—вернувшегося из ссылки в 1856 г. декабриста. Но какая же разница в манере письма, в чувственном подходе к некогда пострадавшему человеку! Ничего героического, никакой «святости». Перед читателем любящий поболтать, выпить рому старичок, суетливо мешающий всем в повседневной работе, не умеющий взяться за мелочное дело, вызывающий заслуженное неодобрение со стороны своего сына, дающий повод дочери подмечать «смешные стороны». Автор обнажает свои натуралистические приемы, останавливаясь на блестящей лысине «старца», подчеркивая, как жена Лабазова, когда он наливал вино, отвернулась нечаянно от стакана, а сын посмотрел особенно на руки отца; с явной иронией называет его «главой семейства», рисует его в комическом свете при разговоре с владельцем гостиницы, г-м Chevalier и московским гостем Пахтиным, признается в неизбежности «ради истины» отмечать «слабости» своего героя—«как бы мне ни хотелось представить читателям декабрьского героя выше всех слабостей». Автор не забывает указать на «барские приемы» старика Лабазова, на его «добрый и гордый взгляд, энергичные движения», уменье держать себя «величаво», но рядом фактов убивает это представление о старичке с «плешивой головой», которого сестра называет дураком, который лепечет «более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов» вроде следующей тирады: «сила России не в нас, а в народе», отстав от жизни, по словам автора, «как бы протверживая старые фразы». Толстой, всегда боровшийся с романтическими канонами, снизил образ декабриста, оземнил его и все-таки бросил свой замысел, не доведя его до конца, и позже, в 1878 г., увидев, что, не прощупав корня, не угадаешь рисунка жизни *). Он сел за «Войну и Мир», отложив «Декабристов» и при открыв на последних страницах хроники свое понимание причин, породивших декабризм и отдельных деятелей декабрьского движения. В эпилоге «Войны и Мира» мы встречаем Пьера Безухова, с жаром нападающего на аракчеевщину: «Все гибнет. В судах воровство,

---

*) См. варианты к роману «Декабристы», относящиеся к 1879 году, в «Новом Мире» 1925, № 8. Значительно позже, в 1907 году, Толстой вспомнил С. И. Муравьва, «одного из лучших людей своего времени, да и всякого времени» («Стыдно»).

в армии одна палка: шагистика, поселения,—мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно—губят! Все видят, что это не может так итти. Все слишком натянуто и непременно лопнет»; узнаем, что Пьер член тайного общества, но идеи его, хотя и насыщены деятельным содержанием, мирны, лойяльны по адресу правительства; он мечтает о «союзе добродетели», обществе «настоящих консерваторов», «джентльменов в полном значении этого слова», сорганизовавшихся «только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать детей (их) и чтобы Аракчеев не послал (их) в военное поселение». Толстой избрал раннюю пору декабризма, не довел его до раскаленной атмосферы кануна 14 декабря, и лишь восторженно слушающим речи Пьера Николенькой Болконским вскрыл возможность появления энтузиастов заговора. Рядом с Л. Толстым, отошедшим от романтической традиции изображения декабристов, стоит Достоевский, припомнивший в романе «Бесы» М. С. Лунина для сравнения его с характером Ставрогина. В глазах Достоевского декабристы—«господа, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания»; приводя кое-какие эпизоды из жизни Лунина, рисующие его искателем опасностей, вечно беспокойным, упивающимся наслаждением ощущения опасности, романист допускает возможность, что его герой, Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л. свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком,—правда, не стал бы высказываться вслух». Лично знавший многих декабристов, переписывавшийся в Сибири с некоторыми из них (напр., Якушкиным), тепло отозвавшийся в «Записках из Мертвого дома» о женах декабристов, Достоевский 70-х годов видел в участниках декабрьского движения только «господ доброго старого времени», что в его глазах означало отрыв от народного ствола, измену европеизированного дворянства национальным интересам страны.

Слишком бурно протекали годы «активного народничества», в общественной жизни этой поры и без того пахло порохом, выдвигались острые темы живой действительности—не было желания погружаться в исторические воспоминания, когда подымалась «новь», по-своему решавшая борьбу с царизмом и социальными недугами: за все 70-е годы мы не находим литературных откликов на 14 декабря *). И только после 1 марта 1881 г. вновь почувствовалась потребность оглянуться на историческую дорогу революционной общественности; в связи с накопившимся архивным материалом об участниках движения участились попытки изображения декабрьского восстания, судьбы восставших, их гибели, жизни. Но и литературная среда стала сложней, и самое событие уже не казалось столь действенным, как людям 30—40-х годов,—эти попытки, вскры-

*) К 1870 году относится оставшееся в рукописи стих. «К декабристам» Мартынова, убийцы Лермонтова.

вая различные идеологии беллетристов, бравшихся за тему о декабрьских днях, лишены напряженности, суб'ективной заинтересованности, не имеют прежней взволнованности. Исторический роман повествует, не щадя и не кляня, лишь подбором красок вскрывая прогрессивные иль реакционные воззрения автора. Таково впечатление от «1825 года»—трех значительных отрывков из романа Данилевского: 1) Каменка, 2) Шервуд у Аракчеева, 3) В Зимнем дворце, напечатанных в 1881—1883 годах; от двух романов Всеволода Соловьева «Старый Дом», «Изгнанник» (1884—1885); от романа П. Каратыгина «Дела давно минувших дней» (1888); от большой главы, посвященной декабристу, в романе Боборыкина «На ущербе» (1890) и неоконченной повести В. К. Романова «Сестра декабриста» (1893). К этому же типу исторических этюдов можно отнести «Кадетский монастырь» Лескова (1885), где передается жившее в конце 20-х годов в первом кадетском корпусе предание о Рылееве, которому будто бы корпусный эконом Бобров, сатирически изображенный кадетом Рылеевым в поэме «Кулакиада», предсказал трагическую кончину. Особняком стоит автор «Песен о Сибири» (1884) В. Михеев, передавший в трех стихотворениях местные анекдоты о декабристах, найденные им в книге С. В. Максимова «Сибирь и каторга», но и они в общем ткут историческую пряжу, только питаемую не книжным фактом, а преданием, допускающим фантастическое, нереальное. В первом стихотворении «Ряженые» рассказывается, как во время святочного маскарада «в купеческом доме далекой Сибири» появились два человека—один мещанин по кафтану, по манерам «военная жилка»: «не меньше, быть надо, как штабс-капитану—притом—ад'ютанту ему»—

А взор из-под маски угрюмо темнеет,
Рука и тонка, и бледна...

Хозяйская дочь, танцуя с ловким кавалером, обращает внимание, что другой пришедший как-будто следит за ним, стоя у окна, «не сводит мрачно-насупленных глаз». На ее вопрос, не из столицы ли он, таинственный танцор отвечает:

Оставьте столицу: я был там недавно:
И в свете и в обществе был,
И все там на месте, и все там исправно,
И я там не все позабыл...
О, дайте мне вспомнить, как там я кружился,
Жал руки и верил в сердца:
Я с теми руками на-веки простился,
Чтоб верить в сердца до конца...
Чтоб в вашей стране, и глухой, и далекой,
Такие ж сердца находить
И, помня о них, — все, что слепо-жестоко
В стране той — от сердца простить...

Девушка удивляется, почему он так печально говорит, спрашивает, не злодей ли ему тот, кто упорно и зорко наблюдает за ними.

— О нет, он мой друг! Но довольно, простите...
Как он, вы жалейте людей,
Как он, потакайте капризу пустому,
Коль жизнь их была не каприз
И горе настигло... А впрочем, до дому:
Пора нам — небось заждались.
И сжал он ей руку, и с маской угрюмой,
За ним наблюдавшей, ушел.
А барышня долго, об'ятая думой,
Смотрела растерянно в пол:
Беседы той долгой она не забудет
И глаз этих, полных тоски,
И долго пожатье ей чудиться будет
Изящной и бледной руки...
А там, на дороге, у дальней заставы,
Где лишний не видит их взор,
Садился в кибитку, с солдатом направо,
В тулупе искусный танцор...
А тот, что злодеем казался хозяйке,
В кибитку переднюю сел,
Сердито прибегнул к казачьей нагайке,
Ямщик от нее закряхтел,
И тронулись кони. На холоде свистом
Унылым ямщик засвистал...
Искусный танцор стал опять — декабристом,
«Злодей» же фельд'егерем стал.

В следующем стихотворении «Князья» каторжники поджидают на Благодатском руднике новую партию:

На нашу каторгу сегодня
Придут работнички-князья.
А были в Питере из важных,
Из первых, стало быть, господ —
Не из чиновников бумажных:
Военный, слышно, все народ.
Иные, братцы, генералы
И молодые господа,
А добрались и до опалы,
Дошли до этого стыда!..
Идут, идут! — И стихли речи,
И, цепи медленно влача,
Согнув надломленные плечи,
Роняя с тонкого плеча
Сукно тяжелое шинели,
В лице страдание тая, —
Шли — приближались к мрачной цели
Изнеможенные князья.
Сверкали ружьями солдаты,
И мерно звякнул их приклад,
Когда взять кирки и лопаты
Остановился скорбный ряд.

И руки бледные сжимали
Орудий тяжких рукоять,
На плечи молот опускали,—
И к подземельям направляли
Князья шаги свои опять.
И вдруг в густой толпе рабочих
Внезапно песня раздалась.
На запевалу поднял очи,
Его минуя, каждый князь:
То был разбойник знаменитый,
Давно в работы, в рудники
От света божьего укрытый
И там не ведавший тоски.
Могуч в плечах, кудряв и молод,
Он песню русскую запел,
И, в грудь ударив, словно молот,
Могучий голос зазвенел.
Дышала песня та родная
Раздольем русских деревень;
И память родины святая
В чертах князей легла, как тень;
И было в тéни той отрады
Так много тайной и живой...
И, на певца поднявши взгляды,
Князья поникли головой.
И пел разбойник. Звуки ныли
И уходили в небеса...
И дружно песню подхватили
Других рабочих голоса.
Ушли князья .«Небось в Расее,
В раздолье дедовских полян,
Была им песенка милее
От родовых своих крестьян.
И здесь в глазах-то засияло,
Когда ударил песню я!» —
Сказал разбойник-запевало.
И песня та с тех пор звучала,
Лишь появлялися князья.

Третье стихотворение «Друзья шайтана» передают сибирскую легенду о буряте—проводнике декабристов через степи к Петровскому заводу, напуганном русским «тайшой» (чиновником), что вести придется «друзей шайтана», осужденных «на долгие муки». Их много было (вспоминает старик):

Чудная одежда висела на них,
Иные смотрели бессильно и хило,
И сила и бодрость была у других.
Но лицы все были усталы и бледны,
Хоть часто смеялись и пели они...
За ними в повозках их ехали жены —
И ласковы были, тихи и добры...

Проводник играл с ними в шахматы, смеялся с ними, видя их ласку к себе, и навсегда сохранил память о них, недоуменный, за

что шайтан мог наказать «тех бледных людей», за что их «томили в цепях, гоняли под землю в ней рыться, как крот, им даже особый острог возводили»:

С тех пор словно ноет в груди моей рана:
Едва лишь шайтан поднимает свой стон,
И мчит, подхватя, его страшная вьюга,—
Я вижу тех женщин, тех бледных людей —
В себе я боюся шайтанова друга —
И кажется ночь мне страшней и темней!

Обращаясь к исторической беллетристике 80—90-х годов, необходимо отметить две струи в ней—одну, стремящуюся сохранить колорит подлинной, бытовой жизни; другую, не считающуюся с строгим учетом фактически бывшего, вплетающую романический вымысел до пределов, где стирается правда, начинается сказка *).

Данилевский имел намерение развернуть большое историческое полотнище: главы «Каменки» рисуют шумную жизнь передовой части русского общества 20-х годов, дают четкий узор политических настроений южан-декабристов с сложной игрой противоположных настроений и воззрений, вводят между прочим в круг декабристов Пушкина, кумира военной молодежи (ср. чувства Мишеля Бестужева-Рюмина), зарисовывают большие портреты Пестеля и др. с обильными биографическими подробностями, но центральным персонажем во всех главах является Шервуд: его личная история, жажда отмстить сытым и беспечным, жажда выдвинуться во что бы то ни стало любой ценой занимают передний план в романе, дающий повод автору ввести читателя в Грузино к Аракчееву и в Зимний дворец. Этот роман впервые бросил в беллетристической форме те разнообразные материалы, которыми были полны о декабристах исторические журналы, и если он погрешал против истинного облика, напр., Пестеля, то вина лежала не в тенденции Данилевского, а в известной скудости исторических данных. В. Соловьев с ними всего менее считался и дал полную волю своему реакционному оптимизму, видевшему в главном враге декабристов священные устои политического порядка и всяческого благолепия. Автор «Старого Дома» воспользовался намеком Л. Толстого, что П. Лабазов, уничтоживший письма и бумаги брата—члена тайного общества, пострадал из-за него сильнее, чем заслуживал, и развернул сюжет в шаблонную схему, где невинный несет кару, но побеждает в конце концов силою своего духа, а завистливый брат страдает всю жизнь. Наиболее «историчной» является глава, изображающая заседание тайного кружка с вдохновенной речью Рылеева; затем сцены в каземате, на допросе.

*) «Роман декабриста» («Рус. Мысль» 1885, № 10) представляет обработку М. Веневитиновым семейного архива Ивашевых и стоит вне беллетристики. Та же тема по устным легендам была рассказана Герценом в «Былое и Думы».

Но слишком громко говорит верноподданный автор, чересчур обнаруживает свои лойяльные чувства: устами Бориса Горбатова, будущего узника Петропавловской крепости, он характеризует декабристские разговоры, как «по большей части общие места, пламенные молодые фразы—и только»; самый день 14 декабря в его глазах «обман»,—«недоразумение»: декабристы «вели честных русских солдат на бунт—во имя законности и верности долгу присяги. Такой ловкий и легкий по обстоятельствам обман должен был удаться. Некоторые полки поддались ему, произошло грустное и ужасное недоразумение... Заговорщики бегали между ними, возбуждая их горячими речами и в своей фанатической экзальтации даже не понимая, какую позорную роль они играют, не задумываясь о том, что вся кровь обманутых, неповинных людей ляжет на их совесть и будет смыта только их собственной кровью... да и будет ли еще смыта?!... Темный народ был в изумлении и ужасе, не понимая, что такое происходит, на чьей стороне правда»... Шедевром исторической небылицы, монархической шехеразады служит описание В. Соловьевым кровавой трагедии, разыгравшейся на Сенатской площади: «послышались выстрелы... площадь дрогнула... все смешалось... все слилось в адском гуле... Теперь это были уже настоящие дикие звери, почуявшие кровь... И вдруг нашлась высшая сила. Молодой царь, не помышляя об опасности, полный вдохновения, появился среди толпы, обвел ее своим властным, орлиным взглядом... Могучий голос возвысился надо всеми беспорядочными звуками... Миг—и толпа стихла... Народ расходился... Мысли прояснились—все поняли, в чем дело, недоразумение окончилось»... А когда Горбатову об'явили приговор, по которому он лишался чинов и дворянства и ссылался в Сибирь на каторжные работы на двенадцать лет, «он встретил этот приговор почти с радостью»... В Читинском остроге потянулась, по словам романиста, жизнь счастливая... Вернувшийся из каторги Борис Горбатов с особым умилением вспоминает свою сибирскую ссылку и служит для всех окружающих источником радости, поддержки и проч. и проч. Автор не забывает отметить, что, когда этот сусальный декабрист освободил крестьян с землей, те «как будто были недодовольны, бабы так даже в три ручья плакали»... Роман П. Каратыгина повторяет официозную версию декабрьского движения: написанный преимущественно на основании книги барона Корфа и донесений следственной комиссии, он рисует Северное общество группой лиц, «одержимых помешательством», копиями героев франц. революции, не понимающими, что «Россия без единодержавия—обезглавленный труп, могущий лишь разложиться»; вскрывает двуличие в Пестеле, в Батенькове и других, подчеркивает кровожадные намерения, все движение представляет лишенным сочувствия масс и поднятым «злонамеренными» врагами. Отдельные исторические эпизоды, вкрапленные в роман, тонут в казенном и тенденциозном освещении романиста, чрезвычайно скудном в психологическом

рисунке. Много сказочного и елейного вложил сотрудник «Русского Вестника» в свою повесть «Сестра декабриста»: переодевшись в мужское платье, Александра Павловна скачет в деревню к брату, берет его бумаги, письма участников движения, политические стихотворения; узнав об аресте брата, спешит выручать его—все удается ей; препятствия легко ломаются—великий князь Михаил Павлович ни о ком не хлопочет, а исповедь Александры Павловны прослезила его, он решил сделать исключение для нее, ее брата; сам замешанный в заговоре морской офицер, Владимир Павлович, «глубоко сознает, что Россия может быть великой страной только при самодержавном монархе», испытывает на допросе по адресу Николая I «исторически присущее истинно-русскому человеку чувство безотчетного умиления перед лицом того, кто волею божией олицетворяет в себе все могущество, всю мощь, все величие матушки Руси православной»; арестованный декабрист мирно пьет водку с жандармским офицером, любим тюремным сторожем, любим всеми, в том числе дворней, намеревавшейся отбить своего доброго барина, но оставившей намерение после его слов: «Полковник делает то, что ему начальство приказало»; повидимому, и наказание ожидает его легкое, идиллическое. Автор завершает последнюю главу своего неоконченного романа типичными строками: «из массы предварительно арестованных многие, даже не подозревавшие о том, что они были внесены в разные списки, были отпущены на свободу». Напрасно искать в этих романах поэтической портретности, исторического правдоподобия—в расчеты авторов входила стилизация декабрьского движения во вкусе мундирных судей 14 декабря, лишь сменивших чувства страха и ненависти к бунтовщикам обывательским коленопреклонением перед «помазанником божиим».

Иное впечатление оставляет Семен Александрович Бахтурин, «холостяк лет под восемьдесят, из пострадавших в 1825 году», которого посетил в губернском городе Ермилов, персонаж боборыкинского романа. Явно списанный с кого-то из живых, последних могикан декабрьского дела, Бахтурин доживает свои дни, собирая коллекцию старинных документов всякого рода (всего богаче у него было собрание бумаг и книг с 1812 по 1825 г.), интересуясь церковной живописью и кустарными изделиями, обрабатывая какое-то сочинение по философии истории. «Небольшого роста, в шелковом халатике, с свежим, круглым лицом, седой, как лунь, хорошо выбритый и с ожерельем седых волос под подбородком», он жил среди книг, портретов, гравюр, публикуя свои воспоминания в «Архиве» и в «Старине», охотно, но «без старческого словообилия» делясь рассказами о далеком прошлом, когда он «служил юнцом в конно-егерскому полку, состоя по «Южному обществу». Мы узнаем, что «по тогдашнему обычаю» воспитание он получил домашнее («гувернеры... швейцарец, француз-эмигрант»), по десятому году прочел «Кандида» Вольтера, «Эмиля» Руссо прочел в подлиннике

двенадцати лет от роду, арестован был восемнадцатилетним юношей, в феврале 26 года—«полк наш стоял в Сумах»... Этого декабриста Боборыкин заставляет высказаться по поводу «добровольного бездействия» одного общего знакомого, народника Кустарева, бросившего кафедру: «потому-то все так рыхло, без контрабаса в оркестре, что хорошие люди никакой цепкости не имеют, горячатся без разума, уклоняются от дела, а плуты, невежды и гасильники подбирают все, что плохо лежит. Профессуру потерял Евмений, и на своем народолюбии ничего не выиграет... До сих пор ни он, ни другие, подобные ему, не хотят понять, что простой народ—против них; а они-то его обсахаривают. Мы не так рассуждали и чувствовали. Ошиблись, сунулись рано, спору нет, но мы надеялись на себя, мы почитали ум, истину, ученость, талантливость, породу, и не ставили себя ниже черни, от себя самих не отрекались. Да и в поступках имели благородство... в выборе средств. А нынче—ломом хватим—и никаких разговоров, из-за угла, или в западне... Лом!.. —повторил брезгливо старик.—Мы ломом-то руду ломали на каторге, а не человеческое тело, не людей, себе подобных, хотя бы и лютых врагов наших»...

— «Молодцы были!—подумал Ермилов,—богатыри. Это после двадцатилетней-то работы в цепях!» Автор «На ущербе» воспользовался фигурой Бахтурина для постановки ее среди ряда поколений: во время разговора сидел мальчик-подросток, гимназист, которого, по словам старика, «очень уж муштруют греками и латынью». Ермилов подумал: «Три поколения: декабрист, человек шестидесятых годов и классик-гимназист восмидесятых» и, назвав Бахтурина «богатырем», отдал предпочтение декабристу. Так, прогрессист либеральной складки Боборыкин в глухие годы русской общественности вновь посадил в почетный угол человека 20-х годов, без романтической стилизации окинув спокойным взглядом судьбы русской интеллигенции, признав в встретившемся ему «остатке исторической эпохи» более прочное, крепкое начало, чем в тех, кто «на теперешней вахте давал команду—задний ход!». Последним отголоском казенно-монархической обработки декабрьского движения был роман И. А. Строева-Поллина «Декабристы», появившийся незадолго до первой революции (в 1903 г.). Уже в начальной строчке романа автор вскрыл свое подлинное лицо, которое пытался утаить от читателя сообщением в предисловии, что он в своем повествовании «не отступает ни на иоту от истины»: «Сидя в каменном мешке Петропавловской крепости, подпоручик Журин раскаивался»... Из дальнейшего узнаем, что его героя сманили в тайное общество «враги нашего отечества, разные любители сильных ощущений», что ум Илюши Журина был «ненормальным» в день восстания, что он рыдает при воспоминании о своем «позоре», который искупает ссылкой рядовым в Архангельск и потом на Кавказе в сражениях с горцами, где отличается, получает награды, и после монаршего про-

щения едет в свою деревню. Роман шаблонен до предела: если автор изображает любовь Журина к Лизаньке, дочери коменданта, то непременно так, что его герои среди поцелуев «застывали в немом блаженстве»; если Журин дерется с горцами, то обязательно «первый всаживает штык в нахала, негодяя», «вдребезги разбивает прикладом череп» своего противника, кричит «Ура! За мной!» и проч. и проч. Выветрившаяся идеология верноподданных «престол-отечества» накануне 9 января 1905 г. произвела увядший цветок исторической беллетристики, наглядно показала, что кроме шаблонных штампов, граничащих с пошлостью, она не в состоянии ничего создать о своих идейных врагах.

Годы первой революции вновь вызвали пристальный интерес к 14 декабря, декабристы стали рассматриваться, как начинатели революционного движения в России, и сближаться с деятелями нового времени: портреты Рылеева и Пестеля печатались в 1906 г. на почтовых открытках в одной группе с Балмашевым, Сазоновым и лейтенантом Шмидтом и украшались надписями вроде следующей:

Слава борцам за народное дело,
Слава героям отчизны родной,
Слава отдавшим и душу, и тело
Вечной свободе и правде святой!

Т. Ардов в сборнике «Вечерний свет» (1907) применяет смену общественно-политических настроений александровской поры к событиям новой жизни с ее бурным под'емом и крушением революционной стихии: в стих. «Декабристы» «рабское молчанье, стон ненастья» были прерваны «доблестной ратью смелых»—

Их было пять, повешенных. Другие
Погибли там, в тайге, в острогах, в рудниках...
Их песни вещие лишь дебри вековые
Да звезды слышали в холодных небесах.
Все было кончено!..
Но билась мысль... (и т. д.).

Бебутова (артистка Гуриелли) в большом романе «Декабристы» (1906 г.) рассказала о многих выдающихся деятелях Северного и Южного обществ, с явной симпатией зарисовала Рылеева и Пестеля и всех участников движения, то и дело прерывая повествование лирическими страничками на тему, что славное дело декабристов рано или поздно принесет свои плоды, но роман, довольно пухлый по об'ему, много потерял в своей исторической значимости не только из-за слабости литературного дарования автора, но и вследствие включения обильной струи цыганщины и фантастических эпизодов в роде появления в финляндской крепости перед арестованным декабристом влюбленной в него женщины, предлагающей немедленно бежать с нею, и проч. Тогда же в Берлине вышла драма в 5 действиях Панюрина «Император Николай I». Первая

сцена рисует день восстания на Сенатской площади; дежурные пажи во дворце, получая известия о ходе событий через приходящих ад'ютантов, выражают надежду, что Пестель придет на помощь и дело революции не будет проиграно; в конце действия появляется царь, приветствуемый придворной толпой. На фоне интриг, мелочных интересов, увлечения балетом, пренебрежения к народным страданиям (эпизод с крестьянами-старообрядцами, пришедшими искать у царя защиты и арестованными за «наглую» выходку) всей этой камарильи дана сцена допроса, и скомканно, быстро ликвидирована тема о декабризме, чтоб уступить место сценам, наполненным почти историческими экскурсами в социально-политическую обстановку николаевского времени.

Известно, какие глубокие борозды взрезала революционная действительность 1905—1907 годов в общественном мировоззрении русской интеллигенции, как быстро распался единый фронт оппозиционной общественности на резко противоположные и враждебные станы, как в сумерках наступившей реакции зазвучали голоса богоискателей, «вехистов», послышались покаянные призывы и смятенные вопли о «грядущем хаме», как завладела умами некоторых представителей рафинированной буржуазии, напуганной колебаниями социального порядка под первыми же ударами революционного пролетариата и крестьянства, своеобразная философия, четко выраженная Д. Мережковским: «без освобождения религиозного, без реформации нет России путей к освобождению политическому». Декабрьское восстание 1825 г. неизбежно должно было заинтересовать эти общественно-реакционные круги—слишком много было внешних аналогий между тайными организациями первой четверти XIX в. и революционно-подпольными партиями начала XX века, поднявшими знамя борьбы и вынужденными свернуть его. Освещенная кровавым заревом событий 1905 г., преломившихся в идеологии человека «нового религиозного сознания», декабрьская драма 25 года озарилась оригинальным пониманием, чуждым всей почти вековой традиции. В 1911—12 г.г. на страницах «Русской Мысли» был опубликован большой роман Д. С. Мережковского «Александр I», представлявший во многом резкое отклонение от прежнего истолкования декабрьского движения и характерный для умонастроения тех, кто историческую действительность рассматривал, как арену борьбы Христа и Антихриста. В 1918 г. вышел отдельным изданием роман того же автора «14-е декабря», завершавший трилогию под общим заглавием «Торжество зверя» и еще более подчеркнувший тенденции первого романа под влиянием революционной стихии 1917 г., окончательно уничтожившей и богоискательские верования и социальные пророчества той общественной группы, идеологом коей был Д. Мережковский. Уместно расшифровать значимость обоих романов, одновременно следя за судьбой персонажей, связанных друг с другом общим делом, одновременно уясняя идеологические скрепы,

проставленные романистом и в том и в другом произведении по общему плану. Автор изучил немалое количество исторических документов, относящихся к избранной им эпохе. В том, как он чеканит портреты деятелей движения, живописует их наружность, костюм, бытовую обстановку, как развертывает события в Петербурге и на юге, в квартирах декабристов и на Сенатской площади, в казематах и на допросах—виден художник, потрудившийся над разнообразным материалом, прочитавший подлинные тексты воспоминаний самих участников движения, исследовательские сочинения о декабрьском восстании, следственное дело, хотя, быть может, иногда прибегавший не к первоисточнику, а к популяризатору-историку. Перед читателем проходят все наиболее заметные представители Северного, Южного обществ, Общества Соединенных Славян; знакомый с декабристской литературой чуть не на каждой странице встречает документально известные слова и признания вождей и рядовых движения. Обилие лиц, исторически засвидетельствованных, стремление точно хронологизировать факты, соблюсти археологические аксессуары вплоть до старомодной манеры речеведения,—все это подкупает в романах настолько, что один из образованных историков русской общественности назвал первый роман Д. Мережковского приближающимся к типу художественно написанных исторических монографий. Но это внешнее впечатление рассыпалось при первой же попытке критического анализа приемов романиста обрабатывать исторические документы. В результате появление вскоре после выхода «Александра I» статьи под характерным заглавием «Оклеветанные тени», обвиняющей автора романа в «несерьезности» его работы, в том, что он дал «суррогат хлеба—кондитерский, приторный пирог»; появление другого этюда, сказавшего по адресу романа, что в нем есть намеки на истину, есть верные факты, неверно освещенные, есть отдельные эпизоды, вставленные в неправильную рамку, в непонятную кон'юнктуру». В самом деле, картина, нарисованная романистом, дает искаженный снимок с декабрьского движения по двум причинам: 1) автор, рисуя сцены, эпизоды, образы, имевшие место до 14 декабря 1825 г., освещал их в свете следственного дела и признаний декабристов, относящихся к 26 году, ко времени изменившейся психологической обстановки, когда слова и дела до восстания расценивались участниками его, попавшими в Алексеевский равелин, совершенно иначе под влиянием крушения, гибели, потери веры в себя и проч.; 2) автор омертвил живую ткань исторической действительности своей мистической философией, превратившей живых людей в марионетки, прыгающие по звонку в отведенном пространстве, сигнализирующие задушевные верования их творца-владельца. Д. Мережковский не слишком церемонился с действительно бывшим, с подлинно историческим: так, герои романа нередко говорят чужими словами—Рылеев словами С. И. Муравьева или Трубецкого, Пестель словами Барятинского или Поджио, Кахов-

ский—Якубовича (ср. «Голос Минувшего», 1914, № 12, стр. 55); мало заметный участник движения, Валерьян Голицын, поставленный в центре романа, вспоминая беседы с Чаадаевым в 1817 г., приписывает последнему мысли, ставшие характерными для автора «Философического письма» в 1835—1837 г.г.; Каховский в ночь на 14 декабря 1825 г. цитирует (с простейшей перестановкой) эпиграф Бальмонта к «Горящим зданиям» 1899 года:

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить!

Но главное искажение выразилось в нарочитом сгущении красок около той темы, которая, по мнению романиста, была главенствующей среди декабристов: с кем они— с Христом или против него? Эта религиозная проблема в приложении к революционной практике выдвигала особливо острое, напряженное раздумье—может ли быть пролита человеческая кровь без последствий для взявшего на себя ответственность. Герои романа то-и-дело волнуются этим вопросом; все их помыслы как будто прикованы к единственной теме о цареубийстве; они слишком часто рассуждают, может ли быть религия без бога, противна ли вера свободе, слишком много отдают сил спорам о пречистой матери и пр., говорят о снах и привидениях, чорте, видят Кого-то,—словом, перед нами скорее члены религиозно-философского общества, чем вольнодумцы и атеисты александровской эпохи. Роман пестрит мистическими указаниями на Зверя, Кого-то— и все с большой буквы, выдавая с головой автора определенной идеологической установки. И когда мифическими словами исторического С. И. Муравьева-Апостола Д. Мережковский начинает возглашать, что «для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство неутомимое; рабство—с богом, вольность с «дьяволом»; когда он заставляет этого декабриста видеть сон, будто тот «с восставшими ротами, шайкой разбойничьей прошел по всей России победителем. Всюду—вольность без бога—злодейство, братоубийство неутомимое. И надо всей Россией, черным пожарищем—солнце кровавое, кровавая чаша диавола. И вся Россия—разбойничья шайка, пьяная сволочь—идет (за ним) и кричит: «—Ура, Пугачев-Муравьев! Ура, Иисус Христос!»; когда этот декабрист в своем предсмертном дневнике пишет: «страшен царь-Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ... слышу поступь тяжкую Зверь идет... Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спаси Россию»,— мы видим перед собой историческую фигуру, но не передового деятеля первой четверти XIX в., а испепеленного двумя русскими революциями человека, с ужасом отпрянувшего от революционного народа и увидевшего гибель и разрушение там, где засевались семена новой жизни, нового периода истории человечества. Эта нарочитая тенденциозность испортила оба романа, лишила их историчности, заставила автора выдвигать в людях 14 декабря не то, что было им

присуще, а то что нужно было ему для его теоретической схемы, для его социальной философии. Признав, что революционное дело декабристов было созиданием «Града без бога», Д. Мережковский представил их в очень своеобразном наряде; он лишил их всяческого ореола величия и почти всех превратил в каких-то мальчиков, играющих в революцию, занятых пустяками. «Дети, милые дети»,— так воспринимает декабристов Голицын; «детки шалят, деток розгою»—говорит Рылеев о своих друзьях, сам «с мальчишеским хохлом на затылке»—«мальчик-шалун только притворился паинькой»; А. И. Одоевский—«хорошенький мальчик», в заговор попал, как кур во щи—«из мальчишеского ухарства», «играл в заговорщики, как дети играют в разбойники»; А. Бестужев «тоже на мальчика похож», о нем барышни на Невском отзывались: «ах, душка гвардеец!»; кронштадтские моряки, молоденькие лейтенанты и мичманы, образовавшие свое тайное общество, «сущие ребята, птенцы желторотые,—все на одно лицо—Васенька, Коленька, Петенька, Митенька»,—вообще заговорщики «славные ребята», но старшие занимаются «растлением детей», вовлекая их в разговоры о цареубийстве. Впрочем, и те, кто кажется взрослым между детьми, имеют «жалобные глаза, как у больного ребенка» (Каховский); у С. И. Муравьева «до смешного маленький, как будто детский, рот... словно детские, щеки». Рядом с этими детьми какие-то маскарадные персонажи: один «не то фортепианный настройщик, не то театральный разбойник»; то куклы из музея восковых фигур вроде Пестеля. На собраниях декабристов всегда суматоха, ссоры—«повскакали, заговорили, закричали», никто ничего не понимает; или придавленные какой-то неземной тяжестью лунатики, одержимые навязчивыми идеями или казнящие себя, рефлексирующие, во всем разочарованные: Пущин видит «в нас во всех» дрянь—«чухломское байронство»—«болтуны, сочинители, Репетиловы»; «поболтаем, помечтаем, а как до дела дойдет,—в лужу и сядем»,—характеризует товарищей В. Голицын; «ничего мы не сделаем, потому что и делать нечего... даже в случае успеха мы предали бы Россию бедствиям, о коих нельзя себе составить и понятия»— заявляет М. Муравьев; «все наше восстание—Мария без Марфы, душа без тела. И не мы одни,—все русские люди такие же; чудесные люди в мыслях, а в деле—квашни, размазни, точно без костей, мягкие»—выражает свое серьезное Оболенский; «да, в России—нерусские, своим—чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные... погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно... кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся»,—бессильно, обезволенно шепчет Рылеев... На Сенатской площади, в день восстания, декабристы «как в бреду или пьяные»: «похоже было на игру исполинов: огромно, страшно, как смерть, и смешно, невинно, как детская шалость». Вполне понятна быстрая ликвидация декабрьского движения: с такими людьми ничто не может быть свершено, тем

более, что, по убеждению романиста, Христос и еще Кто-то покинули их... Тенденциозная риторика обоих романов Д. Мережковского затушевала те крупицы исторической правды, что̀ сквозили в «Александре I» и в «14 декабря», помешала стать им художественным памятником декабристского движения. Плод мистической философии, романы Мережковского мистифицируют читателя якобы историческими лицами; обнажая реакционные вожделения автора, они искаженно рисуют реальные факты давно минувшего и чаще дают материал для характеристики людей, не приявших декабря 1905 г. и февраля—октября 1917 г., чем тех, кто связан с памятью о декабре 1825 г. Только трагические события, последовавшие за днем восстания, заставили романиста «детскую шалость» превратить в мрачный и жуткий эпизод, вскрыть потрясающую правду в кошма̀рной игре Зверя-царя с легко попавшими с нему бунтовщиками, окружить мученическим ореолом последние минуты тех, кто шел на казнь, и тех, кто доживал в Петропавловских камерах в ожидании далекой Сибири. Несмотря на идеологические срывы, всегда напоминающие своей фразеологией о присутствии среди персонажей романа мистических дел мастера Д. Мережковского, последние главы «14 декабря» раскрывают итоги декабризма с огромной напряженностью, волнующей и убеждающей в художественной, следовательно, и исторической правде. Неровное и спутанное отношение автора к декабристам, то носителям «тайного и страшного», безрелигиозного утверждения жизни, то имеющим «все-таки правду божью», в конце концов сменилась чувством боли, глубоким жалением к побежденным «Зверем-царем» и признанием, что на пути борьбы с последним «Зверь-народ» неизмеримо смертоноснее и дальше от романиста, чем те, чаще рассуждающие о «праве на убийство», но не убившие, не уничтожившие твердынь того порядка, с которым связан был творец обоих романов. В первый же год стихийных взрывов и организованных движений народных масс в кругах, близких к Д. Мережковскому, появилось стихотворение З. Гиппиус, ему посвященное, — *14 декабря 17 года*, — где эта тема о смертельной ненависти к «солдатскому штыку», проткнувшему глаза «Невесте»-свободе, и о благодарной любви к «чистым героям», с которыми шли единомышленники романиста и поэтессы, тема эта была раскрыта со всей четкостью:

Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!
И вот, из рва, из терпкой муки
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожа, протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть—или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!

В первые же месяцы революции 1917 г. впервые русская сцена напомнила театральному зрителю о том общественном типе, который зародился в русской жизни более столетия тому назад *). В сезон 1917/18 года в Московском Малом театре была представлена пьеса Гнедича «Декабрист», напечатанная вскоре после первой революции, но неразрешенная драматической цензурой вплоть до этого года. Тень цензурных передряг густо легла на пьесу опытного драматурга, привыкшего писать по рецептуре сценических эффектов,—поэтому искать в «Декабристе» Гнедича декабристской драмы—бесполезно: удачно скомпанованный первый акт, рисующий ранние ростки военного либерализма во время заграничных походов, не покрывает исторической скудости остальных действий, заключаемых мелодраматической и мифической сценой встречи в Сибири декабристов с Федором Кузьмичем.

Волнующие эпизоды, характерные лица эпохи декабристов продолжали притягивать внимание русских писателей — в стихах и прозе, повестях и драмах они воскрешали тени 1825 года за весь революционный период нашей современности. В 1917 г. Амари дал несколько извлечений из своей поэмы «Декабристы» в книжечке «Салон поэтов»; в газетах «Черниговский Край» (№ 54) и «Вольный Урал» (№ 35) годовщина 14 декабря 1825 года вызвала стихотворные отклики З. Давыдова, О. Никольской, Г. Иванова. В 1918 году Э. Герман, рисуя портреты петербургских деятелей, вспомнил Рылеева, «тайно певшего закон» (сборник «Растопленный полюс»). Л. П. Гроссман в «Плеяде сонетов» (1919 год) посвятил стихотворение Кюхельбекеру, пред которым «призрак плахи встал в один декабрьский день на невском льду» и который скрылся «в глухих песчанниках Сибири», вспоминаемый Пушкиным:

... В пропасти земли
Ушел Вильгельм из невского тумана...

В том же 1919 году в Орле появился сборник стихотворений Евг. Сокол «Красные набаты», в Чернигове—Давыдова «Ветер» с признанием героического подвига участников декабрьского восстания. В 1920—21 году Б. Бентовин пересказал в драматической форме

*) Поставленная на сцене Александринского театра 4 января 1895 года пролог-пьеса в 1 д., в стихах, соч. П. Вейнберга—«Миллион терзаний»—мельком задела А. Бестужева в его связях с Грибоедовым до 14 декабря. В 1915 году вышел драматический этюд «Измена», где А. Михневич в стихотворной форме пересказал эпизод из жизни Марлинского (А. Бестужева) на Кавказе, когда девушка, любившая его, убедившись в измене любимого человека, схватила револьвер и случайным выстрелом была убита.—Кстати отмечу, что Л. Рейснер в стих. «Медному Всаднику» (1915 г.) упомянула:

На плахе декабристов
Загрохотала медь...

эпизоды из жизни Пестеля и сцены допроса Николаем выдающихся декабристов—«Павел Пестель» и «Царь-провокатор (Николай I и декабристы)», драматизированная эпопея, близкая к историческим источникам, почти текстуально повторяющая исторические пособия. В. Чигирин посвятил стихотворение «Памяти декабристов» в журнале пролетарских клубов «Революционные Всходы» (1920 г., № 7—8). Небольшую поэму о декабристах написал А. Рубинштейн—«Ветер с юга» (1922, Одесса), в 4-х этюдах воспроизводит последнюю ночь перед 14 декабря, утро 14 декабря и самое восстание; поэма кончается стихами:

Обрушен в бездну день великий,
И полночь снежная встает.

В 1922 г. О. Мандельштам, обвеяв романтическим лиризмом образ декабриста, вернул этому типу традиционную позу с придачей некоей торжественной мудрости, скорбной патетики, одиночества:

— «Тому свидетельство языческий сенат—
Сии дела не умирают!»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
...Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах...
Бывало, голубой в стаканах пунш горит;
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит—
Вольнолюбивая гитара!..
Еще волнуются живые голоса
О «сладкой вольности гражданства»—
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Все перепуталось—и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось—и сладко повторять:
Россия... Лета... Лорелея...

В следующем 1923 г. в трех городах одновременно появились две драмы и одна историческая повесть, посвященные декабристам: в Рязани пьеса Н. Лернера «Николай I-й (декабристы)», в Екатеринодаре пьеса А. Айно «Декабристы», в Москве повесть Н. Ашукина «Декабристы». Грозовые бури нашего времени, заостренно выдвинувшего проблему классовой борьбы, не прошли бесследно для драматургии: Н. Лернер подчеркивает расхождение между аристократом Трубецким и «нищим дворянином» Каховским, между будущим трусливым диктатором и Пестелем, заявляющим, что в «России револю-

ция должна совершиться только с народом и для народа... Кто не верит в свой народ и боится его, — тот враг народа» — но многое в пьесе: в постановке центральных персонажей, в их фразеологии идет от романа Д. Мережковского, оказавшего действенное внушение и на повесть Н. Ашукина. Новым в драме было включение личной трагедии жены Рылеева, в повести—избрание сюжетной схемой истории декабриста Анненкова, вынужденного силою обстоятельств 14 декабря находиться в лагере Николая. Но этот не лишенный драматизма эпизод потонул среди страниц, напоминающих популярный пересказ исторических событий, кое-где расцвеченный стихотворениями Пушкина и А. Одоевского, а драма Н. Лернера побледнела от внесения лишних эпизодов (напр., любовная история Батурина), закрывших на некоторое время главную нить действия. Более сценична пьеса Айно, любопытная тем, что центр внимания перенесен на южных деятелей, Пестеля и Муравьева. Чрезвычайное место занимает в пьесе Лунин, зажигающий Пестеля огнем своих речей, резко нападающий на петербургских деятелей, «гадающих на кислой капусте», тогда как надо плюнуть на полумеры и приступить к перевороту: всем Романовым смерть... надо поджечь дворец, перешарить всю Русь, придушить всю знать, зажечь повсеместный бунт. «Гражданин вселенной», «авантюрист», как себя аттестует Лунин, производит сильное впечатление на холодного диалектика Пестеля. Кто он — «безумец, или... или бог?» признается вождь южан. Далее тот же Лунин с пистолетом в руках освобождает друзей при попытке властей арестовать Муравьева и на допросе резко смеется над Николаем, называя его не царем, а жандармом («Какой ты царь?..»), и наводит жуть на Николая, которому кажется, что пред ним сумасшедший... Лунин приближается к царю со словами: «А что, ежель придушить тебя здесь?» Тот пятится и скрывается, а Лунин хохочет ему вслед... Этим диким хохотом победителя-побежденного заканчивается пьеса Айно, дающая вообще ряд эффектных положений, не столько верная подлинным фактам (чего и не имел в виду сам автор), сколько красочно передающая психологическую суть вождей декабризма. В том же 1923 году в журнале «Дрезина», в декабрьском номере (№ 14) появилось стихотворение А. д'Актиля, любопытное по чувству связи между декабристами и нашими современниками, участниками Октября:

Крепко накрепко врезался в память
Офицерский бунт декабря.
Несмотря на глухие угрозы,
Несмотря на холопский страх—
Вдруг случилось, что выросли розы
На холодных русских снегах.
Но недолго алели, пылая,
Мятежа огневые цветы:
Затоптал их сапог Николая
И засыпал снег с высоты.

В мерзлом воздухе бухнули пушки,
Отпевая живые полки.
Александр Сергеевич Пушкин
Гимном их проводил в рудники.
Стали ночи попрежнему мглисты,
Снова ожил холопский страх.
Но остались жить декабристы—
Как надежда — в русских сердцах.
И теперь, в дни последней победы,
В мировой канун Октября,
Вспомним, братья, как подняли деды
Первый робкий бунт на царя.
Не они отстояли право,
Не они возгласили весть.
Но история их величава.
Декабристам—вечная слава!
Декабристам—вечная честь!

Все указанные авторы вращаются в каноническом признании декабристов первыми «борцами за свободу», открыто заявившими о «вражде между самодержавием и порабощенным им народом», и тем самым завершают круг столетней традиции.

Сменялись поколения, вспыхивали казенно-монархические и философско-реакционные оценки и гасли, побеждаемые лучистой легендой, созданной памяти «распятого поколения». Что скажет о декабристах художественное слово в 1925 г.? Как расценит людей 14 декабря «младое племя» наших дней? Богатейший арсенал мемуаров, писем декабристов и научно-исторической литературы о них, четкие идеологические линии научной мысли, наличие разнообразных литературных группировок, — все говорит за то, что множество незатронутых ранее тем, образов, эпизодов из жизни декабристов на воле и в ссылке, в тюрьме и в домашней обстановке может и должно быть раскрыто нашими писателями по-новому и ярче, правдивей и резче*).

Н. Л. Бродский.

*) Напечатанные в 3-м сборнике «Перевала» (1925) драму М. Яхонтовой «Декабристы», рассказ Г. Чулкова «Кинжал» (в альманахе «Круг», т. 5) относим к юбилейной литературе, которой надеемся посвятить специальный этюд.—Считаю долгом выразить глубокую благодарность за некоторые указания М. П. Алексееву и Н. К. Пиксанову.

Жены декабристов.

Когда наступает столетие годовщины вооруженнного выступления тех, которые известны под общим именем «декабристов», когда различные учреждения и отдельные лица делают во всех направлениях изыскания о событиях, деятелях и всех причастных революционному движению тех годов,—нельзя не воздать должного моральному подвигу Трубецкой, Волконской, Муравьевой, Нарышкиной, Ентальцевой, Юшневской, Фонвизиной, Анненковой, Ивашевой — женам декабристов, имевшим громадное значение во всей последовавшей за приговором жизни не только своих мужей, но и всей группы осужденных по делу о восстании *).

В этом ряду женщин были и безродные, как Ал. Вас. Ентальцева, и жестоко в детстве бедствовавшие, как француженка П. Е. Гёбль, ставшая женой Анненкова, и такие неродовитые, как дочь гувернантки—Камилла Петр. Ле-Дантю, сделавшаяся женою Ивашева уже во время отбывания им каторги. Но большая часть перечисленных женщин принадлежала к титулованной знати, вельможным богачам—светилам верхов общества. Княгиня М. Н. Волконская была дочерью знаменитого Раевского; княгиня Е. И. Трубецкая—дочь миллионерши Козицкой и графа Лаваль. Отцом А. Г. Муравьевой был граф Чернышев, а Ек. Петр. Нарышкина была дочерью графа Коновницына, героя войны 12-го года. Юшневская была замужем за генерал-интендантом; Анна Васильевна Розен носила титул баронессы. Ал. Ив. Давыдова была невесткой владелицы известного имения Каменки, Киевской губернии, где шла широкая барская жизнь, и собирался цвет культурного общества. И если революционные действия Северного и Южного обществ вообще были неожиданностью, не имевшей примеров в русском прошлом, то для жен декабристов арест их мужей, суд и приговор над ними являлся настоящей всесокрушающей катастрофой, к которой ничто не подготовляло среди роскоши и светского блеска их семейных очагов.

---

*) Позднее к братьям Бестужевым, когда они вышли на поселение, приехала их сестра Елена Александровна, а жена Якушкина, многократно добивавшаяся разрешения присоединиться к мужу, так и не могла получить его.

Они не участвовали в той общественной и революционной деятельности, которая об'единяла их мужей в тайное общество, они не знали о существовании ни Северного общества ни Южного, как не ведали и о предшествовавшей тайной организации — Союзе Благоденствия. В начале XIX века нравы ограничивали поприще женщины областью семьи, и женщина не допускалась даже в такие об'единения, как масонские ложи. Поэтому отчасти, быть может, и вследствие бережного отношения мужей, жены декабристов не только не были посвящены в политические планы их, но и в мыслях не имели, чтобы близкие им люди могли замышлять государственный переворот, обсуждать вопрос о цареубийстве и истреблении всей царской семьи и пойти на дело, которое грозило смертью, каторгой и ссылкой.

События и люди, уходящие в такую даль, как целое столетие, всегда покрываются дымкой, и не потому, чтобы память о них молчала, но потому, что «все движется, все течет», и вечно развивающаяся и осложняющаяся жизнь с каждым десятилетием ставит новые задачи, выдвигает новых людей, подкапывает и разрушает старое и создает новые условия, которые делают необычайное—осуществимым, поразительное — обыденным, и позднейшие поколения перестают удивляться прошлому и восхищаться им.

Если влияние движения декабристов было сильно в 30-х и 40-х годах и отразилось на духовном развитии Герцена, Огарева и их единомышленников, — если Пушкин, Одоевский, Веневитинов и др. воспели жен декабристов в стихах и прозе, — то уже через 50 лет после событий, к середине 70-х г. г., жизнь преодолела прошлое, и память о тех днях и людях сохранилась лишь в смутных очертаниях, без четких индивидуальностей, без оживляющих подробностей. А потом прошло еще почти три десятилетия, прежде чем стала появляться литература об этих далеких наших предшественниках. Так долгие годы, можно сказать, не было почти ничего, что питало бы благодарную память о них и на чем можно было бы учиться их опыту.

Но, если о самих участниках восстания существовали лишь самые скудные сведения, то об общественном значении жен декабристов, в течение десятилетий совершавших свой моральный подвиг в Сибири, в руднике Благодатском, в остроге Читинском и в замке Петровском, можно было узнать и того меньше.

Поэма Некрасова «Русские женщины», воскресившая образы кн. Трубецкой и кн. Волконской, появилась в эпоху, когда русская женщина ушла далеко вперед. В 60-е годы, под влиянием новых условий, возникших вследствие освобождения крестьян и связанных с ним реформ, женщина отстояла свою личность в области семейных отношений, пред'явила право на самостоятельный труд, на высшее образование и на участие в общественной деятельности. Духовный рост ее за это десятилетие был так велик, что, вступая в 70-е годы, она сразу становится товарищем мужчины в револю-

ционной борьбе за социализм и свободу, делается членом тайных группировок, кружков и обществ и участвует как в мирной пропаганде, так и в организованных боевых актах. Как далеко это от отношений Рылеева и его жены! Как далеко это от сцены, когда ночью, в ожидании ареста, Волконский будит жену, сжигает с ее помощью различные документы и на заданный ею после его короткого возгласа: «Пестель арестован!» вопрос: «почему?» отвечает молчанием!

Жизнь преодолела пассивную роль женщины; она преодолела возможность громовых ударов с лазоревого неба, поразивших ничего не подозревавших, ничем не подготовленных жен декабристов. Она преодолела и леденящий ужас перед Сибирью, лежащей за тридевять земель, с ее выбрасываемым из России уголовным элементом. Преодолела, с одной стороны, тем, что то, что было новью в эпоху декабристов для изолированной группы их, стало привычным явлением в 70-е, 80-е и дальнейшие годы, когда тысячи политических ссыльных непрерывной цепью потянулись во все углы далекой окраины. А с другой стороны, старые и вновь воздвигнутые централы, при царской реакции раскинутые по всей земле русской — от Шлиссельбурга, Вятки и Орла до Николаева и от Москвы и Владимира до Зерентуя, — своими тюремными злодействами заставили побледнеть то, что в свое время испытали декабристы и последовавшие за ними жены.

Но что же следует из этого? Да, жизнь изменилась, ужас перед Сибирью она преодолела другими, еще более жуткими ужасами; да, она повысила требования к личности и женщину на-ряду с мужчиной повела на эшафот и под расстрел. Но духовная красота остается красотой и в отдаленности времен, и обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия сияет и теперь в немеркнущем блеске прежних дней. Их лишения, утраты и нравственные страдания роднят их с нами, женщинами позднейших революционных поколений. Но для них арест и кара, обрушившаяся на декабристов, были потрясением, вырывавшим почву из-под ног. Воспитание, образ жизни, привычки, среда, — все восставало против грозного будущего, открывавшегося перед ними. А женщины нашего последнего полустолетия шли сознательно на свою участь, они мысленно подготовляли себя к ней и обладали великим благом, участвуя в великом движении, прозревать его славное будущее. Это давало им силы, давало нравственное удовлетворение и душевное спокойствие. У женщин-декабристок этого не было.

В драме Ибсена фанатический проповедник Брандт требует от своей слабой, хрупкой жены непосильных жертв. Он уводит ее от людей, из привычной обстановки ведет в мрачные ущелья гор: там он будет выполнять свою миссию спасения душ жителей жалкой деревушки, заброшенной в туманную долину среди высот. Он отнимает у нее крошку-сына, который умирает от сырых испаре-

ний и вечной облачности дикой, нездоровой местности. У бедной матери остается одно: маленький чепчик дитяти, который, как дорогое воспоминание, она носит на груди. Брандт отнимает и это последнее,—он велит отдать чепчик нищей, у ребенка которой голова ничем не покрыта.

Император Николай I употребил всю жестокую изобретательность своих слуг, чтобы всевозможными ограничениями если не задержать в России, то связать по рукам и ногам женщин, пожелавших следовать за мужьями в Сибирь, и отравил жизнь тем, кого неизменно называл «невинными» женами декабристов. Кроткие увещания, жестокие угрозы и преувеличение будущих опасностей и бед,—все было использовано как в России, так и на пути в Сибирь, чтобы запугать неопытных и заставить отказаться их от своих намерений.

Николай отнял у «невинных» все имущественные и наследственные права, все титулы и звания и низвел обездоленных на прожиточный минимум, ежемесячный отчет в котором они должны были представлять местному начальству. Эта сумма была так ничтожна, что держала Волконскую и Трубецкую на границе нищеты. Чтобы улучшить пищу заключенных на Благодатском руднике, они должны были сокращать собственное питание и отменить свои ужины; а Трубецкая одно время питалась исключительно черным хлебом и квасом. Эта избалованная княгиня ходила в истрепанных башмаках и отморозила себе ноги, потому что свои теплые башмаки она употребила на шапочку для одного из товарищей мужа, чтобы предохранить его голову от обломков горной породы, падавших в руднике при каждом ударе молота.

Император отнял у «невинных» их детей, запретив брать их с собой в Сибирь. 20-летняя мать—Волконская, всего год назад вышедшая замуж, вынуждена была покинуть своего первенца-сына, который вскоре умер. Трубецкая оставила в России 2-х дочерей и сына; сын умер, а дочери на всю жизнь потеряли здоровье. Баронесса Розен, не успевшая пробыть замужем и года, могла вырваться к мужу только благодаря сестре, которая взяла ее младенца. Анненкова оставила свою дочь. Юшневской пришлось сделать то же самое. Фонвизина уехала, поручив двух сыновей своей матери; неразумная бабушка избаловала мальчиков и сделала их непригодными к жизни людьми. Давыдова, имевшая 5 человек детей, была вынуждена раз'единить их и разместить по своим родным.

Император осудил «невинных» жен на вечную разлуку и с родителями: последние не имели права когда-нибудь посетить Сибирь для свиданья с дочерьми.

Он отнял у «невинных» и родину, лишив их—не в пример женам уголовных—права возвращения в Россию. Даже после смерти мужей они должны были оставаться в Сибири. В 1844 году умер Юшневский; его вдова неоднократно просила о разрешении возвратиться в Россию—ей было в этом отказано. Через 20 лет после декабря,

в 1845 году, умер Ентальцев, бывший уже на поселении. Его вдова, совершенно измученная жизнью с душевно-больным мужем в глуши Березова и тогдашнего Ялуторовска, хотела вернуться на родину—ей это не было разрешено!..

Подлая предусмотрительность венценосца и слуг его простиралась так далеко, что, прозревая будущие возможности, женам запрещалось иметь брачные отношения с осужденными мужьями.

В Чите в 1828 году мужьям было дозволено посещать жен на их квартирах, и в 1829 г. 16 марта у Анненковой родилась дочь, у Давыдовой—сын, у Муравьевой—тоже дочь. «Мы писали родным, что просим белья для ожидаемых нами детей», говорит Анненкова в своих записках. Старик комендант Лепарский, делавший для заключенных все возможное, а к женщинам неизменно благосклонный, получив эти письма для отправки в Петербург, в высшие инстанции, был крайне смущен таким содержанием их. Он возвратил дамам письма и пришел с об'яснениями.

«Mais, mesdames, permettez-moi de vous dire», говорил он, запинаясь, и с большим смущением: «vous n'avez pas le droit d'être enceintes»*). А потом, желая успокоить, прибавил смешную фразу: «Quand vous serez accouchées c'est autre chose» **)...

Да, «невинные» жены от всего отказались, на все согласились; все пред'явленные им требования скрепили своими подписями. Когда бумагу с ограничениями дали прочесть и подписать Волконской, она сказала: «Я подпишу, не читая».

Удивительно ли, что суровый отец Волконской, герой войны 12-го года Раевский, который при решении дочери следовать за мужем в Сибирь, сжав кулаки над головой ее, кричал: «Я прокляну тебя!..»—на смертном одре своем, умирая в разлуке с ней, сказал: «C'est la plus admirable femme, que j'aie connue»***). Да, он мог и должен был сказать это, потому что, кроме всего, что должны были преодолеть другие, дочь его должна была преодолеть сопротивление в своей собственной семье: гнев отца и гнусные интриги брата Александра, который перехватывал ее письма, устранял встречи с родными мужа, скрывал известия о нем, не сообщал о ходе дела и даже самую весть о приговоре задерживал, насколько это было возможно. Узнав, наконец, что муж приговорен к каторжным работам на 20 лет, Волконская с молодой решимостью порвала все опутывавшие ее тенета и первая после Трубецкой полетела в Сибирь.

Волконская догнала Трубецкую на Большом Нерчинском заводе, в 12 верстах от Благодатского рудника, где в остроге содержались их мужья и шесть других декабристов: Оболенский, Давыдов, два

---

*) «Позвольте сказать вам, сударыня,—говорил он.—Вы не имеете права быть беременными».

**) «Когда вы разрешитесь от бремени—другое дело»...

***) «Это самая удивительная женщина, которую я когда-либо знал».

брата Борисовы, Бестужев и Якубович (остальные находились в Чите). Начальником над рудниками был Бурнашов, живший на Б. Нерчинском заводе. Это был человек грубый, «строгий до несправедливости». Его отношение к декабристам вполне характеризуется гневным выкриком при получении приказа о них—содержать строго и заботиться о здоровье: «Чорт побери,—воскликнул он,—какие глупые инструкции дают нашему брату: содержать строго и беречь их здоровье! Без этого смешного прибавления я бы выполнил, как должно, инструкцию и в полгода вывел бы их всех в расход!»

По прибытии в Благодатск Трубецкая и Волконская застали заключенных в бедственном положении, и первые встречи с ними были потрясающие. Увидав в расщелину тына мужа в кандалах, в коротком оборванном и грязном тулупчике, подпоясанном веревкой, изменившегося лицом и обросшего волосами, Трубецкая упала в обморок. Когда Волконскую ввели в каморку Волконского для свидания, она не бросилась к нему с об'ятиями, но пала пред ним на колени и поцеловала кандалы на его ногах... Это была не любовь к мужу, а трогательное почтение к страданию, которое человек нес во имя бескорыстной цели.

Благодатская тюрьма состояла из двух комнат, разделенных сенями. В одной содержались уголовные, совершившие побег; в другой—декабристы. Вдоль стен были устроены каморки, столь низкие, что было трудно стоять... Каморка Волконского имела три аршина длины и два—ширины. В ней, кроме Волконского, помещались Трубецкой и Оболенский. Лишенные права переписки, заключенные ничего не знали о своих близких и не получали от родных ни писем, ни посылок. У них не было ни денег, ни белья; они спали на нарах без подушек и каких-либо постельных принадлежностей. Здоровье у всех было расшатано. По официальным сведениям, Трубецкой страдал кровохарканьем; у Оболенского была цынга; Якубович и Давыдов страдали грудью, а Андрей Борисов был болен психически. Между тем питание было скудное и плохого качества. Выше было указано, каким лишениям должны были подвергнуть себя избалованные женщины, чтобы несколько улучшить пищу заключенных. У Трубецкой по приезде совсем не было денег, а у Волконской была лишь незначительная сумма. Отпустив горничных, которые добровольно сопровождали их в пути, они сами исполняли все домашние работы,—убирали, стряпали и стирали, а для мужчин чинили и шили белье, приготовляли кушанья, которые носили в тюрьму. Правда, нельзя сказать, чтобы это выходило у них искусно. Говоря о Чите, Анненкова пишет: «Дамы наши часто приходили ко мне посмотреть, как я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп, то состряпать пирог». Но когда дело доходило до того, чтобы вычистить курицу, они «со слезами сознавались, что завидуют моему умению все делать, и горько жаловались на

самих себя за то, что не умели ни за что взяться». Говоря о скудости и материальной нужде жен декабристов, надо прибавить, что в Благодатске Трубецкая нанимала у одного казака комнату такого размера, что, когда на полу у нее ночевала Волконская, ее голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Этот чулан, черный хлеб с квасом и истрепанные башмаки — вот обстановка княгини, урожденной графини Лаваль, которая во дворце своей матери ходила по мраморным плитам императора Нерона, купленным старой графиней в Риме.

Свидания с мужьями они имели 2 раза в неделю в тюрьме, в присутствии офицера. Конечно, это не удовлетворяло, и летом «любимым времяпрепровождением нашим было,—говорит Волконская,—сидеть на камне против окон темницы; оттуда я разговаривала с мужем; приходилось говорить довольно громко, так как расстояние было значительное». Эта вольность «сидеть на камне» далась не даром; солдаты отгоняли дам, наносили грубости, и однажды (уже в Чите) солдат ударил Трубецкую кулаком. В один из промежутков между свиданиями в тюрьме случилась история, очень напугавшая Трубецкую и Волконскую. Горный офицер Рик, которому было поручено наблюдение за тюрьмой, вздумал еще более ухудшить участь заключенных. «Он потребовал, чтобы по возвращении с работ, вместо того, чтобы, умывшись и переодевшись, обедать вместе, каждый шел в свою каморку и там ел, что ему подадут. Кроме того, из экономии он перестал выдавать им свечи. Оставаться же,—продолжает Волконская,—без света с 3 часов пополудни до 7 часов утра в клетке, где можно было задохнуться, было настоящей пыткой». Им было также запрещено разговаривать друг с другом через перегородки клеток. И вот, произошла первая в истории революционного движения тюремная голодовка-протест. Заключенные сговорились не принимать пищи и стали отправлять назад обед и ужин. Прошел день, прошел другой, Рик струсил и подал рапорт, что заключенные взбунтовались и хотят уморить себя голодом. Приехал Бурнашов. Вызвав Волконского и Трубецкого, он разразился громовой речью, угрожая кнутом в случае возмущения. До женщин, не имевших понятия о том, что происходило в последние дни в тюрьме, дошел распространившийся среди местных жителей слух, что «секретных» будут судить. В тревоге и ужасе застыли Волконская и Трубецкая, когда увидали, что их мужей повели на допрос к Бурнашову. Вдоволь накричавшись, последний дал, наконец, возможность об'яснить ему, в чем заключался «бунт» и чем он был вызван. И дело кончилось благополучно: распоряжения офицера были отменены, а сам он через некоторое время был удален.

В Благодатске декабристы работали в рудниках от 5 часов утра до 11 и должны были вырабатывать по три пуда руды в день.

Осенью 1827 года их перевели в Читу, где они соединились с остальными товарищами. В остроге скопилось тогда более 70 человек. Тюрьма была тесная: проходя ночью, надо было остерегаться, чтобы кого-нибудь не задеть. Днем оглушительный звон от кандалов был нестерпим для тех, у кого нервы были расстроены. Непрерывный шум и говор отнимали возможность сосредоточиться и чем-нибудь заняться. Тюрьма к тому же была темная, с окнами под потолком, как в конюшне. Рудников здесь не было, и декабристы сначала мели улицы, очищали хлевы и конюшни старых казарм, а когда не стало этих работ, их заставляли молоть зерно на особых ручных мельницах, как это практиковалось в монастырях в виде наказания. «Так провела большая часть их 15 лет своей юности в заточении»,—с грустью вспоминала в своих «Записках» по этому поводу М. Н. Волконская.

Когда из Благодатска декабристов перевели в Читу, туда переехали и Трубецкая с Волконской. Они нашли там Ал. Гр. Муравьеву и жившую с ней Нарышкину. В Чите находилась и Ентальцева, которую новоприбывшие пригласили жить вместе с ними. Постепенно из России приезжали и другие жены: Фонвизина, Давыдова и француженка Гёбль, которая выхлопотала у императора разрешение отправиться в Сибирь к Анненкову и там обвенчаться с ним. Вначале они имели свидания с мужьями попрежнему лишь два раза в неделю, а в остальные дни ходили к тюремной ограде из бревен, неплотно прилегавших друг к другу; через эти расщелины можно было видеть заключенных и говорить с ними. На первых порах это делалось с опаской, а потом вошло в норму. После удара, который солдат нанес Трубецкой (на что была принесена жалоба), последняя, по словам Волконской, устраивала там целые приемы: она приносила стул и усаживалась; внутри тюремного двора собирался кружок и каждый ждал очереди для беседы *).

Для человека, не знавшего тюрьмы, это кажется пустяком! А сколько радости доставляла заключенным эта возможность переглянуться, перекинуться словцом с редким посетителем извне! Восторженное стихотворение князя Одоевского, написанное по поводу этих визитов у тюремного тына, красноречиво свидетельствует об этом.

С того момента, когда Волконская и Трубецкая прибыли в Благодатск, а Муравьева, Нарышкина и Ентальцева—в Читу, они сделались утешением и радостью всех заключенных. И в крупном и в мелочах они были их добрыми гениями и, кроме нравственной поддержки, оказывали сотни всевозможных услуг. Благодаря связям

---

*) Это живо напоминает то, что было в Шлиссельбурге, когда тесовые заборы стали от времени отходить от крепостной стены, и узники прикладывали к щели глаз, чтобы увидать соседа; а позднее Л. Волкенштейн устраивала приемы, находясь в своей клетке, при чем соблюдалась правильная очередность для собеседников.

в столице и личной известности некоторых из них императору, местные власти не могли не считаться с ними, и это удерживало от произвола по отношению к узникам. А личное обаяние молодых образованных женщин не могло не действовать на окружающих, начиная с членов администрации и до уголовных, с которыми приходилось постоянно соприкасаться. Один каторжник под кнутом не назвал Волконскую, которая через него оказала денежную помощь скрывавшемуся беглецу Орлову.

Неусыпные заботы женщин распространялись на всех декабристов безразлично. Когда кончались сроки низших разрядов осужденных, они обшивали и снабжали всем необходимым тех, кто выходил на поселение, так как многие не имели ни родных, ни связей в России. Переписка всех заключенных велась через них. Подобно тому, как в 80-х годах это было на рудниках Кары, каторжные не имели права писать родным сами, но лицемерно разрешалось переписываться через кого-либо вне тюрьмы, при чем, говоря о заключенном в третьем лице, переписчик, как бы от себя, передавал содержание письма *). Этих писем было множество: каждая дама имела свою группу; Трубецкой каждую неделю приходилось переписывать десяток, а вместе с Волконской иногда она переписывала их до 30-ти. Когда случалось, что кого-нибудь из позже осужденных провозили через Читу, дамы шли к пересыльной тюрьме, за три версты от города, пешком, чтобы ранним утром у тына встретиться и сказать слово одобрения, как это было с офицерами Черниговского полка— Мозгалевским, бароном Соловьевым и несчастным Сухиновым, который потом бежал с 200 уголовными и был приговорен к расстрелу, но в ожидании казни повесился на ремне своих кандалов. А когда благодаря ловкости Волконской удалось узнать, что приехавший фельд'егерь должен увезти в Петербург декабриста Кондратовича, дамы всю ночь в ужасную стужу дежурили поочередно, чтоб не отпустить товарища без последнего «прости».

В тесноте и скученности Читинского острога декабристы прожили более трех лет. Тем временем в Петровском заводе строилась обширная тюрьма, куда должны были их перевести. Жены заблаговременно послали прошения, чтоб им разрешили жить в тюрьме вместе с мужьями, и это было разрешено. Летом 1830 года двинулись декабристы, а за ними их жены. Не доезжая до Петровска, комендант Лепарский передал дамам письма и газеты. Последние принесли весть о революции в Париже и низвержении Карла X, и по прибытии в острог, подобно тому, как в позднейших российских тюрьмах праздновались Коммуна 18-го марта и взятие Басти-

*) Несколько открыток такого рода я передала в Ленинградский Революционный Музей. Их от имени Т. Лебедевой писали ее подруги, вышедшие в вольную команду.

лии 14-го июля, всю ночь тюрьма оглашалась песнями и криками «ура», а караульные дивились, чему радуются новоселы.

Если в Чите у декабристов все было общее—вещи, книги, то в Петровске об'единение в одну организационную дружную общину было довершено устройством двух артелей. «Большая» артель уравнивала всех экономически: каждый мог располагать по своему усмотрению приходящейся ему долей—это делало членов независимыми. «Малая» артель имела целью помощь на первое обзаведение тем, кто выходил на поселение. Касса этой артели составлялась из пожертвований и отчислений. Дамы, поселившиеся в тюрьме, являлись здесь об'единяющей связью. Некоторые товарищи потеснились и отдали в их распоряжение две комнаты. Там по вечерам собирались все, и устраивались чтения, беседы и дебаты. Благодаря женам получались все русские газеты, одна немецкая, несколько журналов и газет на французском языке, о книгах нечего и говорить — количество их постоянно возрастало. Женщины обеспечили общине медицинскую помощь. Если по идее А. Г. Муравьевой в Чите они устроили и оборудовали больницу, то в Петровске благодаря им в остроге была организована аптека, и декабристу Вольфу, хорошему врачу-хирургу, были доставлены все необходимые инструменты и медицинские книги и издания.

С удивлением читаешь, что в Петровской тюрьме не было окон в стене, и, по рассказу Волконской, целый день приходилось поддерживать огонь. Всем известно, как тягостен в тюрьме вечный искусственный свет ночью, но в Петровске и днем должны были пользоваться только им, и это чрезвычайно действовало на нервы и портило зрение. Дамы обратились в Петербург, прося разрешения прорубить окна. В 1831 г. разрешение было дано, но комендант Лепарский, чрезвычайно мнительный по отношению к возможности побегов, приказал, при всем благодушии своем, сделать их под потолком, и с тех пор как стали делать эту переделку, дамы устроились вне тюрьмы, прожив в ней год. У Волконской и Анненковой, у Ле-Дантю, обвенчанной с Ивашевым в Петровске, и у Розен, присоединившейся к мужу только тут, рождались дети, и эти «цветы жизни» были радостью не только матерей, но и всей тюремной колонии, приобретавшей в них крестников и крестниц.

Так десяток женщин, очень подружившихся между собой, служили источником всего светлого, что могло быть в однообразной жизни тюрьмы, и несли наравне с узниками все тяготы, которые выпали на их долю, и своей деятельностью дали совершенно недосягаемый идеал для всех организаций помощи политическим заключенным и ссыльным, какие существовали в ближайшее к нам пятидесятилетие царской власти.

Шли годы тяжелой медленной поступью. «Первое время нашего изгнания,—пишет Волконская,—я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет; затем я себе говорила, что это будет через 10,

потом—через 15 лет; но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у бога только одного: чтобы он вывел из Сибири моих детей».

Шли годы, но женщины-декабристки оставались неизменны: «в каждом несчастном они привыкли видеть брата»,—говорит о них Достоевский. Когда его вместе с другими петрашевцами провозили через Тобольск, жены декабристов упросили смотрителя пересыльной тюрьмы дать с ними свидание в его квартире. «Они благословили нас в новый путь,—пишет Достоевский,—и каждого оделили евангелием—единственной книгой, позволенной в остроге», и в евангелии были спрятаны деньги.

Так от начала до конца они были всегда равны и верны себе. Они проявили твердую волю и смелую решимость итти неуклонно к намеченной цели, неусыпную энергию и действенную любовь. Разве не они раскрыли перед нашими передовыми писателями качества, которые они назвали «доблестью русской женщины»? И после них разве не эти качества русская женщина целыми десятилетиями должна была вносить в наше многострадальное революционное движение? Когда читаешь трогательные воспоминания о них декабристов или в тишине вечера пробегаешь собственные повествования Волконской, Анненковой,—разве не преисполняешься благодарностью к этим женщинам? И если отвлечься от страстных, жестоких и великих переживаний последних десятилетий и обратить взор в столетнюю даль,—не найдем ли и мы в женщинах то необыкновенное, что поражало и восхищало их современников, и не признаем ли в них со всей искренностью предтечей, светочами, озаряющими даль нашего революционного движения?

В. Фигнер.

Мелочи прошлого.

Из прошлого русской революционной поэзии.

I.

„Подражание французскому“.

Гражданские стремления и революционные чувства, которые воспитывали будущих декабристов, выражались, между прочим, в стихах как русских, так и иностранных; не слаба была гражданская и политико-сатирическая муза самих декабристов. Кому-нибудь следовало бы специально заняться этой темой и, между прочим, собрать все рассеянные в разных местах революционные русские стихи, относящиеся к временам Павла, Александра и Николая первых, выяснить их авторов, не всегда известных, их литературные образцы и источники. Это тем нужнее сделать, что на официальные документы трудно возлагать серьезные надежды в данном отношении. Можно было ожидать, что публикуемые ныне полностью дела следственной комиссии о декабристах дадут богатую наживу, но оказывается, что из дел, по повелению Николая I, были извлечены и уничтожены стихи, которые декабристы сами сообщили при своих показаниях. «Сочиненья, презревшие печать» в свое время по необходимости, впоследствии, в более свободные времена, сравнительно редко в нее попадали. Все это стихотворное наследие нужно было бы тщательно собрать и критически изучить.

Никому из наших поэтов так охотно не приписывались читателями разные запрещенные стихи, как, конечно, Пушкину, и он сам не раз сетовал на эту не безопасную сторону своей репутации. Участие Пушкина в летучей, безыменной литературе 20-х годов, когда он, как он сам выразился, «подсвистывал» Александру I, тоже вопрос еще не разобранный детально и заслуживающий особого рассмотрения. В 1826 г., готовясь заключить «мирный договор» с правительством, он жаловался своему заступнику Жуковскому: «все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова».

Среди этих приписываемых Пушкину в разных старых сборниках «возмутительных» стихов есть зловещее, энергическое четверостишие:

Подражание французскому.

Народъ мы русскій позабавимъ,
И у позорнаго столба
Кишкой послѣдняго попа
Послѣдняго царя удавимъ.

Так напечатано оно в известном сборнике: «Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел I. Стихотворения, часть I», с предисловием Н. П. Огарева (Лондон 1861, стр. 79), в числе Пушкинских. Н. В. Гербель («Русский») в «Стихотворениях А. С. Пушкина, не вошедших в последнее собрание его сочинений» (Берлин 1861, стр. X—XI) называет «Подражание Дидероту» («Мы добрых граждан позабавим...») в числе «стихотворений, быть может, и принадлежащих Пушкину», которые, однако, «трудно признать за Пушкинские без ясных на то доказательств».

Здесь, как это было не раз, в предвестиях русской революции послышались отголоски французской. Русский автор почти дословно повторил в своем «Подражании» два весьма популярные в те времена французские стиха:

Et des boyaux du dernier pretre
Serrons le cou du dernier roi.

Знал он их по всей вероятности из весьма известной книги Лагарпа, на которой в начале XIX века воспитывалась русская молодежь: «Cours de litérature ancienne et moderne» (XVIII siècle, livre IV, chap. III, section VI).

Нападая на Дидро, как на представителя духа революции, Лагарп спрашивал: «Разве не выразил он общий результат революционной доктрины в этих двух стихах, которые служат как бы ее увенчанием?..».

Однако у Дидро сказано не совсем так, как сообщает Лагарп. В 1772 году он написал дифирамб: «Eleuthéromanes, ou Abdication d'un roi de la fève». («Бредящие свободой, или Отречение бобового короля»), который мог быть напечатан лишь много лет спустя и появился в «La Dècade Philosophique» 30 фруктидора IV года Республики (16 сентября 1796 г.). В 9-ой антистрофе читаем:

I'en atteste les temps; j'en appelle a tout âge;
Jamais au public avantage
L'homme n'a franchement sacrifie ses droits;
S'il osait de son coeur n'écouter que la voix,
Changeant tout à coup de langage,
Il nous dirait comme l'hôte des bois:
«La Nature n'a fait ni serviteur, ni maître»,

«Je ne veux ni donner ni recevoir de lois»;
Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre
Au défaut d'un cordon pour étrangler les rois *).

(«Шлюсь в том на времена, зову в свидетели все века,—никогда человек не посвящал свободно своих прав общественному благу. Если бы он осмелился послушаться лишь голоса своего сердца, он тотчас заговорил бы иным языком и сказал бы нам, как обитатель лесов: «Природа не создала ни слуг, ни господ, не хочу ни издавать законы, ни повиноваться им», и если бы не достало веревки, его руки вымотали бы у попа потроха, чтобы удавить царей»).

Два окончательные стиха—перифраза свирепого проклятия знаменитого священника-атеиста Жана Мелье (умершего в 1729 или 1733 г.), который в своей исповеди «Mon testament» **) писал: «Я хотел бы, и это будет последнее и самое пламенное мое желание, чтобы последний царь был удавлен кишкою последнего попа».

Впоследствии, в реакционные времена, когда эти полные безысходной злобы слова не раз ставились на счет Революции, они всегда приводились в виде бойкого краткого двустишия, сообщаемого Лагарпом, а не в шестистопных, грузных ямбах Дидро; забылось при них имя Мелье, взлелеявшего этот ужасный образ, но неизменно вспоминалось имя Дидро.

Лагарп вполне верно передал если не подлинные слова Дидро, то, во всяком случае, их смысл, но Лагарпу ли принадлежит приводимая им переделка стихов Дидро, а, может быть, прямо пожелания Мелье. Есть предположение ***), что в памяти Лагарпа имя Дидро заменило имя другого стихотворца, настоящего автора этого двустишия, Пьера-Сильвена Марешаля (1750—1803), одного из представителей типа «личных врагов господа бога», воинствующих безбожников, публициста, памфлетиста, сатирика, составившего «Словарь атеистов» (туда, между прочим, попали Иоанн Златоуст, блаженный Августин, Паскаль и Боссюет!), писателя, не лишенного остроумия, но слишком плодовитого. Но в этом уж пусть разбираются французы...

Насчет Пушкина Гербель был прав: приписывать «Подражание» ему нет никаких оснований. Оно сочинено, вероятно, в самом начале XIX века, и со временем юный «либералист» Пушкин лишь читал его так же, как читала вся передовая русская молодежь. Подобными про-

---

*) Roger Alexandre, Le Musée de la conversation, 4-éme edition, P. 1902. Emile Bouillon, ed. 2-ème partie, p. 660—661.

**) О нем В. И. Волгин.—Жан Мелье и его «Завещание». («Голос Минувшего», 1918 г., № 1—3, стр. 5—46). Недавно вышел русский перевод «Завещания» Мелье.

***) Giuseppe Fumagalli, Chi l'ha detto? Terza édizione, Milana 1899 p. 172—173.

явлениями французского остроумия и темперамента питалось ее оппозиционное настроение. Так Пушкин тешился «славной шуткой» г-жи Сталь—о русском самодержавии, ограниченном только убийством.

II.

„Фонарь".

Друзья, не лучше ли на место фонаря,
Который темен, тускл, чуть светит в непогоды,—
Повесить нам царя.
Тогда бы стал светить луч пламенный свободы?

Эта эпиграмма тоже помещена в числе Пушкинских в «Русской потаенной литературе» (стр. 79), и для приписания ее Пушкину тоже нет никаких оснований. Она риторична, фактура ее тяжела, стих неуклюж. В старых сборниках часто встречается переделка ее:

Когда б на место фонаря,
Что тускло светит в непогоду,
Повесить русского царя,
Светлее стало бы народу.

И это четверостишие французского происхождения. Основой для него послужила известная шутка, которой отделался от повешения на уличном фонаре остроумный и находчивый аббат Мори (Maury, 1746—1817), член национального собрания, тот самый Мори, который изобрел бессмертное словцо «санкюлоты». Однажды по выходе из собрания этот защитник прошлого был окружен враждебною толпою. Раздались крики: «На фонарь его!». Мори не растерялся: «А когда я буду висеть на фонарном столбе, вам станет веселее?». Настроение толпы сразу изменилось.

Русская вариация этого ответа относится к первой четверти XIX века.

III.

Отголосок суда над декабристами.

Он добрый малый, брат сестрицын:
Он не был зол ни для кого...
Скажите правду, князь Голицын:
Уж не повесить ли его?

Эта эпиграмма на князя А. Н. Голицына, Александровского министра духовных дел и народного просвещения, относящаяся к 1826 г., печаталась в некоторых заграничных сборниках, как Пушкинская *).

*) См., напр., «Сборник Русского» (Н. В. Гербеля), Берлин 1861 г., стр. 99.

Впервые появилась она в «Русской потаенной литературе», стр. 83, под заглавием: «Голицыну» с примечанием: «В этом примечании заключается, кажется, намек на поведение Голицына в верховном уголовном суде в 1826 г.». Принадлежность ее Пушкину должно отвергнуть: заключив в 1826 г. компромисс с правительством, Пушкин не набросал ни одной из приписываемых ему эпиграмм, вызванных восшествием на престол Николая I; лира его тогда уже не звучала прежним «свободолюбием» *). П. А. Ефремов **) справедливо заметил, что «едва ли тут можно узнать Пушкина», но тут же прибавил: «Даже понять ее очень затруднительно». Между тем, соль этого довольно острого укола не трудно выяснить, и указанный «Русской потаен. литературой» намек весьма прозрачен.

Состоя членом рассматривавшей дело декабристов следственной комиссии, кн. А. Н. Голицын, типичный иезуит и прирожденный следователь-сыщик, не в пример другим судьям, умел действовать на обвиняемых мягким, ласковым обращением. Многих он поддел на эту удочку. М. А. Фонвизин ***) вспоминал, что «пристойнее всех вел себя кн. Голицын и генерал-ад'ютант Бенкендорф, у которых вызывалось сердечное участие к узникам».

С. П. Трубецкой ****) рассказывает об этой «доброте» Голицына— в одном из заседаний комиссии Голицын завел частный разговор с Трубецким и Рылеевым «в таком тоне, как-будто мы были в гостиной, даже с приятным видом и улыбкой, так что, вопреки всем дотоле бывшим убеждениям, пришла мне мысль, что вероятно князю

---

*) См.: Н. Лернер, Заметки о Пушкине,—«Русс. Стар.», 1908, март, 659—660; Пушкин и его современники, XVI, 1913 г., стр. 56—59. Конечно, Пушкину не принадлежит и приписываемая ему («Рус. потаен. литература», стр. 83; сборник Н. В. Гербеля, с. 45; «Полярная Звезда», 1859 г., кн. V, стр. 29) эпиграмма «Встарь Голицын мудрость весил...», где дана характеристика государственных деятелей Александра I и начала царствования Николая I. Пушкина давно не было на свете, когда ненавидевший его память Бенкендорф представил царю копию этого «стихотворения Пушкина», но царь отказался поверить авторству покойного поэта и справедливо заметил, что «многие приписывают ему разные вздоры, как-будто нельзя оставить его прах в покое». («Еще отзыв императора Николая Павловича об А. С. Пушкине»,—«Старина и Новизна», кн. VII, Спб. 1904, стр. 273—274). М. А. Корф в своей недоброжелательной Пушкину записке о нем бездоказательно говорит, что, «принимая одною рукою щедрые дары монарха, он другою омокал перо для злобной эпиграммы»; князь П. А. Вяземский к этому утверждению отнесся с недоверием, к которому нельзя не присоединиться (Я. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, изд. 2-е, Спб. 1899, стр. 250).

**) Сочин. Пушкина, изд. А. С. Суворина, г. VIII, 1905 г., стр. 123.

***) Обозрение проявлений политической жизни в России: «Общественное движение в России в первую половину XIX века», т. I, Спб. 1905, стр. 198.

****) «Записки», Спб., год 1907, стр. 69.

Голицыну известно, что дело наше не так худо кончится, что религиозный человек, каким он издавна почитался, не мог бы так весело разговаривать и почти шутить с людьми, обреченными на смерть. Разговор же князя Голицына касался различных предположений Рылеева, Пестеля, моих относительно временного правления в случае если бы попытка наша удалась... Рассуждал о лучшем, по его мнению, составе верховной власти, различных мерах, которыми могла быть установлена конституция, и развивал суждения свои об этих предметах,—словом, он удивил меня несказанно. Я долго рассуждал о неиз'яснимом для меня поведении Голицына и старался об'яснить его себе».

Вскоре, 13 июля, когда были повешены пять декабристов и среди них собеседник Голицына Рылеев, Трубецкому, наверно, стало понятно поведение Голицына. В приведенной эпиграмме оно обрисовано остроумно и метко.

IV.

Стихи о наводнении.

М. Н. Лонгинов писал *) по поводу выхода первого тома Дудышкинского издания сочинений Лермонтова: «В 1843 г. некоторые бумаги Лермонтова находились у старшего моего приятеля и бывшего университетского товарища Л. И. А. **), недавно умершего. Он делал из этих бумаг, вместе с другим нашим товарищем М. И. П. ***), выборку стихов для приготовлявшегося тогда к печати 4 дополнительного тома стихотворений Лермонтова... В числе стихотворений, бывших у А., находилась, между прочим, неизданная пьеса «Наводнение», начинающаяся так:

И день настал—и совершилось
Долготерпение судьбы,
И море с шумом ополчилось
На миг решительной борьбы.

П. А. Ефремов в своем издании сочинений Лермонтова (1887 г.), перепечатав это четверостишие, прибавил, что оно «начало неизвестно где находящегося стихотворения «Наводнение», а Ф. А. Висковатов в своем издании (1891 г.) возразил: «Сомневаемся, чтобы это четверостишие можно было назвать началом стихотворения, это вероятно отрывок из середины какого либо написанного или замышлявшегося произведения».

---

*) «Русский Вестник» 1860 г., т. XXVI; «Современная Летопись», стр. 387, библиографическая заметка.

**) Арнольди.

***) Поповым.

Много лет спустя в «Былом» *) был опубликован следующий, более полный текст:

. . . .
И день настал—и истощилось
Долготерпение судьбы,
И море шумно ополчилось
На миг решительной борьбы.
И быстро поднялися волны,
Сначала мрачны и безмолвны,
И царь смотрел; и окружен
Толпой льстецов, смеялся он;
И царедворцы говорили:
«Не бойся, царь... мы здесь... Вели,
Чтоб берега твоей земли
Стихию злую отразили;
Ты знаешь, царь, к борьбе такой
Привык гранитный город твой».

И гордо царь махнул рукою,
И раздался его приказ.
Вот ждет, довольный сам собою,
Что море спрячется как раз.
Дружины вольные не внемлют
Встают, ревут, дворец об'емлют...
Он понял, что пришла пора,
Когда мгновенный визг ядра
Лишь над толпою прокатился,
И рой мятежных разогнал...
И тут-то царь затрепетал
И к царедворцам обратился...
Но пуст и мрачен был дворец,
И ждет один он свой конец.

И гордо он на крышу входит **)
Столетних царственных палат
И сокрушенный взор возводит
На свой великий, пышный град...

От себя редакция «Былого» прибавила: «В рукописном сборнике стихотворений, составленном в 50-х годах известным любителем литературы и писателем Н. И. Второвым, найден и передан нам полный список стихотворения, озаглавленного здесь ***) «Отрывок» и подписанного «М. Лермонтов». Первые четыре стиха почти тождественны, а остальные—такого рода, что Лермонтов как раз и не мог воспроизвести их в свое время по цензурным соображениям... Нет сомнения, что в приводимом нами списке мы имеем дело с подлинным

---

*) 1906 г., май. Неизданные стихотворения М. Ю. Лермонтова («Отрывки»).

**) Sic, а не «всходит», как поправлено в академическом издании, где и третий стих дан с изменением («а шумом», а не «шумно»).

***) Не совсем ясно, где именно «здесь»,—в сборнике Второва или в «Былом».

стихотворением Лермонтова, чрезвычайно любопытном для его миросозерцания. Нельзя, конечно, поручиться за тождество списка с оригиналом автора, но мало ли мы знаем стихотворений только по копиям и спискам».

Редактор академического издания Д. И. Абрамович в авторстве Лермонтова, повидимому, усомнился: он внес весь текст «Былого», озаглавив его: «Наводнение» в отдел «приписываемых М. Ю. Лермонтову» и при этом сказал, что первые четыре стиха находятся в автографе Чертковской библиотеки *) и что в первом стихе читается «совершилось» (как в сообщении Лонгинова); несмотря на наличие автографа, Д. И. Абрамович **) склонен считать всю пьесу не Лермонтовской,—иначе он должен был бы четверостишие Чертковской рукописи включить в собрание несомненных произведений Лермонтова, а прочие стихи в отдел «приписываемых». Догадка «Былого» о том, что Лонгинов не мог воспроизвести «остальные» стихи по причине их нецензурности, должна быть отвергнута: несомненно, Чертковский автограф—тот самый, который был у Арнольди, и продолжения пьесы Лонгинов у него не видел.

На помещенное в «Былом» сообщение горячо отозвались «Весы» ***) анонимной заметкой «Подложный Лермонтов». По мнению «Весов», 28 стихов, будто бы составляющих продолжение четверостишия Лермонтова, так плохи, так неуклюжи, так непохожи по содержанию на все, что писал Лермонтов, и в такой мере не вяжутся с первым четверостишием, что просто непонятно, как могла редакция поместить их под именем Лермонтова... Приписывать такие вирши Лермонтову—значит оскорблять память нашего великого поэта. Конечно, «Весы» насчет формы пьесы правы, стихи эти не могут быть признаваемы Лермонтовскими. Даже первое четверостишие довольно плохо («Море ополчилось на миг борьбы»)—для Лермонтова слишком неудачное выражение. Вопрос об авторстве Лермонтова обсуждать не стоит, и находящееся в его бумагах четверостишие впервые вылилось не из-под его пера.

Хотя Лермонтов не был ни свидетелем, ни сознательным современником стихийной катастрофы 1824 года и политической катастрофы, разразившейся в следующем году, обе они производили на него сильнейшее впечатление. Нечего и говорить, как занимал его

---

*) П. А. Висковатов (см. его издание I, 370) также ссылается на «оригинальную рукопись Чертковской библиотеки».

**) Можно было бы не поверить тому, что это автограф, если бы показание Д. И. Абрамовича не подтверждалось показанием П. А. Висковатова. Чужие списки от автографов этот редактор не всегда умеет отличать. Вообще его приемы довольно странны: как он заявляет (в обоих академических изданиях 1911 и 1913 г.г.), что печатает письмо Лермонтова к генералу Плаутину «по автографу Лермонтовского музея», а сам преспокойно перепечатывает его из издания Висковатова (V, 426—427) со всеми ошибками последнего.

***) 1906 г., № 7, июль, стр. 78.

проходящий через все его творчество основной вопрос о человеческой и русской свободе. Еще мальчиком представлял он себе в ярких романтических чертах «России черный год, когда царей корона упадет». С этими образами сплетался грозный образ заливаемого морскими волнами Петербурга. Граф В. А. Соллогуб *) рассказывает, что он «любил чертить пером и даже кистью вид раз'яренного моря, из которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом». Тема свержения тирании двумя соединившимися силами возмущенной стихии и возмущенного человеческого духа, с 1824—25 г. до сих пор живет в русском сознании и русском искусстве, и Лермонтов ее застал уже кристаллизовавшейся в «Медном Всаднике» Пушкина в вероятно знакомой ему, ходившей по рукам поэме В. С. Печерина «Торжество Смерти» **), а может быть еще в одном произведении, неудачном по форме, но способном произвести силою чувства впечатление на сочувственно настроенный ум—том самом, начало которого он записал и фрагмент которого дошел до нас во Второвском сборнике. Заметим, что в подобные рукописные собрания иные стихи вносились не с точных списков, а по памяти, часто с искажениями и пропусками. Поэтому трудно судить о том, чем была первоначально эта пьеса.

Кто мог быть ее автором? Позволю себе высказать одну догадку.

Известна горячая дружба Лермонтова с декабристом кн. А. И. Одоевским, с которым он встретился приблизительно в конце 1837 г. в Ставрополе-Кавказском. Одоевский часто делился с Лермонтовым своими «еще незрелыми, темными вдохновениями», и в числе их могли быть стихи, в которых звучали отголоски наводнения 1824 г. и крушения декабристов. Один из деятелей тайного общества, злобный, страстный, болезненно-пристрастный Д. И. Завалишин сообщает очень любопытное известие о такой пьесе Одоевского. В одной из своих статей Завалишин ***) говорит о декабристах—«лжелибералах», которые, «заявив в следственной комиссии ради облегчения своей участи о своем раскаянии, даже о «горьком раскаянии», вслед затем снова делались революционерами, орали во все горло революционные песни... или писали, как Одоевский, дифирамбы на наводнение в 1824 г. в Петербурге ****), из'являя сожаление, зачем оно не потопило все царское семейство, наделяя его

*) «Воспоминания», Спб., 1887, стр. 43.

**) Она напечатана в «Русской потаенной литературе»; см. Е. Бобров, Я. С. Печерин и Лермонтов («Изв. II Отдел. Акад. Наук», т. XII, 1907 г., кн. 3, стр. 250—256).—Что касается до «Темы о наводнении» в литературе, об этом см. статью Е. Боброва («Мелочи из истории русской литературы», тетрадь IV, Варшава, 1908, отд. отпч. из «Русс. филологич. Вестника»), наши примечания к «Медному Всаднику» в сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. 5, № 733; много интересных цитат и замечаний в книге Н. П. Анциферова «Душа Петербурга», Спб., 1922.

***) «Декабристы» («Русский Вестник», 1884, февраль, 856—857).

****) Курсив наш.

при этом самыми язвительными эпитетами». Когда Завалишин писал эти строки, Одоевский давно был в могиле, и Завалишин не мог и не желал, конечно, повредить ему,—сообщение это, при том высказанное вскользь, в виде случайной иллюстрации, заслуживает полного доверия. Был «дифирамб» Одоевского на наводнение 1824 г. и быть может остатками этого произведения поэта-декабриста является четверостишие, записанное Лермонтовым, и фрагмент, сохранившийся в сборнике Второва. «Дифирамб» Одоевского был создан, как видно из показания Завалишина, после процесса декабристов, быть может в Сибири. Поэтическое наследие Одоевского дошло до нас далеко не все. Нельзя поручиться даже за то, что он сам когда-нибудь записал свой «дифирамб». Часто его стихи записывались другими; об этом есть целый ряд свидетельств *), и многие из таких записей, конечно, погибли. Вопрос о его дифирамбе можно оставить открытым, но смею думать, что моему предположению нельзя отказать в вероятности. Лермонтов мог знать стихотворение Одоевского даже не от него самого, а от кого-нибудь из его сибирских и потом кавказских товарищей.

Н. О. Лернер.

*) См.: И. А. Кубасов, Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. Пб., 1922, стр. 8—9, 23.

Бердичевский еврей Давыдко Лошак и полковник Пестель.

(По архивным материалам) *).

В Бердичеве в течение 30 лет жил еврей, который «содержал себя с семейством от торгу лошадьми и факторством». В 1825 году ему было 42 года от роду. Фамилия этого еврея была в полной гармонии с его основной профессией «торгу лошадьми»: звали его Давыдко Лошак. Пестель несколько раз в год приезжал в город Давыдки—по словам последнего, «полковник приезжал в Бердичев из м. Линц ежегодно два и три раза». Давыдко Лошак познакомился с Пестелем «при покупке им у него 3 лошадей», после чего «иногда употреблял его для покупки в полк лошадей». Вообще же ко времени случившегося несчастья с Давыдкой, связанного с его торговыми сделками с командиром Вятского полка, он уже «полковника Пестеля знал пятый год». За все это время Давид Лошак жил безвыездно в Бердичеве и только один раз в ноябре 1825 г. он поехал в м. Линц еще с одним евреем, «торгующим холстами», к Пестелю, которому нужен был холст для полка. Как известно, полковник Пестель был хорошим «хозяйственником», и он не сошелся с бердичевским евреем в цене на холст. Сделка не состоялась. Давыдко возвратился домой без заработка в качестве фактора, не подозревая, что в скором времени им заинтересуется сам царь.

Известному предателю Южного общества капитану Майборода знакомство Давыдки Лошака с Пестелем показалось неладным, и в его голове возникло подозрение, «что сей последний употреблял его для сношения с членами польского общества». Это подозрение быстро отразилось на жизни бердичевского еврея. В докладной записке царю «о заседании тайного комитета» от 3 января 1826 г. в пункте 3 говорится: «генерал-ад'ютант Чернышев читал произведенные им с генералом-ад'ютантом Киселевым исследования о зловредном обществе, существовавшем в армии на юге. Из сего исследования открывается,

*) Г. А. І. В. 179.

между прочим, что Пестель имел сношения с варшавским обществом посредством доктора Плессел и шляхтича Рутковского и что к пояснению многих обстоятельств может послужить фактор Пестеля еврей местечка Бердичева Давыдко. Положили вытребовать всех их и спросить соизволения государя императора».

Николай I собственноручно наложил резолюцию—«вытребовать». И 18 января 1826 г. Давыдко Лошак из Варшавы направляется в Петербург с донесением Константина Павловича генералу Дибичу: «Бердичевского жителя еврея Давыдко или Давыда Лошака препровождаю при сем... с нарочным, состоящим при мне лейб-гвардии казачьего полка поручиком Рудухиным, к вашему превосходительству и прилагаю снятый с него здесь допрос со всеми бумагами, при взятии его на месте захваченными». В Петербург был привезен целый «запечатанный тюк» этих бумаг; они были на трех языках—еврейском, польском и русском,—но, по определению Константина, бумаги Давыдки «не заключали в себе ничего достопримечательного».

Везли «бердичевского декабриста» в Петербург по тому времени с большой быстротой. 23 января 1826 г. уже докладывается: «привезенный из Варшавы бердичевский фактор еврей Давыдко отправлен к генералу-ад'ютанту Башуцкому для содержания под арестом на главной гауптвахте». На другой же день Давыдку Лошака отправляют в Петропавловскую крепость с личной запиской Николая I к коменданту крепости генералу Сукину: «присылаемого жида Давыдку содержать по усмотрению хорошо». В тот же день комендант крепости докладывает царю: «при высочайшем вашего императорского величества повелении ко мне присланный *жид Давыд* для содержания во вверенной мне крепости мною принят и посажен в кронверкской куртине в арестантской покой № 26, где он никакого непозволенного сношения ни с кем иметь не будет. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Следствие по делу Давыда Лошака велось в ускоренном порядке. Его несколько раз допрашивали. Давыдка неизменно твердил одно и то же,—что с полковником Пестелем он имел только торговые дела и никаких польских депутатов не знает. Свои показания он подписывал по-еврейский—«человек Давид сын Матусова Лошак».

27 января Пестелю были поставлены четыре вопроса о его взаимоотношениях с Давыдкой:

Высочайше учрежденный комитет требует от полковника Пестеля пояснения:

1) Известный фактор его бердичевский еврей Давыдко Матусов Лошак по каким именно поручениям был от него употребляем?

2) Для какой надобности сей Давыдко в ноябре месяце 1825 г. приезжал к нему, Пестелю, в м. Линц (чего прежде он не делал) и один ли был тогда у него, Пестеля, или с другим евреем, и кто сей последний?

3) Знал ли названный Давыдко, у которого он, Пестель, всегда останавливался в Бердичеве, о намерениях его видеться там с депутатами польского тайного общества и не содействовал ли свиданию его с поляками?

4) Не был ли Давыдко потребляем им, Пестелем, для каких-либо разведываний или сношений по делу тайного общества,—когда, где и в каких случаях?

Приводим собственноручные ответы Пестеля на поставленные вопросы:

«(1) Фактор Давыдко был мною потребляем особенно для покупки новых и продажи старых под'емных лошадей и вообще для всех покупок, которые делал я в Бердичеве как для полка, также иногда и для себя. В прочем ни для чего иного: ибо слишком бы неосторожно и безрассудно было с моей стороны вверяться жиду в деле тайного общества.

(2) Я искал купить холст для полка и в ноябре в 1825 г. приезжал Давыдко в Линц ко мне с другим жидом, который торгует холстами. Они привезли образчики, но, в цене не согласившись, отправились назад. Сей другой жид есть бердичевский купец по имени мне не известный, я его тогда в первый раз видел.

(3) Я Давыдке никогда ни единого слова не говорил о депутатах польского тайного общества, и он не содействовал никакому такому свиданию. Да и не было у меня ни разу в Бердичеве ни единого свидания с польскими членами, как уже мною по всей истине и всей справедливости об'яснено. Сверх того и не останавливался я никогда у Давыдки, ибо он не содержал заездного дома *).

(4) Никогда ни в чем подобном Давыдко мною употреблен не был, и мне никогда и в мысли даже не приходило на сей щет Давыдке в чем-либо малейшем открываться».

Дальше Пестель указывает фамилии офицеров Вятского полка, которые могут удостоверить, что Давыд Лошак прибыл в м. Линц исключительно по делу продажи холста.

Пестелю, повидимому, поверили, ибо 30 января комитет уже докладывает царю о результатах следствия по делу Лошака со своим заключением.

В пункте 4 доклада читаем:

«Допрашивали: еврея Давыдку, взятого по показанию капитана Майборода, который полагал его фактором полковника Пестеля, подозревал, что сей последний употреблял его для сношений с членами польского общества, но как по собственному рассказу, подтвержденному полковником Пестелем, и по надлежащим справкам оказалось, что Давыдко не был фактором у Пестеля, а только покупал ему ремонтных лошадей, доставлял разный товар, и ни на какое сношение

---

*) Пестель останавливался в Бердичеве в заезжем доме еврея Боруха Лещинского (из показаний Давыда Лошака).

никогда употребляем не был; то положили: об освобождении еврея Давыдки испросить высочайшее повеление».

Николай I не совсем согласился с комитетом и наложил такую резолюцию: «выпустить, но держать в Штабе до времени». Царь, повидимому; не был уверен в полной невинности бердичевского еврея. Но Давыдке повезло. В штабе не оказалось соответствующего помещения, где его можно было бы свободно держать, и 16 февраля военный министр Татищев обратился к генералу Дибичу с запиской, в которой говорится: «как впоследствии никаких новых показаний на капитана Жидкова и еврея Давыда не было и комитет ни для об'яснения дела, ни для очных ставок в них надобности не предвидит, а между тем я имел честь слышать от вашего превосходительства о недостатке в Штабе помещения, то не благоугодно ли будет испросить соизволения государя императора на совершенное освобождение капитана Жидкова и еврея Давыда».

На этом докладе рукой ген. Дибича написано: «Высочайше повелено исполнить».

И этим головокружительные события в жизни Давыда Лошака кончились.

Торговые дела Давыда Лошака с Пестелем привели его в «арестантской покой» Петропавловской крепости в качестве первого политического узника-еврея *). (Григорий Перетц был арестован только в феврале.)

Надписи на надгробном еврейском памятнике на могиле Давыда Лошака, по всей вероятности, уже стерлись и, быть может, и сам памятник свалился. Дело же 179-е «высочайше учрежденного комитета» еще долго будет свидетельствовать о том, что жил в Бердичеве «человек Давыд сын Матусова Лошак», на долю которого выпала большая неприятность из-за знакомства с полковником Пестелем, и вместе с тем послужит еще одним документом, характеризующим отношение к народу «Давыдки» полковника Пестеля.

Бедный Давыдко Лошак совсем не подозревал, что командир Вятского полка намеревается выселить его со всеми его сородичами в бывшие владения его тезки, мудрого царя Давида.

Я. Д. Баум.

---

*) Знаменитый вождь Хасидов Шнеер-Зальман бен-Барух (1747—1812) в результате религиозных распрей среди белорусских евреев, по ложному доносу своих противников был дважды при Павле I заключен в Петропавловскую крепость, но вне всякой связи с историей русской революции.

Потомок этого знаменитого цадика М. Гинзбург—член Общества политкаторжан.

Из далекой старины.

I.

Преступление рабочего Рогожкина.

В конце января 1826 года в Шуйскую градскую полицию был представлен задержанный приказчиками купца Посылина пехотный солдат Рязанской губернии Николай Рогожкин, явившийся на ситцевую фабрику Посылина для получения заработанных там денег. Рогожкин, рассказывая на фабрике о петербургских событиях 14 декабря, «дерзновенно говорил, будто его императорское величество вступил на престол усильно, будто присяга требована была на верность подданства посредством пушечных выстрелов и, наконец, что если бы он в то время был в Петербурге, то также взял бы ружье и убил бы кого-нибудь, так как в то время и генералов били».

Николай I приказал предать Рогожкина суду для поступления по законам. К сожалению, дальнейшая судьба Рогожкина неизвестна.

II.

„Сомнения недоумевающего о самом себе".

6 февраля 1826 года чиновник 7 класса, Алексей Розанов, обратился к Николаю I с всеподданнейшим письмом, в котором изложил, что в 1812—1815 г. г. он состоял на службе в Изюмском гусарском полку штабс-ротмистром, принимал участие в военных действиях за границею и заслужил расположение своего ближайшего начальника, командовавшего отрядом из четырех эскадронов Изюмского полка, полковника графа Тимана, «доказавшего мне особенную свою доверенность и лестное для меня предпочтение». В 1815 г., находясь во Франции, Розанов был переведен из Изюмского в Смоленский драгунский полк. В конце 1818 года граф Тиман прислал Розанову письмо с приложением железного перстня, вычеканенного в память «достопамятного дня освящения знамен георгиевских, всемилостивейше пожалованных Изюмскому полку за отличия в кампании 1812 года». Ценя этот перстень, как лестное доказательство памяти целого корпуса офицеров о службе его в Изюмском полку, Розанов «берег его,

как дорогой подарок, никак не воображая, чтобы сия маловажная в самой себе вещь и в то же время столько приятный предмет воспоминаний достопамятнейших дней жизни моей и знаменитейшей эпохи славы отечественной, мог когда-нибудь возмутить душу мою таким жестоким подозрением, ужасаясь от одной мысли принадлежать, может быть, по сему знаку к какому-нибудь неизвестному мне тайному обществу, составлявшему или составляющему одну из отдаленных отраслей того адского дерева, которого искоренение угодно было представить мудрости вашего императорского величества, избрав в священной особе вашей героя, достойного сего великого подвига, которого одного уже довольно, чтобы прославить царствование ваше и имя ваше вписать в храм бессмертия».

«Но какое мучительное беспокойство,—писал Розанов царю,— должна была испытать изумленная неожиданностью душа моя, счастливая до сего времени безукоризненностью совести и уверенностью в чистоте своих чувствований, услыша первое известие о существовавшем в то самое время, от которого прислан мне перстень, в древней столице вашей неслыханном заговоре, изыскивавшем средства умножить число своих сочленов, и видя при том из письма, с перстнем полученного, что и полк тот находился в то время только в 200 верстах оттуда. Мысль сия поразила меня—и я в ту же минуту спешил пасть с сим непонятным для меня знаком неизвестного мне значения к стопам вашего императорского величества, и у подножия трона вашего раскрыть сердце верноподданного, готового ежеминутно запечатлеть последнею каплею крови моей святость клятв присяги под знаменами вашими, умоляя благоволить прочесть в нем истину и изречь правосудие».

«Всеавгустейший монарх! удостойте узреть милостиво на всеподданнейшую жертву усердия, и изреките высочайшую волю вашу в разрешение сомнений недоумевающего о самом себе. Да не вменится мне в преступление излияние чувств преданности, истекших из чистейшего источника».

К своему всеподданнейшему письму Розанов приложил письмо, полученное им от графа Тимана от 12 января 1818 г., в котором Тиман сообщал, что корпус офицеров Изюмского полка поручил ему препроводить Розанову, как старому товарищу и сослуживцу, железный перстень, вычеканенный в память для освящения пожалованных полку георгиевских знамен.

Царь пожелал видеть этот перстень. 19 февраля 1826 года начальник главного штаба Дибич, возвращая перстень начальнику морского штаба, в ведомстве которого служил Розанов, писал: «Его величество высочайше повелеть соизволил перстень сей, как ничего сомнительного не заключающий, возвратить г. Розанову, об'явив ему, что государь император изволил принять с удовольствием сделанное им об'явление о сем перстне и видит из сего поступка совершенное доказательство усердия его к высочайшему престолу».

III.

Сторонник Константина.

2 февраля 1826 года помощник надзирателя Дмитриевского уездного правления питейного сбора губернский секретарь Константин Петрович Викентьев, бывши в трактире в весьма пьяном виде, обратился к присутствовавшим с требованием, чтобы ему связали руки и везли в Петербург по той причине, что он, будучи привержен более его императорскому высочеству, великому князю Константину Павловичу, нежели его императорскому величеству Николаю Павловичу, желает, чтобы он был императором, почитая его того звания достойнейшим, нежели царствующего императора Николая Павловича, потому что сей, по его, Викентьева, мнению, не оказал государству заслуг, какие есть со стороны его высочества. Арестованный Викентьев при допросе показал, что говорил ли он такие слова, не помнит по бытности весьма пьяным и всегда считает обязанностью служить государю как верноподданный. Викентьев был посажен под арест и «в вящшее наказание» отставлен от службы.

IV.

„Нелепые слухи“.

События 14 декабря 1825 года не могли не произвести громадного впечатления на народные массы. Сведения о них, проникая вглубь страны, разукрашивались легендами и порождали массу разнообразных слухов, часто совершенно невероятных, но свидетельствовавших о том, какое большое впечатление произвели на обывательскую массу петербургские события и какое тревожное настроение они породили. С другой стороны, правительство и его отдельные представители, напуганные открывшимся заговором, живо воспринимали все эти слухи, придавали им преувеличенное значение и готовы были из-за пустяков приводить в действие всю сложную административную машину того времени.

Ниже мы приводим несколько документов, свидетельствующих о тех слухах, которые были широко распространены в России в 1826 г.

15 февраля 1826 года звенигородский исправник доносил Московскому губернатору:

«По дойдении до меня сведений, что села Вязем дьячок Василий Николаев и приехавший к нему в гости именующий себя отпущенным от господ Карачинских на волю дворовый человек Егор Иванов разглашали, что во время прибытия в Москву тела покойного государя императора Александра Павловича будет революция, тотчас я отправился в село Вяземы, куда по прибытии узнал, что оными дьячком Николаевым и вольноотпущенным дворовым человеком Ивановым

точно были говорены сии слова, удостоверено того села диаконом и пономарем, но они, Николаев и Иванов, в том не сознались, из'ясняя, что, если и говорили, то разве в пьяном образе, и ничего оного не помнят, но дабы более от них не могло произойти каковых разглашений, а оттого не последовало бы и дальнейших неприятностей, в необходимость себе поставил оных Николаева и Иванова из мест жительства взять, а по взятии содержал их при земском суде».

26 февраля московский генерал-губернатор, кн. Голицын, донес Николаю I об этом «происшествии». В своем всеподданнейшем рапорте Голицын писал:

«Как подобные толки были в Москве почти общим разговором, то вероятно, что Николаев в бытность свою в столице слышал о том и по прибытии в село Вяземы во время празднования именин своих рассказывал бывшим у него гостям, не полагая, что за сие будет наказан. Оный Николаев духовным начальством подвергнут уже наказанию, а также не оставлен без оного и Иванов».

---

8 мая того же года служители московского архива иностранной коллегии отставной унтер-офицер Медведев и рядовой Крутиков говорили бывшим на карауле при архиве нижним чинам Тульского пехотного полка, «что его императорское высочество цесаревич Константин Павлович ранен в Турции и что по государю императору при разводе кто-то из подкупленных разночинцев выстрелил из пистолета пулею, но в него не попал; а когда стали его допрашивать, то сказал, что не один он, но и еще есть таковые же». При допросе Медведев показал, что слышал все это от лавочника Егора Яковлева. При передаче этих слухов солдатам Тульского полка Медведев, по его словам, добавлял, что «слухи сии не есть ли так же лживы, как и подобные пред сим в Москве носившиеся о разделении Москвы и всей империи на 4 части, каковыми словами утверждал фальшивость тех слухов». Лавочник Яковлев, на которого ссылался Медведев, при допросе не сознался в сообщении последнему вышеизложенных слухов. Что касается другого арестованного, рядового Крутикова, то он заявил, что слышал эти слухи от дворника при архиве Неведрева. Неведрев же об'яснил, что слухи эти ему были известны, но, кто ему передавал их, не помнит.

В июле 1826 года отставной подполковник Зябкин, проживающий в своем имении в Раненбургском уезде прислал начальнику главного штаба Дибичу письмо, в котором сообщал, что на-днях возвратившийся из Москвы «его человек» об'явил ему, что по дороге встретил идущего из Москвы монаха, который говорил ему, что там будет «ужаснейшая перемена» и что под видом «очищения нужных мест» через Кремль в ночное время провозили бочки с порохом. Сообщая

об этом Дибичу, автор письма добавлял: «спасти неоцененную жизнь монарха всякому обожавшему прилично и не предосудительно».

Дибич по этому поводу счел нужным запросить московского генерал-губернатора кн. Голицына. «Хотя таковые слухи,—писал Дибич,—невероподобны и, конечно, принадлежат к числу прочих подобных нелепых разглашений, но не менее государю императору угодно, чтоб ваше сиятельство обратило на сие особенное ваше внимание».

9 августа Голицын сообщил Дибичу: московский обер-полицеймейстер, по поручению моему, делал сам тщательный осмотр во всех подвалах под кремлевским дворцом, но ни малейшего обстоятельства к подтверждению справедливости того слуха не оказалось».

---

30 мая 1826 года начальник главного штаба Дибич писал московскому генерал-губернатору:

«До сведения государя императора дошло, что в Москве носится слух, будто в исходе прошедшего апреля привезли в Москву на 10 тройках ночью несколько бунтовщиков, нарушителей всеобщего спокойствия. Вследствие сего государю императору угодно, чтоб ваше сиятельство приказали отыскать те лица, кои выпустили сии нелепые новости, и приняли бы меры к отвращению впредь подобных неосновательных разглашений».

28 июня московский генерал-губернатор Голицын отвечал Дибичу:

...«Поводом к означенному заключению было, как полагать должно, то, что из губернского тюремного замка переведено было до 300 человек арестантов в особо устроенную больницу по случаю оказавшихся между арестантами болезней. Неизвестность о причинах такового перемещения дала случай людям заключить, что тюремный замок стал нужен для помещения бунтовщиков».

Одновременно с этим Голицын счел нужным указать Дибичу на нецелесообразность придавать серьезное значение различным нелепым слухам и производить по поводу их серьезные расследования».

«Сообщая о сем вам, милостивый государь мой,—писал Голицын,—имею честь присовокупить, что как в обширных городах всегда более находится, нежели в других местах людей, которые, о чем-либо услышав, при рассказах о том другим всегда умножают слышанное и еще делают свои заключения, то таким образом слухи, распространяясь и увеличиваясь, служат только на несколько дней всеобщим разговором и потом скоро совершенно исчезают, давая место другим. Искоренить сие ни в каком государстве нельзя, а равно трудно дойти до источника оных, да, по мнению моему, кажется, сие и не нужно, ибо ежели обо всех нелепых толках производить строгие следствия, то сим самым только подается повод к суждению, что верно есть какая-либо в слухах важность, когда стараются о разведывании,—и таким

образом пустые толки превратятся в значительность, а источник оных не обнаружится, поелику всякий, особенно простолюдины, по большей части боятся откровенно признаваться пред правительством, когда оное начинает чего доискиваться. Впрочем, ежели бы оказались такие слухи, кои обратили бы особенное к себе внимание, то я не оставил бы оных без строгого исследования».

V.

Меры предосторожности.

Как мы видели, в Москве носились слухи о том, что во время провоза через Москву тела Александра I там произойдут волнения, «будет революция». Правительство серьезно отнеслось к этим слухам и считало нужным принять различные предупредительные меры.

25 января Дибич писал Голицыну, что государю угодно, чтобы были приняты «всевозможные меры осторожности на тот предмет, чтобы во время пребывания в Москве тела блаженной памяти покойного государя императора Александра Павловича не могло произойти никакого беспорядка. Известно, что в некоторых городах во время шествия печального кортежа народ отпрягал лошадей и вез на себе колесницу с телом августейшего усопшего». «Надо,—писал Дибич,— употребить прилежнейшее старание, дабы избегнуть сего в Москве». «Но если бы, сверх чаяния, не было уже никакой возможности отклонить от того народ, то по крайней мере полиция с обще-градскою думою должны найти средства устроить на таковой случай особый порядок, избегая всякое замешательство предварительным распоряжением с разделением на смены».

Хорошим комментарием к этому распоряжению Дибича является письмо, посланное 18 января 1826 года из Москвы некиим надворным советником Кристиным в Петербург графу Арк. Ив. Маркову:

«Делаются чрезвычайные приготовления для принятия достойным образом и со всею подобающею честью тела в бозе почивающего императора Александра Павловича. Принято видеть, что с тем вместе принимаются и должные меры осторожности для предупреждения беспорядков, могущих произойти в продолжение трехдневной имеющей здесь быть церемонии. Хотя теперь все спокойно, но без сомнения и в Москве есть злоумышленники, могущие действовать тайным образом и волновать чернь. Вообще говорят гласно, что народ хочет вскрыть гроб для удостоверения, точно ли покойный государь в нем положен; другие уверяют, что тела отсюда не выпустят с тем намерением, чтобы погребсти его с Петром Вторым и древними царями. Но что значит народ, который заставляют говорить и который ни о чем не размышляет? Неблагонамеренные люди делают сии вредные внушения и могут воспользоваться малейшим стечением народа, под-

стрекнув его к грабежу, если таковые скопища будут допущены. Я помню, какие вещи заставляли кричать чернь в Париже в 1789 г., раздавая ей шестифранковые монеты. Одинаковые причины могут произвести одинаковые следствия: немудрено, что рублевики и обещание водки доведут до всего и нашу чернь, действующую без дальних расчетов. Я думаю, весьма бы нужно не позволять на улицах и площадях собираться толпам до 10 человек, наблюдая в ночное время, дабы солдаты не сообщались с жителями, и пушки были бы готовы для истребления всякого спокойствие нарушающего движения. Дворовые люди приносят домой из города (из лавок) всякого рода смутные вести и разглашают, что немудрено быть грабежу. Можно быть уверену, что эти самые холопы не пропустят случая помочь народу в потребном случае».

VI.

„Несообразность в умопредставлениях".

28 марта 1827 г. в Москве был арестован «за произношение несоответственных здравомыслящему человеку слов» дворовый человек помещика Богданова Константин Трофимов. Трофимов рассказывал, что «будто бы явился к нему Христос спаситель и говорил Трофимову, что императора Николая не будет и не должно ему быть, потому, что нарушили присягу, а должен быть императором Константин». По заключению частного лекаря Трофимов находится в «помешательстве ума».

Трофимов был помещен в дом для умалишенных и освидетельствован медицинской конторой, которая нашла: «замечена в нем некоторая несообразность в умопредставлениях и заключениях в отношении к божеству».

В ноябре 1827 г. Трофимов был выписан из дома умалишенных в виду того, что он «получил уже от болезни облегчение».

VII.

„Лекарство против безрассудного торизма".

1 августа 1827 г. проживавший в Москве англичанин Ален Стевендон писал своему друту Джемсу Борсайду в Эдинбург:

«Мне наскучил российский деспотизм. Вы не можете себе представить совершеннее лекарство против безрассудного торизма, как посещение сего государства, где вы в точном смысле арестант на цепи, которая хотя имеет некоторую длину, однако не менее того отяготительна для великобританцев. Здесь вы находитесь в столь совершенной зависимости от чиновников правительств, что ежели они

люди нерассудительные, то можете от их капризов терять несколько дней в таком деле, на которое нужно не более получаса. Вообще я заметил, что усладительная система, подкрепленная несколькими *рублями,* производила наилучшее действие на уничтожение их предрассудков, которые в тесной связи и сильное имеют влияние на все, касающееся до собственной их выгоды».

VIII.

„Второй Рылеев".

18 июня 1830 года ад'ютант при командире 4 пехотного корпуса подпоручик Максимович 3-й, возвращаясь вместе с поручиком Анненковым из Троицко-Сергиевской Лавры в Москву и остановясь для отдохновения в селении Рахманове в заездном доме обывателя Москалева, нашли в этом доме на дверях написанные карандашом слова:

Одним почерком: «Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов.

1829—10. Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь. Второй Рылеев».

Другим почерком: «Ах! если бы это совершилось. Дай господи! Я первый возьму нож».

Третьим почерком: «И мы здесь были и видели 1829 г. июня 4 дня. М. Т.».

Узнав об этом, московский военный генерал-губернатор кн. Голицын послал в Рахманово квартального надзирателя Долгова, который уничтожил приведенные выше надписи. Одновременно расследование об этих надписях производил начальник 2 округа корпуса жандармов полковник Перфильев, который сообщил Голицыну о результатах расследования следующее:

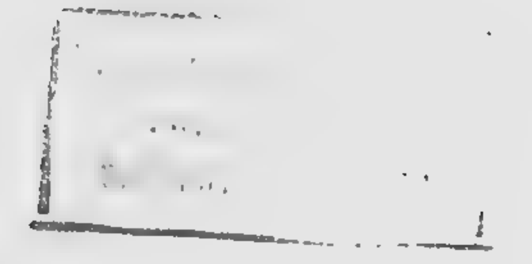
Посланный Перфильевым жандармский майор Брянчанинов, который «для подробнейшего разведывания на месте о упомянутых надписях отправлялся в с. Рахманово, Сергиевский посад по тракту, где гостиницы или просто постоялые дворы для проезжающих осматривал и решительно во всех комнатах стены, двери и окошки оказались исписаны разными надписями, стихами и прозою. Но все таковые надписи не заключали в себе никакого замечания: кроме того, что в доме того же крестьянина Москалева во 2 этаже в каморке на двери усмотрены им надписи карандашем следующего содержания: «Ненавижу дворян глупцов: они слишком перевоспитаны и переобразованы, но не знают толку

в свете» и «Дворянам скоро нечего будет есть». Надписи эти Брянчаниновым стерты.

Москалев на расспросы Брянчанинова «со всем простосердечием» отвечал, что неграмотен и не знает, кто сделал эти надписи. «Так как оные,—писал Перфильев Голицыну,—судя по смыслу их, должны быть сочинены человеком не неученым и к классу дворян не принадлежащим, то, по мнению моему, не написаны ли оные кем-либо из студентов духовной академии или университета, из коих многие, особенно во время вакации, ездят из Москвы в Сергиевский монастырь и останавливаются в с. Рахманове».

Авл.





Цена 1 р.

10.—
4.43



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

1) Правление и склад Издательства Политкаторжан, Москва—34, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.

2) Магазин „МАЯК", — Москва - Центр, Петровка, 7; тел. 3-63-20 и 4-18-12.

